Георгий Садовников



Георгий
Садовников



ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ» 1988

84Р7—44
С 14

Рецензенты:
Ю. КУШАК и *В. СТАРКОВ*, члены СП СССР

Садовников Георгий
С 14 Славный дождливый день: Повести и рассказы.— Алма-Ата: Жазушы, 1988.—336 с.

В книге собраны повести и рассказы разных лет. Герои их — педагоги, журналисты, рабочие, труженики сферы обслуживания, пенсионеры. Автор пишет о людях, добрых и сильных характером, исполняющих свой общественный долг честно, а порой и самоотверженно,— и о тех, кто не устоял перед соблазнами или трудностями жизни, оказался на ее обочине, в стороне от большого дела.

Значительное место в ряду тем, затронутых писателем, занимает вопрос изживания алкоголизма в советском обществе.

Произведения написаны в характерном для писателя ироничном стиле с большой долей юмора.

С $\frac{4702010200-010}{402(05)-88}$ 139—88 **84Р7—44**

ISBN 5—605—00139—6

Повести



МНЕ БЫ КРЫЛЬЯ!..

— Наконец-таки спровадили в санаторий,— сказала председатель месткома.— Как вы считаете, доктор, теперь-то поправится он?

Врач молча перебирал листки с анализами, хотя в этом не было надобности. У него сотни больных, но историю болезни человека, о котором шла речь, он помнил наизусть.

— Буду откровенен. Теоретически он уже мертв. Даже по тем срокам, которые может допустить самая смелая медицина, он год тому назад должен был отправиться туда — на седьмое небо. Простите за мрачный юмор.

* * *

Араукария араукана — так называют странное чешуйчатое дерево. Говорят, в далеком Чили оно растет на каждом шагу, тамошние Паблы и Терезы запросто обнимаются под ним. Надоест под одним, переходят под другое. Так и назначают свидание: «Слушай, Тереза Петровна, не встретиться ли нам вечерком вон под той араукарией, десятой слева?»— «Десятая? Фи, не мог выбрать получше, Пабло Родригович! Их-то здесь тьма».

Но здесь не Чили, а Южный берег Крыма, точнее — Алупка.

В Алупке араукария всего одна. А Василии Ивановичи и Марии Петровны в большинстве своем родом из северных мест, где и тополь-то в диковину.

Араукарию, кажется, вовремя огородили штакетником. Иначе ей несдобровать. Восхищенные отдыхающие

суетятся вокруг, суют сквозь штакетник носы и фотоаппараты. Спешат сфотографироваться на фоне чешуйчатого дива, проявить, отпечатать и победно отослать куда-нибудь в Омск или Воркуту. Можно, конечно, привезти фотографию с собой, но это будет не то. Не с пылу-жару.

Много и других чудес в парке. Тут и пальма с очаровательным именем — Юкка Грекулина. И сосна Монтесумы — монумент в честь древнего царя ацтеков. Около нее следует остановиться, снять шляпу (иначе она сама свалится — дерево высокое) в честь некогда изумительной культуры, разрушенной Кортесом.

Ловеласов привлекает бесстыдница. Она сбросила кору и красуется, подставив нежно-розовое, как у молодой женщины, тело весенним солнечным лучам.

Чудеса в Алупке да еще теплый солнечный воздух ниспосланы тем, кто не может в полную меру пользоваться обычными житейскими радостями: работать у раскаленного горна, жадно глотать студеную колодезную воду, возиться по ночам с проклятой рукописью, гулять до утра с девушкой, трепать себе нервы в крепких мужских спорах и жариться до дыма на солнце, будь то в степи или на пляже. Разве их все перечислишь, эти земные радости! Их должны заменить здешние чудеса. Тем, кто приехал сюда. Так считает Линяев. Поэтому ему не по душе местные красоты.

Он хлопает по стволу иудино дерево. Вот кто привлек его внимание. Изломанные, скрюченные какой-то ужасной немой болью черные ветви иудина дерева напоминают ему о своем. Искореженное, оно стоит, не сдается. Молодчина!

Линяев еще раз одобряюще похлопал по стволу — держись, браток!— и, скользя по траве, спустился на аллею. Длинные ноги понесли его дальше вниз, к зеленым диоритовым башням Воронцовского замка. У поворота из-за куста мелии торчал указатель прогулочного маршрута. Инструкции рекомендовали не торопиться. Шагать солидно и размеренно. Регулируя дыхание.

Линяев свернул к морю и вышел на берег возле лодочной станции. На перевернутой шлюпке сидела девушка в зеркальных очках и читала книгу. Он остановился над ней, на краю обрыва. Досадно, что он не художник. Этот кусок берега сам просится на полотно. Раньше он не был так интересен. Линяев проходил здесь часто. Но

вот сюда пришла девушка, и все изменилось. И зыбь, и прибрежные камни, и облупившаяся шлюпка.

Девушка почувствовала присутствие человека — донеслось его тяжелое дыхание. Сегодня он исходил немало. Съездил автобусом в Симеиз — оттуда вернулся пешком. Девушка обернулась. Очки сверкнули, точно два крошечных прожектора. Она укоризненно сказала:

— Разве так можно? Дышите, как маневровый паровоз. Я уж подумала, что зачиталась, и ветер перенес меня на вокзал. Вам бы отлежаться!

Линяев нахмурился. Едва стоило свалиться, как об этом узнал весь санаторий. Даже эта девушка. Ее зовут Нина. С ней он четыре дня тому назад за медленный вальс получил приз — резинового жирафа.

Линяев протестующе поднял ладонь.

— Уберите рефлектор! Сожжете все вокруг!

Это была маленькая месть за то, что она узнала и напомнила о приступе болезни.

— Вы злой!— Она обиженно уткнулась в книгу.

— Я подпустил вам такой комплиментище, а вы и не заметили,— мягко сказал Линяев, интригующе добавил:— Есть анекдот на подобный случай.

Девушка чуть подалась в его сторону, но он вовремя спохватился — анекдот не для девиц.

— Забыл. Потом как-нибудь.

Линяев повернул в сторону санатория. Аллея круто повела в гору. Ноги гудели от усталости.

На верхней площадке ему преградили путь.

— Не пущу, Юрий Степанович! Только через мой труп.

Моложавый завитой мужчина картинно раскинул руки. Еще в день приезда Линяев угадал в нем массовика. По завивке.

— Юрий Степанович! Вы самый веселый человек на южном побережье — и вдруг уезжаете! Завтра ведь новый танец! Я пропаду без вас! Зачем только главный врач вас отпускает?

— А что оставалось делать главному врачу после вчерашнего скандала?— Линяев усмехнулся.

— Но я вас не пущу!— твердо заверил массовик.

— Спартак Иванович, а сказка о колобке? Помните?— улыбнулся Линяев.— Я от лечащего врача ушел. Я от главного врача ушел и от вас как-нибудь уйду.

— Но я лиса.

— Нет, лиса не вы. Если на то пошло — вы из другой сказки. Вы козлик.

— А кто волки?— забеспокоился массовик.

— Ваши кудри. Погубят вас.

Массовик протянул вслед руки, символически удерживая Линяева. С этим долговязым тридцатишестилетним мужчиной он был, как у Христа за пазухой. Линяев каждый вечер веселил его подопечных. А вот массовик делать этого не умел.

Линяев обернулся.

— Вы красили стены в клубе?

— Ну, я. А что?

— Превосходно! Настоящее искусство!

— Еще бы! Это надо уметь. Приезжало начальство из самой Ялты. Смотрело. После этого меня и назначили. «Иди,— говорят,— командуй, развлекай. Ты в искусстве дока».

— Не слушайте! Бросьте мячики! Возьмите кисти! Такие стены тоже вещь. Жить веселее. Ей-богу!

Массовик тоскливо вздохнул: стены-то стенами, а маляр — не интеллигенция.

— Подумайте!

Линяев шел мимо циклопических глыб зеленого диорита. Мимо голубых елей. Видно, природа была одержима поэзией, когда трудилась над голубой елью.

Здесь ему бороться сложней. Быть в этом раю — значит признать себя побежденным. Враг его лют и коварен.

Вначале он уничтожил его жену. А потом тайком принялся за него. Произошло это на фронте.

Он без царапины прошел в 1941 году от Белостока до Москвы. В него стреляли. Крушили гранатами. Его брали в артиллерийскую вилку. Однажды осколок снаряда начисто срезал каблук. Затем пуля снайпера продырявила флягу. То, что пролетало хотя бы на сантиметр от него, считать было некогда. Но весной сорок второго года он трое суток безвылазно провел в окопе, залитом ледяной водой. Тут-то болезнь и проникла в легкие. Его отправили в тыл. Ему бы путевку в Крым, но в тамошних лечебницах сидели фашисты.

Потом было поздно. Врачи уже не могли помочь.

Что положение безвыходно, от него скрыли. Он догадался об этом сам. И решил бороться. Ему дано право жить, и он воспользуется им до конца. Прежде всего не думать о болезни. Он обычный здоровый человек. Ду-

мать о ней — значит признать ее существование законным.

И он сразу объявил ее вне закона, лишив даже названия. Ибо название юридически подтверждает ее существование. И уж когда без названия никак нельзя было обойтись, он называл ее так: «оно». То есть без роду и племени.

Он будет жить. И загвоздка не в простом физиологическом стремлении быть живым. Дело в том, что у него слишком много скопилось забот. Одна из них — телезритель Лопатин. Телезритель Лопатин не хочет смотреть передачи об искусстве. Ему хватает мороки в своей конторе, он не желает, чтобы и по вечерам ему забивали голову разными Мусоргскими и Репинами. Он бомбит редакцию истошными письмами. Ему давай кинокомедию «Волга-Волга» или что-то в этом роде. Лопатин не понимает искусства и поэтому не любит его. А он, Линяев, в свою очередь готовит скучные, неубедительные передачи. Значит, он не имеет права засунуть руки в карманы и спокойно убраться из сего бренного мира, бросив Лопатина в этаком жалком виде.

Надо забыть болезнь — и баста! Но для этого надо уехать отсюда.

Главный врач санатория вначале не давал разрешения на отъезд. Линяев каждый день ходил и доказывал необходимость отъезда. Вчера он опять ругался с ним. В кабинете стоял тарарам. Влетевший в окно весенний шмель оглох и молча убрался из кабинета. Под занавес главный врач распалился до того, что принялся говорить глупости:

— Сдохнете, обязательно заявлюсь на похороны! Отпуск возьму! Не пожалею денег на самолет! Прихвачу бутылку муската. Знаете мускат «Красный камень»?!

Линяев не остался в долгу.

— Не забудьте и валидол! Я кинусь вам на шею!

Он маячил перед письменным столом, и стол ему был едва не по колено.

— Я уеду без разрешения. Точка!— твердо заявил Линяев.

Главный врач сдался, но скандал ему обошелся дорого. Через час на доске распоряжений появился приказ. Главный врач объявил медицинской сестре Сидоровой А. П. «благодарность с последним предупреждением». Линяев переписал этот ляпсус в блокнот. Пригодится когда-нибудь.

Линяев поднялся в свою палату. На крайней койке сидел мужчина в полосатой пижаме. Он смотрел в угол на груду одеял.

— Собирает?— спросил Линяев.

Полосатый мужчина ухмыльнулся.

— Вовсю.

В углу под кипой одеял лежал новичок. Он собирал пот для анализа. Автор этой проделки — Линяев. Жизнерадостный новичок свое появление в палате ознаменовал тем, что подсунул Линяеву вместо боржоми морскую воду. Теперь он попался сам.

Груда зашевелилась. Из-под нее выглянула распаренная усатая физиономия и горлышко бутылки. «Уф!»— выдохнула распаренная физиономия и посмотрела в бутылку.

— Достаточно?

— Пожалуй, достаточно. Вы герой,— похвалил Линяев.— У вас завидная выдержка.

— А как же! Я ветеринар. Ну-ка, подсоберу еще. Чтоб наверняка,— сказал польщенно новичок и нырнул под матрац.

Линяев показал полосатому мужчине часы.

— Минут через десять выпускай. Не забудь захлопнуть форточку. Иначе простынет.

* * *

«ИЛ-14» парил над морем. Море спряталось далеко внизу, под облаками. Облака улеглись сплошь мягкими белыми сугробами. Казалось, море замело снегом.

Полет предоставил уйму времени для размышлений. Линяев настраивался на студийные будни. Забот ему хватит с первого дня. Наверняка заваливается какая-нибудь передача, и ее придется спасать с ходу. То ли погода помешает снять кадры, которые, как всегда, окажутся самыми важными. То ли куда-то запропастится человек, ведущий передачу. Если найдется время, чтобы повесить пальто на вешалку, можно считать себя счастливчиком. Тогда уж грех ругать судьбу. Это будет черной неблагодарностью.

Особые хлопоты всегда доставляет телевизионный журнал для женщин — «Барышня-крестьянка»— так называли его на студии. Он, Линяев, его злополучный редактор.

С «Барышней-крестьянкой» связана добрая полови-

на всех курьезов, которые случались на студии. В последнем номере, перед его отъездом, кандидат технических наук во время передачи в эфир проглотил муху. Проглотил — и все, и продолжал говорить дальше. Тем не менее десятки тысяч зрителей видели, как муха влетела кандидату в рот и осталась там.

Перед отлетом Линяев поел наспех. Перехватил на аэродроме пару тощих бутербродов с жестким запотевшим сыром, и на этом кончился обед. Голод был союзником болезни. Та только его и ждала. Тело стало вялым, непрочным, закружилась голова. Во рту появился острый, неприятный привкус ржавчины.

«Ладно, посмотрим, кто кого завтра одолеет,— подумал Линяев.— Посмотрим, как она завтра запоет, когда я сунусь в студийную заваруху. Вдобавок возьму... командировку... Куда-нибудь к черту на кулички... Чтобы потрясло в автобусе».

Крым и Керченский пролив давно остались за хвостом самолета, а в иллюминаторах были одни облака. Он их видел даже из глубины кресла, и это не стоило особого труда. Он только немного вытягивал длинную шею. Со стороны это выглядело очень смешно.

На Линяева засмотрелся круглощекий бутуз. Он сидел на руках матери, рядом в кресле.

Линяев подмигнул, повел шеей и изобразил звук мотора.

— Мама!— охнул малыш.— У дяденьки раздвигается шея!

— Я все время наблюдаю за вами,— призналась женщина.— Вы уж извините. Вы над кем-то все время тихонечко подтруниваете про себя. Порой довольно едко. И все это написано на вашем лице. У вас завидный комедийный дар!

Линяев искренне засмеялся.

— Вы ошиблись. Я бездарь.

Мысленно докончил: «Но я стараюсь быть комиком с тех пор, как объявил войну. Это один из методов борьбы. Жаль, не всегда у меня получается. Вот и сейчас я это сделал не столько для малыша, сколько для того, чтобы уязвить своего врага. Но малыш мне помог сделать гримасу. Без него не вышло бы ничего. Значит, он мой союзник. Спасибо тебе, малыш».

Самолет приземлился. Произошло это почти мгновенно. Пилот посадил машину очень ловко. Наверху клубились сугробы, и здесь лежали сугробы. Поэтому

вначале немногие сообразили, что произошла посадка.

Кто-то сдавленно пробормотал:

— Отказали моторы. Елки-палки.

Линяев распахнул люк и объявил:

— Чур, первый без парашюта! Итак, выбрасываюсь!

— Я сейчас кому-то выброшусь!— сказала стюардесса, проталкиваясь в хвост самолета.— Трап подождать лень? Да?

— Мне только свесить ноги, и я там,— объяснил Линяев.

Линяев ступил на трап. В легкие ворвался ледяной воздух. Стянул их. Линяев с усилием сделал вдох. И опять закружилась голова. Он медленно спустился и пошел в вокзал. У входа он совсем ослаб и, чтобы не упасть, осторожно присел на ступеньки.

— Вам плохо?

Женщина с малышом остановилась.

«Если я скажу: да, плохо,— значит, «оно» выиграло еще раз, а я отступил на один шаг. Я должен твердить, что здоров, как бык, и ни черта у «него» не выйдет».

— И опять вы ошиблись. Это я от избытка чувств. Давно, знаете, не был на родине. Оттого бледность и тому подобное. Представьте, готов целовать камни. А хотите, снегом посыплю голову? Я сейчас способен даже на это.

— А-а... тогда...

Женщина смотрела недоверчиво. Она колебалась. Линяев нежно погладил ступени.

— У-у... какие вы щербатенькие!

— Тогда... до свидания.

Женщина открыла дверь вокзала. Бутуз обернулся и помахал Линяеву ладошкой.

— Всего доброго, мой маленький союзник,— пробормотал Линяев и помахал в ответ.

Он опоздал на автобус. Следующий шел через полчаса. Линяев отправился в зал ожидания. Там он надеялся встретить кого-нибудь из журналистской братии. Авось мелькнет знакомая фигура со спортивным чемоданчиком. В чемоданчике бритва, мыло, полотенце, иной раз фотоаппарат.

Едва вошел он, как его окликнули со стороны буфета. Вернее, невнятно промычали. За пластмассовым столиком торчал фельетонист областной газеты Александр Мыльский. В миру просто Сашка Мыловаров.

Вместе с ним когда-то Линяев делал первые шаги в районной редакции. В первую командировку их тоже послали вдвоем. Она чуть не оказалась последней.

Председатель колхоза, в который они приехали, целый день морочил им головы. Показывал несуществующие цифры в какой-то затасканной тетрадке. Водил глядеть на быка, которого боялась вся станица. Вечером затащил на бутылку водки.

Подливая в граненые стаканы огненное зелье, председатель поведал свою необыкновенную биографию. В их пьяных глазах он быстро вырос до величины былинного героя. Они плакали от умиления и по очереди лезли целоваться. Мыловаров стоял на коленях. А он, Линяев, клялся написать о председателе книгу. Да узнает мир о его подвигах! И пусть изумится! Утром, зеленые от головной боли, они взобрались на председателев тарантас. В карманах разбухли блокноты с материалом о выдающемся председателе. И был бы тут их карьере печальный конец, не спроси возница:

— Теперь-то председателя сымут?

Речь его была очень выразительной. От станицы они остервенело повернули назад. Потом за фельетон о председателе им вынесли благодарность.

Теперь щеки Мыловарова раздувались. Он мощно жевал. Широкое лицо ходило ходуном. Пыжиковая шапка ритмично подскакивала на голове. Перед ним трепетала горка бутербродов с красной икрой. Мыловаров спешил прожевать.

Линяев с интересом ждал.

В такие минуты на Сашку стоило посмотреть. Он похож на бегуна-средневика, которому необходимо одновременно добежать до финиша и съесть килограмм колбасы. Линяев глянул вниз.

Так и есть. Ноги Мыловарова гарцуют вокруг видавшего виды саквояжа. Эта привычка сохранилась с тех времен, когда юный быстроногий Сашка наскоро хлебал щи и мчался вычитывать газетные полосы. Привычка осталась, аппетит вырос. «Когда я сыт,— говаривал Сашка,— я похож на Робеспьера. Когда голоден — на Дантона».

— По агентурным сведениям, собранным женой, ты там, в Тавриде,— произнес Мыловаров, с усилием проглотив чудовищный кусок бутерброда.

— Понимаешь, рухнула телевизионная башня,— оза-

боченно сказал Линяев.— Попросили постоять вместо нее. Вот и вернулся.

— М-да, ответственная должность. Высокая. Управишься?

— А эти... волны... Ты как будешь распространять? Так же на сто двадцать? Или подальше?

— Попробую.

Молодчина Мыловаров — он сообразил, в чем дело, и принял шутку. Сегодня и он союзник.

— А ты? Оттуда или туда?— спросил Линяев.

— Уже оттуда,— Мыловаров кивнул в сторону летного поля.

— Что-нибудь из области морали?

— Жеребчик. Бросил одну с ребенком. За ней другую с близнецами. Теперь третью. Исчез в неизвестном направлении. Я тут набросал концовку фельетона. Послушай.

Мыловаров извлек из недр пальто исчерканную бумажную салфетку.

— Слушай. «Пора изловить резвящегося жеребчика и пустить в загон на конном дворе, если уж в нем кровя играют. Впрочем, рискованно. Испортит породу». Как?

— По́шло! Не спеши, подумай. И особенно о пострадавших. Им-то не легче от красного словца.

У Мыловарова именно в это время зачесалось в ухе. Он яростно прочистил его мизинцем и будто бы спохватился:

— Да! Как там поживает наш Федосов? Сказывают, у тебя уже с ним состоялась маленькая заварушка?

На студии «их» Федосов появился недавно, до этого заведовал отделом в газете, а до нее был директором филармонии. И где бы он ни служил, всюду справлялся с работой плохо, и вот теперь его сослали главным редактором на студию телевидения. Видно, подумали: телевидение дело еще не устоявшееся, малопонятное, авось здесь и притрется Федосов.

На второй день после назначения новый главный редактор затеял обход. Линяев в это время сидел у художника студии, обсуждал иллюстрации к передаче о Салтыкове-Щедрине. Они, он и художник, разложили рисунки на столе, похожем на верстак, и тут в мастерскую вошел Федосов.

У Федосова был облик прирожденного руководителя: густая жесткая грива, крутой наполеоновский подбородок и всевидящий взгляд орла.

— Товарищ Линяев? Наслышан о вас, наслышан,— произнес Федосов рокочущим баритоном.— Над чем трудимся, если не секрет?— пошутил он, давая понять, что от него секретов быть не должно.

— Готовим передачу о Михаиле Евграфовиче,— первым доложил художник.

— Ну что ж, своевременно... О ком вы сказали? Что-то фамилию не расслышал? Видно, на ухо туг,— снова пошутил Федосов.

— Фамилия простая. Салтыков-Щедрин,— сказал Линяев.

— Как же, как же. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович,— обрадовался Федосов, будто услышал о старом знакомом.

— Можете принять участие в конкурсе. На форму передачи,— пригласил художник, лучась доброжелательностью.— Правда, Юрий Степанович?

— Конкурс открыт для всех. Даже для вахтеров,— подтвердил Линяев.

— Товарищи,— посерьезнел Федосов,— на правах старшего я должен вас предостеречь: некоторые товарищи осовременивают Михаила Евграфовича, забыв, что сегодня за окном другой день. Так что помните об этом. Ну, а если...— В глазах Федосова блеснуло озорство,— вас так тянет к сатире, могу подсказать тему. Недавно я проезжал мимо нашего городского элеватора и знаете что обнаружил?— Федосов интригующе умолк.

— Откуда ж нам знать?— чистосердечно признался художник.— Верно, Юрий Степанович?

Линяев кивнул, действительно, мол, откуда?

— Над въездом в элеватор нет лозунга «Добро пожаловать!»,— торжественно известил Федосов.

— Транспоранта,— машинально поправил Линяев.

Федосов метнул в Линяева молниеносный колючий взгляд и сказал, теперь уже обращаясь только к художнику:

— Можно и транспоранта... Но лично я рассматриваю «Добро пожаловать» как лозунг. Вот так и нарисуйте, раз вы художник: элеватор, а на нем нет лозунга «Добро пожаловать!». Знаете что? Считайте это моим заданием!

— Я не смогу,— растерялся художник.

— Видите, стоило поднять вопрос о настоящей сатире, вы в кусты,— усмехнулся Федосов.

— Не в этом дело,— вмешался Линяев.— Нельзя нарисовать то, чего нет.

— Можно! Можно добиться всего, если ты настоящий гражданин!— назидательно сказал Федосов художнику, по-прежнему игнорируя Линяева, и вышел.

«Он тебе этого не простит. Видишь, у тебя и тут все, как у людей»,— сказал Линяев себе с грустной усмешкой...

— И на чем же ты с ним столкнулся?— жадно спросил Мыловаров, даже забыл про бутерброд, отодвинул в сторону.

— Семейная история. Милые ругаются, только тешатся,— отмахнулся Линяев.— А вот почему ты здесь застрял? Мог бы отобедать дома.

— Спасибо, напомнил,— благодарно пробормотал Мыловаров, схватил бутерброд и зажевал с новым энтузиазмом.— Люблю... икорочку... Вот... эту... красную. Поди достань-ка ее в городе. Я, можно сказать, из-за нее и летел самолетом. Жизнью рисковал!

— Ради икры? А брошенные дети?

— А как же! И брошенные дети. Напишем фельетон.

* * *

От трамвайной остановки до студии пролегла «долина самоанализа»— пустырь, усаженный юными деревцами. Зимой по «долине» вольготно носятся ветры. Дождь, смешанный с хлопьями снега, тут поливает свои жертвы всласть. Летом «долина» является подобием сковородки, на которой жарятся энтузиасты телевидения.

Путь через нее долог и однообразен — глазеть не на что. Поэтому путник невольно целиком погружается в самосозерцание. Он начинает перебирать свою жизнь от рождения до последней летучки. На территорию студии он вступает обновленный. Очищенный силами природы и самокритикой. На профсоюзном собрании Линяев предложил гонять нерадивых сотрудников из конца в конец «долины» до их полного очищения. Для этого на одном краю должен стоять председатель месткома с хворостиной. На противоположном — директор. Предложение отклонили. Директор и председатель сослались на перегруженность общественными поручениями.

Сам Линяев лучшие свои передачи обдумывал в «долине». На этот раз он обдумал полумесячный план редакции. Оставалось прикинуть кое-что на календаре. У проходной Линяев оглянулся: по «долине» растянулась вереница его коллег.

День начался прогоном спектакля. Линяев и режиссер Чернин обязаны были просмотреть спектакль театра, только что приехавшего в город на гастроли.

В герметически закупоренной студии жарко. Линяев снял пиджак и повесил его на спинку стула.

Артисты показали два действия. На третьем начали щуриться. Слепящие лучи били со всех стен студии. Жарили с потолка. Это осветители затеяли свою репетицию.

Линяев повернулся к заведующему осветительным цехом.

— Ваше сиятельство, убавьте свет.

Ему давно было не по себе в раскаленной студии.

Кровь гулко пульсировала в висках. Температура тоже помогала врагу. Именно поэтому он решил вытерпеть и отсидеть прогон спектакля до финала.

Эту фразу он сказал только теперь, когда сдали актеры.

После спектакля режиссеры заспорили. Началось с того, что Чернин скептически отозвался о декорациях. По его мнению, лучше самой природы не придумаешь. Недаром он ушел из театра в телевидение. В телевидении больше снимают на натуре. Театральный режиссер взорвался.

— Природа,— высокомерно провозгласил он,— сущее дерьмо по сравнению с декорациями. С декорациями делай, что душа пожелает. Мажь их, режь, двигай. Захотел лес перевернуть вверх ногами — перевернул.

Чернин упер руки в бока и повторил свое.

Линяеву жгло затылок, но он терпеливо переводил глаза с одного на другого. Ждал. Ему нужно было поделиться кое-какими соображениями насчет спектакля. Наконец, ловко используя паузы, он высказался и поднялся в редакцию. Там никого не было.

Он сел на подоконник под открытой форточкой. Ему не хватало кислорода. Он был в накалившейся студии почти три часа и теперь расплачивался за это. «Оно» не упускало удобные случаи, только подвернись.

Летом он собьет спесь. Летом на улице температура поднимается до сорока. Можно представить, что творит-

ся в студии. Под операторами, которые возят телевизионные камеры, лужи пота.

Вот тогда Линяев и насидится в студии. Три часа подряд — не меньше. Он напишет такую передачу, что все ахнут. А впрочем, зачем откладывать до лета? Он сейчас собьет спесь. Что еще делают здоровые люди? Ругаются! Он будет ругаться сию же минуту. В это время просунул в дверь свою вихрастую голову помощник режиссера Алик Березовский. Алик до сих пор не выполнил задания Линяева. Какой он умничка, этот юноша, что подвернулся так вовремя.

— Заходи, голубчик, заходи, милый юноша,— медово пригласил Линяев.— Заходи, радость моя! Не стесняйся.

Березовский нехотя вошел. Угрюмо посмотрел на люстру. Он знал — сладенький тон Линяева не сулит добра.

— Расскажи дяде редактору, как подобрал чеховскую пленку. Порадуй его задубевшее сердце.

— Не подобрал я пленку. Не успел,— буркнул Алик.

Глаза Линяева затуманились.

— Мальчик, телевидение еще переживает свою палеозойскую эру, и мы с тобой соответственно примитивные ящеры. Но при всем том телевидение уже искусство. А любое искусство дается только тем, кто горит. Гореть нужно, Алик.

— Я не птица Феникс,— огрызнулся Алик.— Если сгорю — это уже конец. И вы полегче. Посмотрите на себя.

Приятный сюрприз! Обычно Алик не огрызается. Молчит, когда ругают. Линяеву везло.

— Сами-то поздно сдали сценарий викторины. А я потом всю ночь куковал в фильмотеке. Где же ваше пламя, товарищ редактор? Где пепел? Сидите за столом, ждете вдохновения? Когда осенит? Не ждать надо, а дело делать.

Сценарий он задержал по другой причине. В тот день его свалил сильный жар. Соседи, дабы не сбежал, заперли двери на ключ. Вот почему постановщики получили сценарий с опозданием. Но это к делу не относится. Они спорят, как два здоровых, полноценных человека. Он сам так решил, и значит, Алик прав. Из обвинителя он превратился в обвиняемого. Что ж, сам затеял этот разговор. Линяев сконфуженно кашлянул.

Не болезнь заставила кашлянуть. Он кашлянул сам,

потому что Алик ловко отщелкал его по носу. И это хорошо.

Алик в сердцах хлопнул дверью и ушел.

Наедине с собой Линяев не мог оставаться долго. Когда он с врагом один на один, ему трудно вести единоборство. Подобно аккумулятору, ему необходимо периодически пополнять заряд энергии. Источник энергии — люди. Товарищи.

Он встал, приоткрыл дверь и вернулся на место. Редакция наполнилась густым неистовым шумом. После ярмарок самое шумное место на земном шаре, несомненно, телевизионные студии.

«Гуси, гуси! Га, га, га!»— вопят детские голоса. Это из студии. Идет трактовая репетиция.

— Ложкин, Ложкин! Долго ты еще будешь водить нас за нос? Сдавай передачу!— звенит металлический голос. Редактор выпуска гоняется по селектору за неуловимым редактором музыкальных передач.

Из-под пола бодренький тенорок тараторит:

— Ну, а теперь, Ваня, расскажи, почему у тебя молока больше, чем у девушек.

Взрыв смеха. Хохочут звукооператоры, они чистят запись репортажа с молочной фермы.

— Ладно вам,— говорит хозяин тенорка.— У вас, что ли, не бывает?

Внизу стихает. Очевидно, репортер напомнил звукооператорам, как они на немую кинопленку с молодым каменщиком нечаянно наложили запись пенсионера. И молодой каменщик на экране сказал: «Мне семьдесят пять лет. Моей старухе семьдесят».

Паузы в общем гвалте заполняет неуловимый Ложкин. Он кричит где-то рядом с сектором выпуска:

— С ума спятил?! Посылать Линяева в этакую дыру! Я сам поеду в Кочетовку!

«Дудки,— с удовольствием думает Линяев,— все-таки в Кочетовку поеду я!» И его в который раз удивляет: каким образом вмещается в такой невеликий сосуд, как тело коротышки-толстячка Ложкина, столько крика? Разве что живот вместо сала начинен криком? Если это так, то все объяснимо. Живот у Ложкина составляет три четверти туловища.

Из дальнего конца по всему этому содому шарахнули сочной пулеметной очередью. Там просматривают фильм для вечерней программы.

Линяев работает на студии со дня ее основания. Си-

дя за своим столом, он знает по звукам, что происходит в других редакциях. Звякнул внутренний телефон. Звонила машинистка Майя. Она перепечатала его сценарий и минут через пять занесет в редакцию.

— Я зайду сам.

Он спустился в машинное бюро. Здесь четыре девушки добросовестно перемалывают на машинках все, что написал он и его товарищи. Майя сидела у окна. Возле нее успел обосноваться редактор сельскохозяйственных передач со своими черновиками.

Майя подняла голову и улыбнулась Линяеву, показав при этом две милые ямочки. Недаром на студии ее зовут Обаяшечкой.

— Обаяшечка,— сказал Линяев,— замуж пора.

— В Ленинграде открыли специальный дворец для свадеб,— заметил сельскохозяйственный коллега.— Сегодня передали по радио.

— А я узнала еще вчера об этом!— победно заявила Обаяшечка.— И уже рассказала всем.

— Ну вот, а бедное человечество старалось. Изобретало радио, телеграф и тому подобное. А зачем, спрашивается?— сказал Линяев.— На город достаточно по одной Обаяшечке, и связь между областями обеспечена. Они разнесут точно в срок, даже чуточку раньше.

Сельскохозяйственный редактор кивнул в подтверждение.

Майя обиделась.

— У вас обо мне всегда гадкие мысли.

— Гадкие?— изумился Линяев.— Девушки, кто видел северное сияние?

— Никто не видел, но представление имеем,— ответила за всех старшая машинистка.— Потрясающая картина!

— Вот так точно выглядят мои мысли о Майе!— торжественно закончил Линяев.

На Майином лице сквозь тучи засияло солнце. Она опять улыбнулась.

— На вас сердиться боязно. Того и гляди останешься в дурочках.

Линяев забрал сценарий и вернулся к себе. В редакции сидел гость. Линяев прислонился к дверному косяку.

— Я запретил выписывать вам пропуска. Предупредил всех, что вы негодный графоман, таскающий сюда

жалкие стихи, глупые пьесы и бездарные романы. Какой очередной бред притащили вы теперь?

— Оперу о водолазах,— не смущаясь, сообщил гость.— Основные арии исполняются в скафандрах и поэтому широко доступны для безголосых певцов. Более того, любой самодеятельный коллектив глухонемых может взять оперу в репертуар.

— Вот как! Может, все-таки скажете, как вы проникли в студию? Уж не ренегат ли Березовский провел вас сюда? Что-то он испуганно шмыгнул в дверь при моем появлении.

— Любезный и гостеприимный Линяев,— посетитель поднялся,— неужели найдутся препоны, способные помешать нашей встрече? Ну-ка!

Он оттер Линяева плечом и закрыл дверь на английский замок.

— Раздевайтесь!

— Среди бела дня?

— Раздевайтесь! Да поживей!

В руках пришельца появился белый резиновый стетоскоп.

— Новое орудие разбоя!

— Не оскорбляйте медицину! И довольно играть в прятки.— Врач показал конверт.

— Письмо из санатория,— догадался Линяев.

— Да. Я хочу от вас одного: будьте осторожны. Не к трусости, к осторожности призываю.

— Но ваше появление здесь — это еще одно мое поражение. «Оно» радуется вам.

— Вряд ли. «Оно» знает, что я ваш боевой соратник. Я ваша разведка, понимаете? Или думаете драться вслепую? Разденьтесь до пояса, и я доложу о численности и дислокации противника.

— Ловкач, доктор, ловкач! Избавиться от вас не так-то просто.

— Считайте, что я стыдливо зарделся от похвалы. И раздевайтесь.

— Нет, не здесь. Тут я не разрешаю считать меня больным. Тут я здоров. Сделайте это завтра у себя. Я приду, честное слово.

Потом он раскладывал по кипам отпечатанный сценарий. Это называлось «раскладывать пасьянс». Сценарий печатался в шести экземплярах. Для каждого цеха один экземпляр. Разбирая сценарий, редактор мусолит пальцы, бормочет что-то под нас и шарит остекленевши-

ми глазами по стопкам страниц. Словом, ни дать ни взять, закоренелый гадальщик.

В коридоре затопали. Засопели. Сдавленно сказали:

— На бок его, на бок.

Линяев выглянул. Несколько человек тащили гигантский стационарный магнитофон «МЭЗ». Вся группа, накрепко спаянная стальной ношей, едва передвигала ноги. Лица людей были искажены. Казалось, вот-вот кожа лопнет от напряжения.

— Юрий Степанович! Помоги!— прохрипел кто-то, забыв, что Линяеву нельзя переутомляться.

Линяев подтянул рукава пиджака и ухватился за блеснувший бок магнитофона. Сокрушающая тяжесть обрушилась на его руки.

Руководил операцией сам звукорежиссер.

— Сюда его, сюда!— выл он, выпучив круглые глаза.

Но магнитофон потянул в другую сторону и припер Линяева к доске приказов. Затем Линяев побежал за ним на подгибающихся ногах к противоположной стене.

Магнитофон выволокли на лестничную площадку.

— Вниз его! Вниз!

Вниз магнитофон последовал весьма охотно. Он с места взял высокую скорость и полетел, увлекая за собой прилепившихся людей. Линяев летел спиной вперед, еле успевая ставить ноги на мелькающие ступеньки.

Стальная туша успокоилась только на дне грузовика. Когда ее уложили на мягкие маты.

Успокоились и люди. Их лица приняли обычное человеческое выражение. Мало того, разрумянились. Люди расходились как ни в чем не бывало. Перемигивались, перешучивались. Для них это было легкой разминкой, удобным случаем разогреть замлевшие мышцы. Линяев смотрел на них с завистью. То, что для них пара пустяков, ему дается с трудом.

У него тоже крепкие мышцы. Они остались с тех времен, когда он был превосходным баскетболистом. Он бросал мячи в корзину соперников шутя, как теперь бросает списанную бумагу в плетенку для мусора, что стоит у него под столом. Но его мышцам не хватает кислорода. Все, что он вдыхает широкой мускулистой грудью, образно говоря, выходит через многочисленные дыры в легких, и для мышц не остается ничего. Кровь приносит им жалкие крохи. Вот и сейчас: стащив этот ничтожный магнитофон со второго этажа на первый, он

израсходовал все запасы кислорода и когда отдышится теперь — неизвестно.

На столе,— ах, некстати,— пронзительно зазвенел, точно взорвался, телефон внутренней связи. Линяев снял трубку и, сдерживая отчаянную работу легких, отозвался по старой военной привычке:

— Линяев слушает!

— Юрий Степанович, зайдите ко мне!— услышал он баритон главного редактора.

— Иду!

По возвращении он виделся с Федосовым только однажды, на утренней «пятиминутке», потом тот уехал на два дня в соседнюю область,— менялся опытом на кустовом совещании.

Секретарша Аврора, худощавая брюнетка вечных двадцати восьми лет, как всегда, уже что-то знала. Когда Линяев вошел в приемную, она, звеня кубачинскими монистами и браслетами, оторвалась от шкафа с «исходящими» и «входящими» и, приложив к ярко-красным губам длинный наманикюренный палец, шепнула:

— Только не заводитесь!

Федосов вышел из-за стола, шагнул ему навстречу.

— С приездом!

Широкие плечи его подались вперед, руки были слегка оттопырены, так выходят на ковер борцы. И пожал он Линяеву ладонь по-борцовски — обеими руками. Одной сдавил пальцы соперника, второй проверил: крепки ли его бицепсы. И Линяев вспомнил, что говаривали о Федосове, будто он в молодости и впрямь занимался борьбой, лихо бил чечетку и тем самым будто бы произвел впечатление на тогдашнего руководителя области, тот будто бы сказал: «Говорите, у вашей молодежи нет истинного лидера, так вот вожак, способный увлечь парней и девчат огненной пляской и личным примером в спорте. Принимайте!» Но Федосову увлечь молодежь не удалось, в жизни для этого требовалось другое, но стереотип был мощен, как тепловоз, потащил дальше от станции к станции...

— Как отдохнули?— поинтересовался Федосов, возвращаясь за стол.

— Прекрасно!— ответил Линяев.

— Тогда приступим к делу! Да вы присаживайтесь. Разговор у нас будет долгим и серьезным,— предупредил главный редактор.— Юрий Степанович, я задержал работу над передачей до вашего возвращения,— сказал

он, положив кулак на лежавшую перед ним рукопись, словно пригвоздил к столу.

— Какую именно?— обескураженно спросил Линяев, перед отъездом он оставил задел из трех передач, в которых был совершенно уверен.

— «Поэты о любви»,— прочитал Федосов заголовок.

Господи, ее-то Линяев и вовсе не брал в расчет, московская кинопленка и связующий дикторский текст,— вот и вся забота. Не сценарий — одно только слово.

— Что же вас в ней не устроило? Немудреная передача,— Линяев не скрывал своего удивления.

— Вот-вот! Из-за такого облегченного отношения к передаче вы, Юрий Степанович, и допустили серьезный идейный просчет!— торжественно обвинил Федосов, точно схватил за руку карманника.

— Не понимаю,— искренне признался Линяев.— Стихи о любви.

— О любви,— охотно согласился Федосов.— Но вы эту важную тему свели к отношениям полов. Сузили важный вопрос. А где любовь к Родине? К народу?

— Разумеется, глагол «любить» имеет широкое толкование,— растерялся Линяев.— Есть и любовь к матери. И даже к гастрономии тоже любовь. Скажем, к макаронам по-флотски. Но это из области лингвистики. У нас речь о другом. Именно об отношении полов! Так и была задумана передача. Изначально! А то, о чем говорите вы, совершенно иная тема.

— Тема одна! Только вы избрали легкий путь,— возразил Федосов и протянул сценарий.— Теперь исправляйте ошибку. Возьмите Маяковского и... так далее. И еще. Название у передачи уж больно неопределенное: «Поэты о любви». О какой любви? Давайте скажем со всей прямотой: «Поэты о любви к Родине».

— А как же лирические стихи?

— А их убрать!

— Но, может, мы сделаем две передачи? Одну патриотическую? Второй останется эта, сугубо о любви?— предложил Линяев, все еще пытаясь спасти готовую передачу.

— Не будем раздувать программу... Или у вас к этой... «сугубо...» повышенный интерес? Вижу по глазам: я прав!— будто бы пошутил Федосов, а сам был заметно доволен: уличил его и тут.

— Я — схимник,— скромно признался Линяев.— Скажу по секрету: передача готовилась по неофициаль-

ной просьбе. К дню рождения Натальи Николаевны. Как известно, она очень любит лирику. Ну и мне... намекнули. Понимаете? Это был бы наш подарок. Как бы. Понимаете? Надеюсь, вы догадались, кого я имею в виду?

Натальей Николаевной, по его сведениям, звали жену председателя облисполкома. Однажды Линяев видел эту почтенную даму на вечере местных поэтов, что и подвинуло его на дерзкую, но святую ложь.

— Что же вы меня не поставили в известность? Перед вашим отъездом?— занервничал Федосов.

— Не решился. У меня сложилось впечатление, что вы не переносите подхалимов. А мне,— Линяев притворно вздохнул,— не хватило мужества. Или я в вас ошибся?

— Нет, конечно! А... кто намекнул?

— Геннадий Петрович, и не спрашивайте! Звонок был приватным. Я клятвенно обещал.

— Как же теперь быть?— снова забеспокоился Федосов.

— Ну... если вы не считаете передачу безнадежной, выпустить ее в эфир... И даже получится красиво. И себя мы не унизили, сохранили достоинство. И в то же время уважили человека, выполнили просьбу его души.

— Так и сделаем!— твердо решил Федосов.— И... все-таки вы меня подвели.

Обедать Линяев поехал после рабочего дня. Есть не хотелось. Он уже не помнит, когда в последний раз испытывал чувство голода. Но каждый полноценный мужчина обедает, значит, пообедает и он.

Трамвай привез его в центр города. Он прошел по главной улице и остановил выбор на молочном кафе.

В кафе он увидел Мыловарова. Тот расположился вблизи от входа за одним столиком с молодой симпатичной женщиной. Ее лицо показалось Линяеву знакомым. Он попытался вспомнить, кто она, и не мог.

Судя по всему, Мыловаров пришел с ней. Он отложил меню, подался в ее сторону и о чем-то заговорил. Взгляд его бегал по ее лицу. Она внимательно слушала и слегка покачивала головой.

Линяев положил руки на спинку свободного стула:

— Позвольте?

— Занято!— резко бросил Мыловаров, не оборачиваясь.

Но тут же спохватился:

— Это ты? Садись, конечно.

Он недовольно взглянул на Линяева. Третий человек за столом, очевидно, не входил в его планы. Линяев пожал плечами: для интимных встреч выбирай другое место.

— Я где-то видел вас,— прямо сказал он женщине.— Где — не помню.

Женщина улыбнулась.

— А я помню. Помню самолет и вашу длинную раздвижную шею. Мой сын потом просил купить ему такую шею.

Ну да: самолет, малыш-союзник и его мать. Тогда ему показалось, что у нее большой нос. Возможно, поэтому он ее не узнал сразу. Он признался вслух и в этом. Она добродушно засмеялась и сказала Мыловарову:

— Ваш приятель — забавный человек.

Она протянула ладошку.

— Наш новый литработник,— неохотно пояснил Мыловаров.— А он из студии телевидения. Так сказать, редактор художественных передач — Линяев.

— Юрий Степанович,— добавил Линяев, пожав ее руку, и весело поглядел на поскучневшего Мыловарова.

Затем последовала пауза. Линяев и Алина Васильевна хитровато, исподтишка поглядывали друг на друга. Мыловаров собирался с мыслями. Ему, соединяющему звену, предстояло завязать непринужденный светский разговор.

— Линяев напялил блестящий мундир остряка сравнительно недавно,— начал Мыловаров.— Произошло мощное извержение, с громом и пламенем, как и подобает, и с тех пор из Линяева бьет тугой фонтан остроумия. Какие силы пробили в нем мрачную, бесплодную породу? Неизвестно. С чем связано их пробуждение? Геологическая загадка. Порой я, профессиональный юморист, чувствую себя беспомощной мошкой в присутствии той проснувшейся стихии.

«Это случилось в тот день, когда я объявил «ему» войну,— подумал Линяев.— У меня тогда тряслись ноги от слабости, гудела голова от боли, пылали от жара суставы, а я день таскался по знакомым и натужно острил. В пику «ему».

— Это бывает,— согласилась Алина Васильевна.— Ходит себе человек, и вдруг в нем просыпается дар. Так и в Юрии Степановиче проснулся дар. Дремал, дремал...

— Что угодно, только не дар,— медленно, с нажимом

сказал Линяев, и те, оба, поняли: он не желает, чтоб говорили о нем.

Они оба вскинули на него глаза. Мыловаров испуганно, и женщина с испугом, только еще с примесью изумления.

Остаток дня пропал. Он хотел забыть о «нем» — и не вышло. И этим двоим испортил настроение. Женщина, видно, решила, что он — чудак. Ведь женская логика прямолинейна. Вроде тяжелого танка: прет напролом, игнорируя проложенные человечеством дороги. Лишь бы скорее добраться до цели. Впрочем, это его личное мнение.

Мыловарову и женщине подали борщ. Линяев заказал бифштекс и черный кофе.

Мыловаров глубоко вдохнул запах борща. Глаза его блеснули. Он удовлетворенно пробормотал:

— А вечером буду ужинать,— и добавил: — Эскимос съедает четырнадцать килограммов мяса в один присест. Только подумать! Еда — источник жизни, а сейчас много пишут о смерти,— сообщил он после пятой-шестой ложки.

— Живые не имеют права писать о смерти,— сказал Линяев.

— Кто же имеет право?

— Те, кто умер.

— Позволь, они мертвые.

— А мы, живые, не имеем права. Мы не знаем полную меру этого несчастья.

— Хочешь сказать... Не испытали на собственной шкуре. Старая сказка. Писатель способен додумать, сфантазировать...

— Никто не имеет права экспериментировать над жизнью и смертью человека. Даже на бумаге. Все всегда начинается на бумаге. И кончается мерзкой практикой. Сидит человек над бумагой, грызет авторучку и изощренно придумывает смерть другому человеку. Сделал это ловко, потирает руки: «Какой я большой художник». Говорят, Флобер испытывал симптомы отравления, когда всучил яд своей мадам Бовари. Но потом-то, вероятно, в душе радовался: «А здорово это получилось у меня».

— Вы правы! Думать о смерти человека — самое тяжкое кощунство! Жизнь человека священна! Все, что посягает на нее, должно быть предано проклятью!

Линяев пристально посмотрел на Алину Васильевну.

Это сказала она. Женщина спокойно выдержала его взгляд.

— Допустим, человека все же убили. Что тогда?— с любопытством спросил Линяев.

Она не спешила с ответом. Взвешивала слова.

— Человек убит! Это самое тягостное преступление в мировой истории. Независимо от того, чем убит человек.

— А убийца? Что делать с ним? Исходя из вашей же теории, уничтожить его нельзя. Он неприкосновенен?

— Вы поняли слишком прямолинейно.— Она заговорила с возмущением:— Он как раз должен быть прикосновенен, независимо от заслуг. Он убил — он уже не человек. Он убил и свое право быть им. Он уже зверь.

Линяев искоса наблюдал за Алиной Васильевной. Она гораздо сложнее, чем он думал. Ему вдруг захотелось знать о ней все. Странное желание, но оно возникло. Женщина словно расшифровала смысл его взглядов и вдруг залилась алой краской. Еще новость!

Они уже несколько минут молчали, когда Мыловаров отодвинул опустошенную тарелку и благодушно посоветовал:

— Бросьте философию! Вредно для желудка.

— Александр Мыльский вернулся к общественной деятельности,— констатировал Линяев.

Мыловаров рассчитался с официанткой за троих. Алина Васильевна внесла свою долю. Мужчины возмутились.

— Вы не женщина! Вы журналистка!— обозвал ее Мыловаров.

— Если хотите быть принципиальным человеком — будьте. Но не в мелочах,— упрекнул ее Линяев.

— Я сделала это потому, что мы все трое — товарищи. Ведь мы товарищи, правда?— спросила она Линяева.

— Правда,— пробормотал тот.

— А вы, Мыловаров, пожалеете,— я все-таки женщина. Я когда-нибудь разорю вас вдребезги. Жена будет кормить вас овсянкой.

Одевшись, они долго ждали Алину Васильевну. Она возилась у зеркала с прической. Волосы у нее собраны на голове высокой пушистой шапкой. Что-то наподобие добросовестно уложенной копны сена. Только темно-рыжего цвета. Линяев прикинул: ей приблизительно лет тридцать.

Пока она одевалась, Мыловаров выложил все, что знал о ней.

Алина Васильевна недавно приехала из Средней России. Там работала в одной из областных газет. Была замужем. Кажется, развелась. И, кажется, из-за этого переехала сюда. Как специалист по морально-бытовым историям Мыловаров чувствует, что дело обстояло именно так.

Линяев подошел к Алине Васильевне. Остановился за ее спиной. В зеркале он видел ее лицо. Тонкое. Чуть смуглое. С большими зеленоватыми глазами. С чего он взял тогда, что у нее длинный нос? А если бы это было действительно так? Если бы у нее и в самом деле был длинный нос?

Она вопросительно смотрела на него из зеркала. Ее пальцы застыли у виска.

— Вам не обязательно быть красивой. Вы добрая,— убежденно сказал Линяев.

Ее лицо вспыхнуло опять.

— А я хочу быть еще и красивой.

— В таком случае не следовало красить волосы. Вот вам!

— У вас убогий вкус.

Они пикировались и на улице. Алина Васильевна взяла Линяева под руку.

— Вы каланча,— сказала она, глядя на него снизу вверх.— Юрий Дядястепович.

Мыловаров тащился где-то сбоку. Остановился около витрины, стараясь привлечь к себе их внимание. Потом сообразил, что выпадает из ансамбля, сослался на завтрашнюю командировку и свернул за угол.

Они шли по городу просто так. Алина Васильевна рассказывала о впечатлении, которое произвела на нее редакция газеты. В редакции народ компанейский и отзывчивый.

Она доверчиво пожаловалась. Получилось так, что ей надо перестраиваться. Область сельскохозяйственная и газета с сельскохозяйственным уклоном. Раньше ей приходилось писать на промышленные темы. В основном. Писала и о деревне, но реже и предпочтительно о вопросах сельской культуры.

Линяев спросил о семье. Мыловаров оказался провидцем. Она была замужем, развелась. В общем не очень-то редкая история. Встречались семь лет. Первое свидание состоялось в девятом классе. Когда пожени-

лись, понадобилось говорить еще о чем-нибудь, помимо любви. Тут-то оказалось: говорить им не о чем. После нескольких лет обоюдной каторги полюбовно решили развестись. Конец истории немного не в стиле фельетонов Мыльского.

— А малыш?

— Малыш в саду, на пятидневке. Я в редакции.

Настоявшиеся сумерки почернели и отяжелели. Подтаявший снег пожелтел — зажглись уличные фонари.

— Снег — это сгущенный дождь. Так можно сказать?— спросила Алина Васильевна.

— Можно,— великодушно разрешил Линяев.

Сейчас ему казалось возможным все. Сейчас он может написать сценарий в один присест! Давайте любую тему! Он может шутя изобрести вечный двигатель! Хотите? Даже читать на языке коренных жителей острова Тагуау и то бы смог! И это сделала с ним Алина Васильевна. «Алина! Да ведь ты чудо!»— мысленно воскликнул он.

Он не упускал из виду ни одного ее движения. Они восхищали его, словно порождение высокого искусства.

Она поскользнулась, и он подхватил ее. Его собственная рука стала твердой и сильной. Стальной!

Черт побери, да ведь он мужчина! Здоровый мужчина! Он же увел эту красавицу от другого! Правда, он не задавался этой целью, и Мыловаров не боролся за нее. Но, в сущности, это было так. Потому что он, здоровый мужчина, понравился ей.

Малыш в интернате, значит, она живет одна. Он войдет в ее комнату. Но она не пустила Линяева к себе. Он пробовал исправить положение остротой. И сострил, пожалуй, первый раз в жизни по-настоящему. Но острота не помогла.

Они стояли в подъезде. Она протянула руку. Он пожал ее.

— Я посижу минут десять и уйду.

— Нет,— твердо сказала Алина Васильевна.— Нет, нет!

— Соседи?

— При чем здесь соседи? Просто время для визита позднее. До свидания, Дядястепович!

Она высказала это, дружелюбно улыбаясь. Закрыла за собой дверь. Прогремела замками и растаяла где-то в глубине квартиры.

Он остался один и подавленно смотрел на дверь. На

дверях звонок. Под звонком дощечка, сообщавшая, к кому сколько раз нажимать кнопку. Фамилий на дощечке восемь. Желающие позвонить последней фамилии должны нажать кнопку восемь раз. Когда звонят, вся квартира, вероятно, замирает и считает звонки.

Он хотел нажать кнопку, но раздумал и вышел на улицу. Стало тоскливо. И моментально за него взялось «оно», караулившее удобный момент. Он слишком устал, чтобы сразу оказать сопротивление. Для зачина «оно» взялось за его бронхи. Он зашелся от кашля.

Получив передышку, Линяев повернул к ближайшему ресторану. Он выпьет черного кофе, передохнет и тогда покажет, что с ним связываться — дело рискованное.

Кофе согрел и успокоил бронхи. Приободрил. Линяев отважился на большее — и заказал лангет. И в придачу салат.

Слабость еще давала себя знать. Но он опомнился от коварного нападения. Теперь можно подвести итоги. Он жив и день все-таки провел, как положено полноценному человеку. Это его победа. Счет в его пользу. Сегодня он сделал уйму дел, нашел оригинальную форму для передачи о Маяковском. А главное — поухаживал за женщиной.

Не каждому мужчине выпадает счастье ухаживать за такой женщиной.

* * *

А телезритель Лопатин слал письмо за письмом, критически откликаясь на каждую передачу. Можно подумать, все серьезное в искусстве и литературе вызывало у него аллергию. «Кому нужен ваш Гете? Я вкалывал всю неделю, и потому покажите мне «Сильву», тогда и отдохну», «На что тратите народные деньги и даром едите наш трудовой мозолистый хлеб?» Линяев морщился, но отвечал: «Уважаемый товарищ Лопатин!» Таков был порядок: отвечать на каждое письмо. И изволь еще высказывать уважение. Да и попробуй отмолчись, когда под текстом сияет титул: «заслуженный ветеран труда». Так Лопатин втянул Линяева в регулярный обмен почтой, они переписывались точно родственники, ведущие давний семейный спор. Наконец, Линяев исчерпал все мыслимые доводы в пользу искусства, и, решив во что бы то ни стало поставить на этом эпистолярном общении крест,

пригласил Лопатина в студию. Авось человек увидит, как мы тоже вкалываем до седьмого пота, может, тогда кое-что и поймет,— рассуждал Линяев. «Таким образом у Вас будет возможность высказаться со всей свойственной Вам принципиальностью прямо нам в глаза»,— писал он, заманивая Лопатина в ловушку. Припудренное лестью предложение привело телезрителя в восторг, но он, сукин сын, и тут повернул все по-своему. «Если Вы желаете поучиться уму-разуму со мной с глазу на глаз, то приезжайте ко мне сами. Я человек старый, больной, ветеран, можно сказать, весь в трудовых ранах, а Вы, судя по тому, как совсем не понимаете интересы общества, еще совсем молодой. Вот и садитесь в трамвай и приезжайте. А можете и пешочком, очень полезно. Я в Ваши годы ходил на своих двоих»,— ответил телезритель Лопатин. Делать нечего, Линяев сообщил открыткой время визита и, получив согласие, поехал принципиально трамваем. Он уже давно нарисовал себе образ обывателя, не затрудняющего себя работой мысли, привыкшего снимать с жизни пенки. Ему удовольствия подавай! Теперь этот тип, конечно, на пенсии, работал бы, некогда было бы заниматься дурью. По дороге, мотаясь в скрежещущем на рельсах трамвае, Линяев этой старой перечнице грозил: «Ну сейчас ты увидишь, какой я молодой! Ну я тебе покажу, какие они, истинные интересы общества!»

Лопатин жил в блочной пятиэтажке. На звонок Линяева вышел коренастый крепенький мужичок лет пятидесяти, а то и всего лишь сорока, облаченный в домашнюю куртку из мягкой уютной байки. На его хрящеватом носу сидело пенсне, предмет теперь уже антикварный.

— Здесь живет гражданин Лопатин?— официально осведомился Линяев.

— А вы товарищ Линяев?— ответил мужичок на вопрос вопросом.

Линяев мгновенно понял, что его надули, как малое дитя.

— А вы, выходит, Лопатин?— угадал он, словно бы подчиняясь игре, предложенной мужичком.

— Я, я!— радостно подтвердил мужичок.— Что? Не ожидали?— говорил он, закрывая дверь на замок.— Думали, Лопатин — этакая старая развалюха? А он еще в соку! Полон жизни! Не зря я вам писал: мне подавай веселье и без всяких там выкрутасов! А вы не сообразили, не сделали вывода.

— Но вы и представились таковым. Израненным ветераном,— напомнил Линяев, с трудом сдерживая возмущение.

— Ну, ну, не сердитесь,— благодушно призвал Лопатин.— Приди я к вам, вы бы навалились всем скопом! Попробовал бы я у вас открыть рот. А здесь мы на равных, один на один. Тактика, мой дорогой, тактика. У нас ведь с вами своего рода война!

— Война — мероприятие серьезное,— согласился Линяев.— На войне обман — военная хитрость. Вы, часом, не отставник?

— Я понял, куда вы клоните,— засмеялся Лопатин.— Вечный взводный Ванька? Нет, я не так-то прост. И в этом смысле вас ждет еще один сюрприз. Прошу, входите!— Он торжественно открыл дверь комнаты.— Не бойтесь!.. Ну как?— поинтересовался Лопатин после выдержанной паузы.

Да, тут было чему удивиться: вдоль стен стояли сотни книг, не чтива, а самых серьезных, черт побери! Их тисненые корешки так и бросались в глаза. Что ни книга, то раритет... Литература... Философия... Шопенгауэр, например. И старинной работы письменный стол — фигурная резьба!— и тот утопал в книгах. На видном месте, словно вызов, лежал том Эккермана «Разговоры с Гете».

— Выгодное помещение капитала?— усмехнулся Линяев.

— Все-то вы не угадываете! Снова ошибка!— возликовал Лопатин.— Не буду, не буду интриговать! Я скромный кандидат, филолог.— А сам, сукин сын, наслаждался эффектом, ну точно нежившийся на солнце кот.

— Ну и как теперь прикажете принимать ваши письма? Захотелось развлечься?— жестко спросил Линяев.

— Не угадываете, не угадываете. Холодно, как говорят, дети. Принимайте письма всерьез. Вы-то как считали? Мол, за письмами стоят невежество и темнота. Ан нет, самое что ни на есть вежество! Потому-то я вас и заманил, пусть, думаю, убедится сам. Так что присаживайтесь.— Лопатин указал на мягкое глубокое кресло,— и беседа у нас будет глубокой. У меня те-о-рия! Сейчас я вам ее изложу. Конечно, обратить вас в свою веру так вот, с ходу, мне вряд ли удастся. Но заронить зерно, маленькое семечко, возможно, сумею.

— Валяйте,— согласился Линяев, устало утопая в кресле.— Даю вам пятнадцать минут.

— Мне хватит,— заверил Лопатин.— Только, чур, не перебивать. Вопросы по окончании монолога. Идет?— и, получив утвердительный кивок из кресла, начал:— Вот это все, что привело вас в трепет,— он обвел широким жестом книжные шкафы,— все это уже отыграло свою роль, оно теперь человечеству помеха. То, что мы называем классикой, подняло гомо сапиенс на определенный духовный уровень и хватит! Дальше нельзя! Опасно! Все это. И то, что в Ленинке, в Москве. И в Лондоне, и в Париже. Пострашней ядерной угрозы.

«Ба, да он попросту спятил! Вот и ответ на загадку»,— подумал Линяев и сказал, как говорят с больными:

— Не бойтесь. Мудрая доброта никогда не делает зла. А они добрые и мудрые.— Он обвел шкафы более широким жестом, рука-то у него была подлинней.

— И опять вы мимо.— На этот раз Лопатин был недоволен.— Уверены, я не в своем уме? А я абсолютно нормален. Могу даже предъявить справку. Как в воду смотрел, и для таких, как вы, специально обследовался в психдиспансере. Сейчас предъявлю.— Он направился к письменному столу.

— Незачем. Я верю,— сказал Линяев.— Но тогда, как говорили, извольте объясниться. Чем же классика опасна? Да что там! Страшна?

— Сейчас,— пообещал Лопатин. Он придвинул к Линяеву другое кресло, сел напротив, глаза в глаза.— Она развивает в человеке личность, его духовное «я»! Человек растет, как художник!— предупредил он свистящим шепотом, наклонясь к Линяеву, точно заговорщик.

— Ну и слава богу!— ответил Линяев, пожимая плечами.

— Тогда позвольте вопрос: что ждет человечество, если его большинство составят Львы Толстые и Рафаэли?

— Вопрос из жанра фантастики. Стоит ли его обсуждать?— Линяев демонстративно взглянул на часы.

— Не скажите — Лопатин отвел его руку с часами.— Вы недооцениваете воспитательной роли мастеров. От их духовного наследства расходятся волны, и недалеко то время, когда они поглотят всех!

— И что же все-таки в этом страшного?— повторил Линяев.

— А во что, скажите, превратится общество, если у каждого будет свой отдельный духовный мир? В сборище индивидуумов! Каждый — высокоразвитая личность. У каждого собственное мнение. Чувство достоинства. Попробуй таких организуй, прикажи. Вот тут-то и начнется анархия! Настоящая анархия, это вам не «цыпленок жареный, пареный» в тельняшке! Разгул личностей!.. Я уже это чувствую по себе, когда вижу своего завкафедрой. Да, он хороший организатор. Может прикрикнуть, заставить. Но в духовной жизни... Я по сравнению с ним Сократ. Я его не уважаю. Мне хочется ему перечить, даже если он прав. Он меня раздражает. Представляете, чем это чревато? А если я не удержусь?

— Что вы предлагаете?— холодно спросил Линяев.— Классику в костер?

— Вы совершенно безнадежны. Я не фашист. Те костры были глупостью. Ну и преступлением, конечно. Книги, ноты, живопись, те, что выше среднего уровня... средний уровень безвреден и даже необходим... После работы человеку и впрямь полезно развлечься. А классику следует постепенно незаметно изъять из обращения и по книжечке, по картинке под землю, в бункер. Где-нибудь в Антарктиде.

— А как быть с новой?— полюбопытствовал Линяев.— Люди пишут, сочиняют музыку. Рисуют.

— А вот это необходимо продумать. У меня не семь пядей во лбу. Нужно сообща.

— Думаю, у вас сообщники найдутся.

Линяев устало вздохнул, но Лопатин, увлекшись, этого не заметил или не придал значения, потому что обрадованно подхватил:

— Думаю, да. Вот и вы, вижу, заинтересовались. Я на это рассчитывал. Телевизор — окно в народные массы!

— Вот как?! Сначала захватим почту и телеграф? И телевидение тоже? Но и вы не ясновидец,— упрекнул собеседника Линяев, по частям выбираясь из обволакивающего уютом кресла.

— Как это понимать?— насторожился Лопатин.— Вы разве не согласны?

— Если у вас и есть справка, думаю, она липовая,— сказал Линяев, распрямляясь.

— Подлинная! И я в здравом уме!— засуетился Ло-

патин.— Вот увидите, я еще вам напишу. Буду писать, пока не убедю! Не убежу... тьфу! Видите, до чего доводит культура?

— Не тратьте время на письма. Я буду рвать их в клочья, не вскрывая,— пообещал Линяев и мысленно попрощался с книгами. «Бедные, бедные».

Лопатин следовал за ним до дверей и грозил:

— Вы обязаны отвечать!.. Это ваш долг!.. Письма трудящихся!.. Учтите: вас накажут!

— Пожалуй,— согласился Линяев, открывая замок.— Но это уже моя проблема!

* * *

Линяев толкнул тугую дверь подъезда. Извне пахнуло теплом. На улице теплее, чем в подъезде. Погоде надо отдать должное — в эти дни много солнца. Но сейчас вечер. Во дворе зажглись фонари.

Под одним из них прыгают мальчишки. К деревянному столбу прибит видавший виды обруч от бочки. Обруч скручен вдвое. На этот раз его предназначение благородно: он баскетбольное кольцо.

Земля подсохла, и мальчишки бросают мяч. После каждого броска фонарь судорожно мигает. Но судьба его милует. Пока милует.

Мяч стукается о кольцо. Или летит мимо. Этого уж Линяев не выдерживает. Он кричит:

— Вадик, экий ты, Вадик! Ай-яй-яй!

— Дядя Юра!— радостно вопят мальчишки.

— Дядя Юра, пас!

Линяев осторожно ловит мяч. Плащ-то на нем светлый — ни единого пятнышка. Линяев брезгливо держит мяч на отлете. Целится прямо из подъезда. Бросок! Мимо!

— У-у!— разочарованно гудят мальчишки.

— Ну-ка, еще!— нетерпеливо просит Линяев и завертывает рукава плаща к локтям.

— Оп!

Линяев слегка сутулится и бросает мяч от груди. Мяч описывает крутую дугу, рушится на обруч, бешено бегает по орбите и вдруг падает сквозь кольцо.

— Очко! То-то!

— У-у!— восхищенно гудят мальчишки.

— Дядя Юра! Теперь оттуда!

Оттуда — это чуть ли не от ворот. Но Линяев уже

занят другим. Он озабочен штанинами — не запачкал ли? Брюки-то новые, парадные. Линяев собрался в Дом ученых. Там областной Союз журналистов затеял бал. Сегодня Восьмое марта!

Линяев разделся и прошел в фойе. У входа к его лацкану прикололи почтовый номерок. Он потер руки: если братья журналисты взялись играть в почту — быть потехе.

«Ба, кажется, я опоздал! Тут уже настоящая карусель!» Трудно так сразу понять что-либо в этом столпотворении. Но вот замелькали свои — студийные. Потом появилось и исчезло разгоряченное лицо Алины Васильевны. «Интересно!»

Алина Васильевна в этот вечер нарасхват. От кавалеров нет отбоя. Они мешают друг другу — шутливо грызутся. Она ловко пользуется этим и то и дело ускользает в детскую комнату — к сыну. Ее ищут, находят и водворяют в зал. Танцуя, читают нотацию. Все просто — по-дружески.

Только однажды ее вверг в смущение заведующий промышленным отделом газеты. Он торжественно подошел к ней в одну из тех редких минут, когда она оказалась одна. От него веяло водочным амбре. Седые пряди волос съехали на лоб. Он усмехнулся и сказал густым басом проникновенно:

— Вы даже и не подозреваете. А ведь я в вас влюблен. Тихо, спокойно, без паники влюблен.

И, не дождавшись ответа, прошел дальше.

Потом Мыловаров, украшенный знаком министерства связи, вручил записку.

Алина Васильевна прочитала: «А у вас на кончике носа черное пятно. Не злоупотребляйте чернилами! Ваш доброжелатель».

«Господи,— ужаснулась Алина Васильевна.— Я-то кручусь в таком виде. И вдобавок считаю себя обаятельной. Какой позор!»

Она подняла глаза и встретила взгляд Линяева.

Он стоит у окна, смотрит на нее и улыбается. В глазах у него прыгают бесенята. Этакие добрые шалуны. Алина Васильевна безвольно опускает руки и смеется. Ей необыкновенно легко.

«Это он написал. Он. Он пошутил. Но дело даже не в кляксе. Бог с ней, с кляксой! Он смотрит на меня и улыбается. И мне почему-то от его улыбки необыкновен-

но хорошо. И может же такое случиться, чтобы от одной улыбки малознакомого человека было так хорошо».

А Линяев смотрел на нее, следил, как она читала — по-детски трогательно. Глаза у нее стали жалобными. «Милая моя»,— подумал он неожиданно для самого себя, пробился к ней через плотную массу танцующих, опередив одного из кавалеров.

— Пропадает изумительный ритм. Идемте?— предложил он.

Они танцевали. И говорили. Он что-то свое. Она — свое. Они не слышали друг друга. Слова глохли в веселом гуле.

На следующий танец он не успел ее пригласить, а потом она исчезла. Он обегал Дом ученых, спрашивал у знакомых. В конце концов кто-то сказал, что она ушла домой. Уснул ее малыш.

* * *

В двух кварталах от студии «Москвич» вдруг замер, словно наткнулся на невидимое препятствие.

— Уже?— разочарованно протянул режиссер Чернин.

Водитель, он же кинооператор Елисеев, молча снес оскорбление, выскочил и нырнул в мотор.

— Излюбленная поза шоферов,— заметил Линяев.— Так они проводят две трети жизни. Лишь изредка садятся за баранку — в виде исключения. Но едва машина останавливается, они опрометью возвращаются на свою родную позицию. Елисеев — наглядный тому пример.

Чернин поддакнул. Он знает одного шофера, который каждый раз на перекрестках, когда его останавливал красный светофор, выскакивал и мчался к капоту. Но нырнуть туда он не успевал — красный свет менялся на зеленый, и приходилось бежать в кабину. Однажды ему удалось нырнуть — то ли подкачал светофор, то ли зевнул новичок милиционер. Вытаскивали его всем отделением милиции. Шофер вцепился в самый любимый змеевик и дрыгал ногами. Ядовитые стрелы отскакивали от спины Елисеева. Он сосредоточенно молчал.

«Москвич» капризничал, пока они ехали по шоссе. Но едва его вывели на проселочную дорогу, фыркнул и бойко запрыгал по ухабам. Последние весенние холода держали землю, и поэтому машина резвилась на просел-

ках безнаказанно. Она петляла, как слаломист, и вдруг стрелой полетела к чернеющей впереди опушке леса.

Они были одни на дороге. От горизонта до горизонта повисло мокрое холщовое небо.

Линяев превосходно знал этот район. Опушку занимали дачи отставников. Летом тут из вишен торчат пугала в старых мундирах и фуражках. Они стоят шпалерами вдоль улицы.

«Москвич» лихо промчался мимо заколоченных домиков и обогнул кромку леса.

Линяев сидел рядом с Елисеевым, скрутившись в пружину.

— Не выдержу, распрямлюсь — дыра в твоей машине обеспечена,— предупредил он водителя.

— Юрий Степанович, тут зверья хватит на всех,— хищно произнес Елисеев.

— На всех троих?— усомнился Линяев, критически оглядывая глухую чащу.

— Смелее! Довертесь следопыту с тридцатилетним стажем!

Пассажиры выбрались из машины. Елисеев достал из багажника двустволку. Линяев и Чернин с суеверным почтением взирали на внушительные, как орудия главного калибра, стволы. Елисеев собрал ружье.

— Сезон объявляю открытым!— сладострастно провозгласил он и, потрясая ружьем, полез в массивный сугроб.

Линяев и Чернин опасливо потянулись за ним.

Когда Елисеев предложил отправиться в командировку на собственной машине, они не поверили. Слишком редкое самопожертвование для владельца машины. Елисеев раскрыл свой план. На машине они сэкономят полдня и за это время поохотятся в пути. Соблазн велик. И тот и другой никогда не охотились.

Итак, они на охоте. В городе ранняя весна, а здесь, в лесу, еще глубокие сугробы. Охотники пыхтят, вытаскивая ноги из темного спрессовавшегося снега. Впереди ванькой-встанькой переваливается сутулый Елисеев. До невероятного сутулый. Из-за верхней линии спины виден только берет с поросячьим хвостиком. Голова ниже уровня плеч.

Но для них в этот момент он античный герой. Любимец Артемиды.

Они крадутся в напряженной тишине. У Чернина сдают нервы.

— Далеко еще до медведя?

— Стоп!

Елисеев указывает на грязные пятна. В глазах сатанинский огонь.

— Прошел олень.— Елисеев нюхает воздух.— Прошел на заре.

Таких пятен вокруг тьма. Они и такие и сякие. Линяев было принял их за подтаявший снег.

— Волк... Кабан... Лиса... — с апломбом разъясняет Елисеев.

— По-моему, это домашняя коза,— робко замечает Чернин.

— Домашняя коза?! Ха-ха!— заливается Елисеев.— Младенцы, это тур!

— Но туры в горах,— заикается Линяев.— Их так и зовут горными.

— Это и вызывает подозрение. Как он мог оказаться здесь? Странно!

Елисеев озабочен. Они скрупулезно ищут тура. Словно тур — иголка. Тура нет. Нет ни лисы, ни кабана. Ни одной самой завалящей лесной твари. Хотя снег усеян так называемыми следами. Охотники барахтаются в сугробах несколько часов. Линяев выдохся. Чернин потерял калошу.

— Говорят, тут бегает заяц со справкой. Чтобы его не задрали сильные мира сего.

Елисеев непробиваем.

— Энергичней! Энергичней! Охота не терпит ленивых!

Наконец уморился и он.

— Довольно! Займемся более серьезным делом!

Он жестом мага вытащил из-за пазухи газету, поделил на три части и прикрепил к черным деревьям, обглоданным зимней стужей...

— Будем стрелять!— оповестил Елисеев.— Ты — в этот лист! Ты — в тот! Я — в третий! Стреляйте! Я уступаю первый выстрел.

Линяев и Чернин с опаской смотрят на ружье.

— Не решаетесь? Стреляю я! Учитесь!

Елисеев пальнул дробью. Чернин побежал к листу. Подсчитал.

— Тринадцать!

— Недурно,— скромно заметил Елисеев.

Пальнул Чернин.

— Двадцать два!

— Дело вот в чем,— пояснил Елисеев.— Чернин стрелял из другого ствола. Его ствол бьет кучно. Мой рассеивает.

Линяев взял ружье. Прицелился. Ружье прыгнуло в руках. Он с трудом задержал прерывающееся дыхание. Пальнул из рассеивающего ствола.

— Двадцать девять!— крикнул Чернин.

— Молодцы!— похвалил Елисеев, не теряя достоинства.— Но главная охота на самом деле еще впереди!— Он к чему-то прислушался.— Вот она! Значит, так, мы из торговли,— предупредил, он, понизив голос до шепота.

Через минуту, словно по заказу, послышались хлопки раздвигаемых еловых веток, из низкого ельника на поляну вышел здоровенный мужик в бараньем полушубке и высоких яловых сапогах. На шапке его красовались скрещенные ружья и лосиные рога. Третье, настоящее ружье висело на плече мужчины. «Егерь»,— догадался Линяев.

— Кто такие? Билет есть?— грозно напустился егерь.

— Мы с базы ОРСа,— быстро произнес Елисеев, протягивая охотничий билет.

— А хоть бы прилетели с Луны,— парировал егерь, пренебрежительно заглядывая в билет,— закон един для всех! Март — запрет на охоту. Кроме как на лис.

— Так мы и бегали за лисой,— включился Линяев.— На воротник его жене, Елисеева. «Без модного воротника, говорит, не пущу на порог». А мы, стало быть, помогаем. Травим!

— А то у вас на базе нет воротника. Ишь, бедные какие,— усмехнулся егерь и ткнул сапогом в бумагу, недавнюю мишень.— Вот охотились на кого. Так что будем оформлять акт.— И перевел из-за спины на живот брезентовую полевую сумку.

— А может, не надо?— заканючил Елисеев.— Что мы такого сделали?

— Да, да. С каких это пор бумага стала считаться дичью. Что-то я такого зверя у Брэма не встречал,— вмешался Линяев.

— Ах, какие мы умные, хитрые. Даже про Брэма знаем,— передразнил его егерь.— Сейчас оштрафую, и будет вам Брэм.

Но по его замедленным движениям, по тому, как он

долго рылся в сумке, Линяев понял, что егерь только пугает актом и штрафом.

— Эх, не повезло вам! Кончились бланки. Вчера последний отдал. Теперь придется вести на кордон. А там уж точно выпишут штраф. Могут конфисковать и это ружьишко,— притворился егерь сочувствующим.

— Тогда не надо вести. Здесь бы и отпустил,— посоветовал Елисеев.

— У нас сегодня приемка товара,— вступил в игру Чернин.

— Я б отпустил. Да вдруг узнает кто? В лесу, считай, у каждого дерева глаза есть и уши,— посетовал егерь.— Почему я должен рисковать за людей мне как практически, так и теоретически посторонних? У меня дети. И жена есть просит.

— Да разве мы посторонние?— обиделся Елисеев.— Все люди — братья!

Егерь сплюнул и молвил с досадой:

— До чего же вы недогадливые. Все надо думать за вас. Ну ладно. Сколько при себе наличных?

— Чего именно? Дроби?— прикинулся Елисеев простаком.

— Денег, конечно!— раздраженно прикрикнул егерь и покраснел. Видно, он в этой ситуации чувствовал себя не столь свободно, наверно, жалел, что затеял это дело.

— Не получите от нас ни копья!— угрюмо сказал Чернин.— Мы, дорогой, из телевидения!

Егерь с трудом проглотил застрявший в горле комок испуга и соврал:

— Ну, как же! Я вас видел по телевизору. Как же, вы Елисеев!— добавил он, заглянув в охотничий билет.

— Елисеев — это я,— обиженно напомнил оператор.

— Вот-вот! Вы еще были в этом...— Егерь, уставясь на Елисеева, описал рукой нечто неопределенное.

— В том был я,— уточнил режиссер.

— Ну да. В этом вы,— заметался затравленный взяточник.— Потому и сразу узнал. Еще бы не узнать! Только дай, думаю, смолчу. Проверю: и впрямь ли они такие идейные, как говорят? А вы — молодцы, устояли!

— Спасибо за высокую оценку.— Чернин ядовито раскланялся, он взял дело в свои руки, теперь ставил маленький спектакль.— А лицезреть меня на экране вы не могли никак. Тем более в этом...— режиссер повторил жест егеря.— Я всегда за кадром.

— Вот туда я не заглядывал,— пожалел егерь.—

А его видел точно!— Он указал не то на Елисеева, не то на Линяева, понимай, как хочешь. И снова залился алой краской.

— Их вы тоже не могли видеть,— безжалостно отрубил Чернин.

— А я узнал все равно!— отчаянно уперся егерь.

— Ладно. У нас нет времени. Если мы проштрафились, ведите на свой кордон,— сказал Чернин, завершая спектакль.

— С чего это? Вы палили в бумагу, можно сказать, тренировались, а я вдруг поведу? Да что я не понимаю? И билет свой возьмите!— он сунул в руки Елисеева билет, словно раскаленный.

— Жаль, нет поблизости милиции,— сказал Елисеев.— Но если я узнаю, что вы продолжаете брать взятки, лично примусь за вас.

— Кто продолжает, кто продолжает?!— возмутился егерь, отводя глаза. Он не знал, как избавиться от них, и вдруг придумал:— Да ну вас! С вами как с людьми, а вы!..— И, притворясь обиженным, зашагал прочь.— Чтоб вам...— донеслось напоследок из ельника.

— И вы, Елисеев, хороши!— Чернин не мог остановиться.— Кто же так ловит взяточников? Надо было подключить милицию, пометить купюры. Неужели вы не знаете, как это делается? Хотя бы по фильмам?

— Были только слухи, а этого мало. Вдруг все не так? Браконьеры, они, знаете, тоже... им бросить тень на честного егеря, все равно что... все равно что выпить стакан воды,— запротестовал Елисеев.

— Успокойтесь,— вмешался Линяев.— Не за чем сажать человека, если он еще не разучился краснеть. Теперь ему этой науки хватит на всю остальную жизнь.

Они вернулись в машину. Застоявшийся «Москвич» рванул с места в карьер. Но не зря накаркал егерь. Едва дорога завела подальше в дебри, из-под капота повалил дым.

— Пожар!— крикнули пассажиры.

Елисеев тушил пожар водой из радиатора. Вставил туда резиновый шланг, втянул в себя воду и, раздув щеки, брызгал на клубы дыма.

Потух пожар, выяснилось другое: вода в радиаторе иссякла, ехать нельзя.

— Растопим снег в ведре,— предложил Линяев.

— Ведро-то брезентовое,— охладил его пыл Елисеев.

Ждали проезжий транспорт — не дождались. Неуве-

ренно сказали «эй, ухнем!» и нажали плечом сзади. «Москвичок» пополз со скоростью похоронной колымаги. Тем временем над головой появилось алюминиевое солнце. Поторчало для видимости, чтоб потом не говорили, что его не было. Потом покатилось вниз, наливаясь красным цветом.

Под вечер выползли к неширокому каналу. Над каналом стоял пар. Вода здесь не замерзала. На дне клокотали горячие ключи.

Елисеев взял ведро и, разъезжаясь тяжелыми ботинками по наледи, заскользил к воде. Вдруг он отшвырнул ведро и, словно ошпаренный, помчался к машине, выхватил кинокамеру «Конвас» и ринулся назад. На ходу он крутил объектив. Линяев и Чернин высунулись из машины.

Елисеев плюхнулся на живот и выставил «Конвас» перед собой. Камера неистово зажужжала, вбирая в себя увиденное. Пораженные Линяев и Чернин раскрыли рты.

Через канал, подняв хвост, плыла лиса. Солнце опускалось за горизонтом, и хвост лисы пылал на закате. Она бережно держала этот дивный факел, опасаясь потушить его о воду.

Видение растворилось на том берегу. Елисеев поднимался, будто отходя от сложного, запутанного сна. Линяев и Чернин с чувством пожали его вялую руку.

— Непонятно,— сказал Елисеев.— Помнится, я бежал за ружьем.

Линяев покачал головой.

— Это объяснимо, Елисеев. Просто вы более великий охотник, чем думаете.

— То же самое я говорил на производственных совещаниях,— подтвердил Чернин.

Ночью они въехали в Кочетовку. Час торговались с дежурным Дома для приезжих. Дом для приезжих навсегда лишится гостиничной солидности, если предоставит койку без проволочек. Так уж повелось.

Часа полтора ушло на бессонницу. Линяев сжимал веки. Пытался использовать храп соседа в качестве колыбельной. Даже придумал ей название: колыбельная «Застольная»,— от соседа расходились волны спиртного аромата. Линяев ворочался, устраивал поудобней натруженные мышцы.

Он ворчал на бессонницу, но без злобы. Эта бессонница иная, чем те многие, доводившие его до психическо-

го изнеможения. Она — порождение его возбужденного мозга. Он сегодня охотился. Потом толкал плечом машину.

Жилистый Елисеев сказочно вынослив. Со своей кинокамерой он исходил пешком полсвета. Чернин несколько лет тому назад выиграл первенство области по штанге. И он, Линяев, сегодня взял на себя причитающуюся треть трудностей. Как равный. Не больше, но и не меньше.

С утра Чернин и Елисеев поехали по хуторам.

Линяев пошел в сельсовет. Его интересовала культурная жизнь Кочетовки.

На дверях сельсовета висел замок. Линяев сел у крыльца на свежую, недавно отесанную скамью. Умению ждать он научился давно, в той же крошечной районной редакции. Это качество не менее ценно, чем напор и изворотливость, с помощью которых журналист достает наиболее скрытый материал.

Как из-под земли появился мужчина в полушубке. Он присел на скамью и сразу посоветовал:

— А вы езжайте на Север.

— Зачем же на Север?

— Как «зачем»? — опешил мужчина. — Да там хорошо!

— Именно?

Мужчина принялся загибать кургузые пальцы.

— Там воздух. Олени. Туды везут лимоны. Шоколад. Платят во! — Он показал на кадык. — Опять-таки холод, и мясо схоронишь твое.

— Какое мясо?

— То, что у тебя на костях.

— Вы вербовщик?

— Не, я сам там был.

— Расхваливаете, а уехали.

— Там одно плохо. Не поговоришь вволю. Народу меньше, да и тот все молчит. Тут наговорюсь годика на три впрок. И вернусь.

Пришла секретарь сельсовета.

— Арефьев уже тут! Как язык у тебя не оборвется, Арефьев? Господи, говорит и говорит.

— Зря ты. Язык мой крепкий. Я еще норму не выполнил. Человеку положено за жизнь сказать норму слов, — пояснил он Линяеву. — А я там молчал и не выполнил свою норму. Во мне все слова так и остались, —

он погладил желудок.— Новые тоже накопляются. Куда их деть, а?

Секретарь открыла сельсовет. Линяев и мужчина перебрались в сельсовет. Линяев спросил о председателе. Председатель, оказывается, был в правлении колхоза и оттуда пошел домой. Понадобились какие-то бумаги. В свою очередь секретарь заметила: товарищ по виду журналист, не знает ли он Александра Мыльского? Важный фельетон сочинил товарищ Мыльский.

У нее усталое лицо многодетной матери. Для женщины с таким лицом нужно писать, не утаивая правды. И если фельетон ее тронул, значит, Мыловаров задел важные проблемы.

— Культурная жизнь?— переспросила женщина.— Течет у нас культурная жизнь. Раньше лужа была. Теперь не река, а ручей есть. Значит, у колхоза новый клуб мест на полтыщи. Работают кружки. А все председатель. Любит он искусство, не жалеет средств. Вот недавно хор одел в народные костюмы, в городе пошил. И для оркестра купил всякий электрический музинструмент.

— «Пошил», «купил»,— передразнил ее говорливый мужчина.— Можно подумать, деньги взял со своей сберегательной книжки. Да он...

— А ты, Арефьев, молчи,— перебила его женщина.— от тебя-то совсем мало прока. Летаешь туда-сюда. Вот пропесочит тебя товарищ на всю область. Сфотографирует на кино, тогда поговоришь.

— Да я ничего,— смутился Арефьев.

Линяев спросил, где живет председатель, и вышел на улицу. Сойдя с крыльца он посмотрел в небо, какова, мол, погода, но проходившая мимо толстушка истолковала его интерес сугубо по-своему:

— Дядечка, вам кого-то надо?

— Дом вашего колхозного председателя.

Толстушка задумалась, темные глаза ее под низко повязанным белым платком отразили напряженную работу ума, будто он искал дорогу в Париж.

— Он живет вон там. Справа четвертый дом.— Она указывала совсем в противоположную сторону.

Линяев выразил свое недоумение вслух.

— Там, там, не сомневайтесь,— заверила толстушка и даже обидчиво поджала губы.

Председательский дом и впрямь оказался четвертым справа. Линяев распахнул железную калитку и, ступив

во двор, тотчас подвергся фланговой атаке. Из будки размером с финский садовый домик вылетел матерый пес невообразимых цветов от песчаного до черной ваксы. Из-под его мощных лап летели комья грязи и талого снега. Линяев успел загородиться своей длинной ногой. Пес метался с оглашенным лаем, выискивая уязвимое место в обороне незваного гостя.

— Эй, есть здесь живые?— позвал Линяев.

Кто-то мелькнул за стеклами веранды, на высокое, почти боярское крыльцо выплыла миниатюрная старушечка в просторных не по росту ватнике и резиновых сапогах. Приставила ко лбу руку козырьком и вгляделась в Линяева. Тот взмолился:

— Мамаша, уймите пса! Я не вор, я должностное лицо!

— Ты поговори с ним, поговори,— доброжелательно посоветовала старушечка.

— Барбос, веди себя приличней!

Пес изловчился, едва не впился желтыми зубами в штанину. Линяеву пришлось совершить пируэт в стиле тореро.

— Он по-хорошему не понимает,— сообщил Линяев с поля боя.

Старушечка сползла с крыльца. Пес добровольно поджал хвост и убрался в будку.

— Если не секрет, зачем вам этот тигр?— спросил Линяев.

— А как без него? Одной-то боязно.— Старушечка поежилась под свободным ватником.

Выходит, они живут вдвоем, председатель и его мать. Сын, конечно, с утра допоздна пропадает на работе, и старушечка и вправду целыми днями одна. Линяев представил ее, маленькую, в этом огромном кирпичном доме и посочувствовал: может, пес для нее не только сторож, но и единственный собеседник.

— А сейчас-то ваш сын, надеюсь, дома?

— Поехал, поехал,— наверное, не расслышав, сказала бабуся.— Оттуда на кирпичный завод. Надо, говорит... Теперь уж, поди, на кирпичном.

Отсюда до завода девять верст. А может, и километров. Запамятовала старушечка.

Линяев потер затылок. Околачиваться до возвращения председателя в станице — пропадет день. Он развел руками.

— Помаршируем на завод. Нет другого выбора.

Старушечка всполошилась.

— Куда ты в степь? Из тебя смерть глядит, а ты в степь.

Из него глядит смерть — значит, он вдвойне обязан маршировать.

Он шагал по степи пригнувшись. С его ростом трудно идти против ветра. Ветер задувал даже в пуговичные петли пальто. Линяев поглядывал на часы. Со школьных уроков он помнил среднюю скорость человека — пять километров в час. Два часа пятнадцать минут ему отпущены на дорогу. Если он обычный человек.

Через два часа пятнадцать минут он появился у проходной завода, напугав вахтера. Вахтер выстрелил в воздух и пустился наутек. Он принял позеленевшего Линяева за привидение.

— Чижало дышит. Изо рта и глаз огонь,— оправдывался потом вахтер.

В станицу Линяев вернулся с председателем колхоза. Он свернулся улиткой на заднем сиденье, а сам председатель уселся рядом с шофером на самое ненадежное в случае аварии место в машине, но почему-то излюбленное средним руководством, особенно в сельских районах. Линяев объяснял этот риск борьбой за авторитет. Начальству всегда надлежит быть впереди, а тут вдруг кто-то сядет перед тобой, будто возглавит. Хотя бы тот же шофер.

В салоне пахло бензином, газик бросало на ухабах. Ловя в тряске спокойные паузы, Линяев записывал в блокнот монолог кочетовского председателя. Тот увлеченно рассуждал, продолжая разговор, который они начали в кабинете заводского директора:

— Дело не в том, что я люблю искусство. Смотрю телевизор, кино. Недавно ездил на совещание в город, вечером сходил в театр. Но это мое личное дело. Любишь,— скажут, и люби. Признаюсь откровенно, тут мной двигает иное, хозяйственное соображение. Колхозу не хватает рабочих рук, а молодежь рвется в город, хочет жить культурно. И она, никуда не деться, права! Тогда я взял и отгрохал Дворец культуры и стадион, лучшие в районе. Лично организовал хор и оркестр, и разные кружки. Ну молодежь и хлынула в колхоз. В городе-то еще изволь, помучайся с жильем, а здесь дом родной. И другое. Но у меня четко: трудишься, выполняешь норму, запишу в драмкружок, будь ты даже занкой. Не справляешься с работой, проваливай со сцены, хоть ты

второй Николай Крючков!— Он повернулся к Линяеву лицом.— Был у нас лентяй один. Ничем его не возьмешь, равнодушен к искусству. Так я ему запретил ходить по тротуару. Прошлым летом я завез метлахскую плитку, пусть ходят передовики. Говорю ему: «А ты, братец, лезь на дорогу в грязь». Этот уехал. Ну и не велика потеря. Ты записывай, все до слова. Хотя, между нами, вашего брата не люблю. Лезут, копаются в мелочах, только мешают делу... Надеюсь, ты не из таких?

Линяева высадили у Дома для приезжих. Он отряхнулся, поднял голову и увидел Алину Васильевну. Сердце его замерло. Он хотел окликнуть ее и почему-то не смог, будто лишился дара речи.

Они встречались всю зиму, но как-то урывками, чаще их свидания проходили по телефону. Алину перевели в спецкоры, и она часто отлучалась в командировки. А в конце февраля Линяев и вовсе потерял ее из виду.

И вот теперь в трех шагах от него Алина в меховом полупальто и красных резиновых сапожках сходила по ступенькам Дома. Он смотрел на ее лицо — оно было озабоченным — и волновался. Наконец, обрел голос, окликнул. Она обернулась изумленно.

— Милый Дядястепович! Вот вы где?

— Я-то здесь. А вот вы? Вы ли это?

— Уж и не знаю!

Они смеялись, как и тогда, на вечере. И снова городили всякую чепуху.

— И все-таки какими судьбами?— спохватился Линяев.

— Приехала писать о здешнем председателе.

— Ба! Я только что от него!

— И какое впечатление?

— Мужик мыслит цепко. У него в колхозе трудятся и музы в поте лица. Будем ему петь славу!

Алина звонко расхохоталась.

— Я не то сказал?— насторожился Линяев.

— В моей перспективе — критическая статья,— сказала Алина, посерьезнев.— Я здесь уже третий день.

— За какие его грехи?— Линяев не удивился, он слыл бывалым журналистом.

— Отгрохал себе второй дом за колхозный счет. Будто бы казенный. А в первом оставил мать.

— А чем объяснил? Жена не сошлась характером со свекровью?

— Вы угадали! Ну мне пора.

— Да куда же вы?

— Оказия. Меня обещали подбросить в район. Я ведь здесь теперь нежелательная особа,— сказала она смеясь.

Только теперь Линяев заметил грузовик с номером соседней области. Из кабины нетерпеливо выглядывал молоденький конопатый шофер в кепке, надвинутой по самые брови. Парень надавил на сигнал.

— Итак, до встречи в городе!

Она по-женски неловко забралась в кузов грузовика. Мотор взревел. Алина Васильевна что-то сказала. Линяев переспросил. Шофер скорчил ехидную рожу. Линяев погрозил ему. Грузовик с Алиной Васильевной скакнул сразу к горизонту и там пропал.

Минуло три дня, и «Москвичок» вновь выкарабкался на шоссе. Он набегался по степи, и ему хотелось в город.

— Учтите, отказали тормоза. Я умываю руки,— мрачно заявил Елисеев, когда они подъехали к городу.

Первое, что они увидели, была их телевизионная вышка. Командировка завершилась. «Счет в мою пользу»,— сказал себе Линяев.

* * *

Из Сочи прикатили загорелые белозубые черти. Они ввалились в проявочную, загнали лаборанта в угол, сунули ему кассеты с пленкой и приказали:

— Проявляй! Немедля!

Лаборант, закоренелый атеист, призывал соблюдать порядок. На очереди у него другая пленка. Черти пригрозили защекотать.

К селектору прорвалась девушка монтажер и забила тревогу. Студия всполошилась. С приходом Линяева положение чертей стало критическим. Напрасно они утверждали, что у них пленка наипервейшей важности. Вдумайтесь в содержание, товарищи неверующие: всесоюзные соревнования юных теннисистов. Но чертей выдворили вон. При тщательном рассмотрении они оказались работниками молодежной редакции. Чертей отдали на расправу Линяеву, а за их главаря, болгарина Ангела Ивкова, взялась редактор детских передач.

— Ну какой ты Ангел? Ты сущий дьявол!— приговаривала она, вытесняя Ивкова из помещения.

Соки налили ее до предельной упругости — хоть лепи скульптуру «Урожай» для сельскохозяйственной вы-

ставки. Противостоять ей практически невозможно. Ивков пробовал сопротивляться.

— Погоди, грянет страшный суд, я тебе припомню!— запугивал он.

Попытка чертей прорваться к проявочным машинам прямо с вокзала была пресечена. Когда в зеве коридора сгинул последний черт, редактор детских передач сказал Линяеву:

— Вы потрудились на славу и кое-что заслужили. Закройте глаза! Дайте ладонь! Раз! Два! Три! Можете открыть.

Он получил записку. Прочитал: «Дядястепович! Я сегодня задержусь в редакции. Будет желание — зайдите за мной. Часов в семь. А. В.».

Он поднял сияющие глаза на редактора.

— Большая добрая колдунья! Вас забыл на студии какой-нибудь сказочник. После детской передачи. Ушел и ненароком забыл.

— Скажите это директору. Он-то не знает. И, наверное, потому вчера устроил разнос. Почему, спрашивает, я пригласила детей пятого детского сада, не седьмого? Я же вам, говорит, подсказал: возьмите в передачу седьмой, в седьмом внучка Петухова.— Колдунья для удобства села за стол, приготовилась к повествованию, в стиле длинного средневекового романа.

— Вы с ней знакомы?— эгоистично перебил Линяев, имея в виду автора записки.

— К сожалению, нет... Вы, говорит, выбили из моих рук очень важный козырь. Можно сказать, червового туза! Мне, говорит, на той неделе...

— Тогда где вы взяли записку?

— А-а, эту? Заходила к ним утром, просили отрецензировать спектакль... детский, конечно. Пришла, а там, как всегда... Ну и там просили передать. Одна симпатичная особа,— лукаво намекнула посредница.— Сама баба, но баб не люблю. Но эта молодец! Не боится сплетен. Каюсь, я прочла. Однако никому, нема, как рыба. Да, на чем я остановилась?.. Мне, говорит, на той неделе у этого Петухова лимиты просить...

— Я знаю, что вы ему сказали.

— Ну, ну сейчас что-нибудь придумаете,— не поверила колдунья.— Мы в кабинете были вдвоем.

— Вы сказали: «если уж хотите Петухова умаслить, предложите его выступить в информационной программе». Верно?— Это была его излюбленная игра, не бог

весть какая мудреная, но она производила эффект (почему-то многие считали, что очевидная мысль доступна только им), и Линяев с удовольствием играл роль ясновидца.

Ошеломив колдунью, он в самом превосходном настроении отправился к себе.

Его душа пела, ее ликующий голос как бы проник сквозь толщи стен к Федосову, и тот послал за Линяевым секретаршу Аврору.

— По-моему, его волнует день рождения некой Наталии Николаевны,— предупредила Аврора по дороге к главному редактору.— Кажется, она жена председателя облисполкома. Или кого-то еще. Из высших. День рождения завтра. «Только завтра»,— так сказал какой-то Гриша нашему Федосову по телефону. И это «только», как я поняла, имеет отношение к вам. Не совсем приятное отношение.

«Но передача-то уже состоялась»,— с удовлетворением вспомнил Линяев.

— А вы, значит, прослушиваете телефон своего начальства?— спросил с укором Линяев.

— Секретарь должен знать все! О начальстве! Ему же лучше.

— Федосов — исключение?

— Исключение — вы!

Массивный стол, за которым восседал главный редактор, походил на могучую крепость. Линяев остановился перед ним точно в чистом поле. После их горячей дискуссии о любви, Федосов пытался наладить с ним нечто вроде приятельской связи, перешел было на «ты». Но Линяев ничего не мог поделать с собой, он не уважал тех, кто занимал не свое кресло. И Федосов отступил на прежнее «вы».

— Юрий Степанович, забудьте на время, что я ваш главный редактор,— радушно предложил Федосов и в подтверждение этого покинул крепость, вышел из-за стола.

— Постараюсь. Хотя забыть именно здесь, в кабинете, не так-то просто,— возразил Линяев.

— Я вас понимаю,— согласился Федосов, скрывая удовольствие, которое доставило ему признание Линяева. Но вы сами отказались от предложенных мной товарищеских контактов. Поэтому для внеслужебной беседы, а я, как вы, наверное, догадались, именно намерен таковую беседу вам предложить, у меня нет иного под-

ходящего места. Так что постарайтесь забыть,— произнес он, будто заранее написал текст и выучил наизусть.

— Хорошо. Я не буду смотреть по сторонам. А то и вовсе закрою глаза,— миролюбиво пообещал Линяев.

— Ну и язычок у вас,— чуть ли не ласково отметил Федосов.

Он демократично сел на диван, хлопнул по дивану ладонью, мол, усаживайтесь, будьте как дома.

— Юрий Степанович! Я хотел бы поговорить с вами, как мужчина с мужчиной.— Он посмотрел на Линяева в упор, глаза в глаза.

— Я готов! Ничто так не украшает мужчину, как откровенная мужская беседа,— серьезно высказался Линяев и, с достоинством выдержав его пристальный взгляд, опустился на диван, готовый выслушать даже самую жестокую правду.

Федосов помолчал, видимо, прикидывая: не дурака ли валяет подчиненный,— и начал:

— У меня сложилось впечатление, что вам на студии, как бы сказать, излишне сочувствуют, делают скидки на вашу болезнь. По-моему, это не верно. Работа есть работа.

— Меня это тоже беспокоит,— искренне признался Линяев.— Более того, мне это мешает.

— По-моему, такое сочувствие унизительно,— добавил Федосов, не сводя с Линяева глаз.

— Еще как!— с горечью подтвердил тот и проникся к Федосову благодарностью, не признает его болезни человек.

— Я рад, что вы не требуете снисхождений,— сказал Федосов и, давая понять, что неофициальная часть их встречи завершена, вернулся за письменный стол.

Линяев так его и понял, ждал, что будет дальше.

Главный редактор взял со стола конверт, подержал перед собой, то ли освежая память, то ли обдумывая первую фразу.

— Юрий Степанович, на вас жалуется телезритель.

— Лопатин,— уверенно произнес Линяев.

— Коль вы догадались сразу, значит, не занятость или попросту лень причины вашего странного, на мой взгляд, проступка. Выходит, ваше поведение вполне осознано,— сказал Федосов удовлетворенно.

— И что он пишет? Лопатин?

— А вот что!

На этот раз Лопатин не требовал развлечений, он на-

поминал о той роли, какую играют письма трудящихся в строительстве светлого будущего. «Но товарищ Линяев против этой политики,— обвинял Лопатин.— Боязнь, что он или подкупленные им работники студии перехватят это письмо, вынудили меня, уважаемый товарищ Федосов, в отчаянии послать этот крик сердца на Ваш домашний адрес».

— Вы что, и впрямь рвете его письма?— живо спросил Федосов, едва покончив с читкой.

— Обещал рвать. Но, к сожалению, не хватает смелости. Храню в папке. Все шесть писем. Единственное, что до сих пор выполняю: не ответил ни на одно из них,— пояснил Линяев.

— Юрий Степанович, а ведь вы обязаны. Лопатин, конечно, нафантазировал, но в главном телезритель прав: ни одно письмо, из присланных к нам, на студию, не должно быть оставлено без ответа. Таков порядок! Разве он вам неизвестен?

— Порядок, но не глупость,— возразил Линяев и рассказал о своем посещении Лопатина.

— И все-таки порядок — это закон. Мы не можем из-за одной-единственной частности компрометировать идею. Вы должны Лопатину ответить. На все шесть писем!— бесстрастно приказал Федосов.

— Геннадий Петрович, я не стану отвечать. Я не участвую в этом балагане,— твердо отказался Линяев.— За шестым он пришлет седьмое, десятое... сотое письмо!

Федосов задумался и вдруг покладисто сказал:

— Ладно, переписку с Лопатиным я возьму на себя. Дело это поправимое. А вот у директора вопрос к вам гораздо посерьезней. Он что-нибудь говорил? Нет? Я так и думал. Это к нашему мужскому.

Выйдя из кабинета главного редактора, он пересек приемную.

— Семен Демьянович занят!— предупредила Аврора.

— Я по личному,— ответил Линяев.

— Юрий Степанович... да погодите же!

Аврора заслонила бы дверь своей высокой звенящей кубачами грудью, да с правой ноги чудом слетела туфля. Пока она втискивала слегка распухшую ступню в узкую «лодочку», Линяев вошел к директору.

Она сказала правду: у Семена Демьяновича сидели коллеги из молодежной редакции. Линяев пристроился

на стуле возле дверей и терпеливо дождался своего — наконец, они остались вдвоем, он и директор.

— Ну-с, Юрий Степанович, с чем пожаловали?— жизнерадостно осведомился директор.

— Принес голову на вашу плаху,— сказал Линяев, перебираясь поближе к директорскому столу.— Говорят, я натворил что-то ужасное. Все знают, кроме меня. Обидно! Но если виновен, положу.— И он склонил голову на край стола.

— Юрий Степанович, как-нибудь потом. Сейчас мне в аппаратную, на тракт,— засуетился директор.

— До тракта сорок минут. Сорок две,— уточнил Линяев, взглянул на свои часы.

— Хорошо... то есть ничего хорошего... Я же Федосова просил: не говорить, пока не разберемся,— пожаловался директор.— Но, впрочем, рано или поздно... В общем, был неприятный сигнал. Звонили из Предгорного района. В общем, там на вас кровная обида. Выбрал, мол, кочетовский колхоз, растормошил людей, пообещал сделать о них передачу, а снял другой клуб да еще в соседнем районе, то есть извечных конкурентов. Вот, собственно, и вся история,— закончил директор, пряча глаза.

— Семен Демьянович, это не криминал. Сие наше право: тот клуб снимать или этот. И в районе не дети, чтоб не понимать истины, простой, как выеденное яйцо.— Линяев усмехнулся.— Но, может, я сдирал с председателя взятку? За показ? И председатель с благородным негодованием выставил меня за дверь? После чего, алчный, я вместе со своей шайкой сбежал в соседний район. И непременно под прикрытием ночи. Сюжет таков?

— Вас троих задержали, как браконьеров. А вы с Черниным и вовсе не имели охотничьих билетов.

— И ружей,— невинно вставил Линяев.

— Знаю.— Директор вздохнул.— Я говорил с твоими сообщниками. А дальше почти по твоему сюжету. Вы давили на кочетковские власти, требовали замять скандал. Ну, а когда у вас ничего не вышло, действительно под покровом ночи...

— Уж очень он рассчитывал на эту передачу. Смотрите: газета критикует, а я на самом деле бескорыстный покровитель искусств.

— Но и сделал он, признаться, немало. Клуб... Стадион... Бассейн, вот говорят. И районное руководство

ценит его... Может, вам не следовало уж так строго?— предположил директор.

— Следовало! Это не культура! Это издевательство над культурой. Он и репертуар-то составляет единолично. Дадим хлеба сверх плана, разрешу поставить «Вишневый сад». Нет, будете у меня играть одноактные пьесы. До нового урожая!

— Не кипятитесь! Мы эту историю погасим. Ну, может, заплатите штраф, экая беда. А я позвоню в обком! В директоре забурлила энергия.— Да, да... У меня там знакомый. Вместе учились. По-моему, и он курирует этот район... А можно и так! Наверное, перед мысленным взором мелькнула кометой новая идея, и он поспешно ее схватил за яркий хвост.— Пошлем в район... нет, вам пока у них лучше не появляться... пошлем кого-нибудь из редакции общественно-политических передач. Пусть подготовят выступление для товарища из районного руководства... кандидатуру уточним... И все будут довольны. Да, именно так и сделаем, Юрий Степанович, и не спорьте! Район образцовый, крепкий!— заранее заспорил директор.

— Какой тут спор,— уныло посетовал Линяев.— Возразишь, скажут: мстит! Вы первый.

— Я нет! И другим такого повода не дадим!— пылко заверил директор.

И все же прекрасное настроение он уберег — не дал задуть холодному ветру, повеявшему из Кочетовки. Дел сегодня у него больше не было, и за час до конца работы Линяев отпросился домой. Федосов в этот день был к нему снисходителен, отпустил и даже соизволил пошутить:

— Юрий Степанович, на вас это не похоже. Чтобы вы да отпрашивались с работы? Никак тут замешана дама?

— Ах, если бы!— ханжески воскликнул Линяев.

Дома он вычистил вечерний костюм. Отгладил сорочку и долго подбирал галстук. И все-таки собрался раньше времени.

Он сел за пишущую машинку, но мысли ускользали. Думать он мог только о том, что будет в семь часов.

Вдобавок, заслышав его шаги, явилась пожилая соседка. За небольшую плату она убирала его комнату. Соседка — поразительное сочетание доброты и лени. Убирать она взялась по доброте. Однако убирала неряшливо. За дверью постоянно висела паутина. Но в его

присутствии она демонстрировала рвение. Ей хотелось сделать Линяеву приятное.

Так и сейчас она залезла с тряпкой под стул, на котором он сидел. Провела тряпкой по машинке, на которой он печатал.

Где тут работать! Лучше подождать до семи часов в редакции газеты.

Линяев набросил пальто и вышел на лестницу. На площадке второго этажа сидел кот Флинт. Умнющий кот-гладиатор. Потрепать Флинта по шелковистому загривку — одно удовольствие. Но при первом движении Линяева кот всегда отскакивал в сторону.

И на этот раз Линяев шагнул к Флинту. Кот неуклюже попятился на трех лапах. Четвертая беспомощно повисла. Видно, Флинт побывал в основательной переделке. Пользоваться его бедой было бы нечестно. Линяев прошел мимо.

От дома до редакции восемь минут неторопливой ходьбы. Но он доехал троллейбусом и квартал от остановки до редакции преодолел почти бегом. Он зайдет за ней ровно в семь, а до этого будет тут же, в редакции, рядом.

Он заглянул в отдел писем.

— Ассенизаторы и водовозы! Приветствую вас! Где Мыльский?

Мыловаров слонялся по коридору. Длинный силуэт Линяева, движущийся от противоположного окна, обрадовал его.

— Ты весьма кстати. Я маракую над фельетоном о головотяпах. Только что придумал такую фразу: «По осени они считали цыплят, как и требовала популярная поговорка. Насчет того, что делать с цыплятами зимой, от фольклора никаких указаний не было. Поэтому зимой цыплята дохли от голода. А головотяпы сидели, ждали, когда сочинят новую поговорку». Звучит?

Линяев не соображал. Он мог думать только о том, что в комнате номер шесть Алина Васильевна. Что она делает в эту минуту? Обрабатывает материал для очередной полосы? Или заказала разговор с районом и, коротая время, листает подшивки старых газет?

— Ты меня о чем-нибудь попроще, Сашок!

Огорченный Мыловаров пошел искать других ценителей.

Линяев нанес визит коллегам из отдела литературы и искусства.

— Линяев, увидел тебя и вспомнил, что забыл в бане мочалку,— сокрушенно сказал заведующий отделом.— Отменная была мочалка.

— Что же между нами общего?

— Сам не знаю. Только увидел тебя и вспомнил мочалку. Ты извини, Юрий Степанович.

Заведующий смотрел виновато.

— Извиняю. Если повторится, подброшу цикл стихов «Родная моя, Золотая Орда». Намаешься с ответами.

Линяев сел на его стол и взял пачку писем.

— Сплошные стихи. Не успеваю отвечать,— пожаловался заведующий.

— И я когда-то писал стихи,— сказал Линяев.— Но вовремя сообразил, что бездарен. Когда сжег стихи — их у меня накопилось два чемодана,— некая мудрая женщина воскликнула: «Наконец-то поумнел!» Очень важно вовремя понять, что ты бездарен.

Заведующий потупил глаза. Он до сих пор писал стихи к торжественным датам и публиковал в газете под девичьей фамилией жены. И с этим он ничего не мог поделать. Это было сильнее его.

Линяев прислушался. Внизу, прямо под ним, отдел сельского хозяйства. Но оттуда ничего не слышно.

Следующим на очереди был секретариат. Там он просидел почти сорок минут, слушая приключения командированных.

— «Ну,— думаю,— пропал,— рассказывал только что вернувшийся из поездки корреспондент,— укатит мой Багаевский в столицу, и читай тогда о нем в московских газетах да кусай локти». Волосы рву на голове. Упустил, сукин сын! И ни одной машины. Как назло, все в разгоне. На весь хутор единственная техника — моя собственная механическая бритва «Спутник». Бегаю по хутору и волком вою. Тут подходит один парень. «Жалко мне,— говорит,— вас, дяденька, до слез. Так и быть: берите мой мотоцикл и дуйте туда и обратно. Авось застанете этого Багаевского». Мчимся к его двору. Выводит он своего красавца с коляской. Я сгоряча за руль. Он в это время для скорости дела сам заводит машину и говорит: «Езжайте». И подталкивает. Едва успел схватить руль, как понесло меня по дороге. И тут я вспомнил, что водить-то мотоцикл не умею. Мать честная, как же быть? Решил: как-нибудь доберусь до Лесной, а там видно будет. Лишь бы не сверзиться по дороге. Лечу, ветер в ушах свистит. Благо, шоссе почти прямое. Не-

сусь! Шоферы встречных машин кажут кулаки и сворачивают в кювет. Что-то я не так делаю. Погнался было за мной автоинспектор, да отстал.

Ворвался в Лесную как вихрь. Гуси и куры в стороны. Крики. Визг. Мелькают хаты и деревья. Сворачиваю к исполкому. На крыльце стоит знакомый агроном. «Кати сюда!»— машет. «Не могу остановиться!»— кричу. И мимо.

Обогнул по улицам и опять несусь мимо исполкома. «Багаевский здесь?»— спрашиваю. «Здесь!— отвечает.— Слезай!»

«Не умею!— объясняю во время второго захода.— Позови Багаевского!»

На третьем заходе вижу Багаевского. Узнал его по фотографиям. Агроном тычет в мою сторону и объясняет Багаевскому ситуацию. «Что вам нужно?»— интересуется тот у меня. «Интервью!»— отвечаю и скрываюсь за углом. «Скорее бы кончился бензин»,— думаю.

Начинаю четвертый круг. Вот и Багаевский. «Я занят!»— кричит и показывает на часы. «Я долго не задержу!»— ору в ответ. За мной бегают мальчишки, свистят. С лаем увязалась на редкость паршивая дворняга. Хоть бы пес какой-нибудь порядочный, а то шелудивая дворняга. Даже обидно. На крыльце исполкома и тротуарах собирается народ.

«Каковы ваши планы?»— задаю вопрос на пятом витке. «Отключайте сцепление!»— советует Багаевский.

«Где оно?»— спрашиваю на шестом и делаю седьмой заход по орбите. Пролетаю в седьмой раз, и мое настроение окончательно падает: Багаевский ушел.

Тут слышу сзади его голос: «Вы не можете потише?» Осторожно оборачиваюсь. Он пытается догнать меня на мотоцикле. «Не могу!» А сам рад. Думаю, догонит он меня — тут я и возьму у него интервью.

Настиг он меня на углу. Но я по привычке сделал такой поворот, что он шарахнулся в сторону. «Жми по прямой! Только по прямой!»— просит вслед.

Поравнялись мы далеко за станцией. Я не теряю времени. «Товарищ Багаевский, все же каковы ваши планы на будущий год?» «Отлично,— думаю,— никто не мешает». Единственное неудобство — записать нельзя. «Какие могут быть планы,— возмущается Багаевский,— если мы разобьемся вдребезги? Давите ногой на эту штуку!»

На шоссе переполох. Опять погнался знакомый авто-

инспектор. Не догнал и схватился за голову. Очевидно, решил, что двоится в глазах.

«Давите!»— командует Багаевский. Я надавил. «Теперь поверните на себя ручку!»

Кажется, остановились. Тишина неописуемая. Только где-то далеко воет сирена. До станции километров тридцать. Хорошо!— не сбежит Багаевский.

«Приступим к делу!» Достаю блокнот и авторучку. На тридцать километров ни одной живой души. Шоферы и те исчезли. Видно, боятся. Но тут подкатывает с воем «Скорая помощь» и выскакивают рослые мужчины в халатах.

«Чем занимаетесь?»— с деланым любопытством спрашивает один из них.

«Беру интервью,— объясняю.— Проезжайте, пожалуйста, себе на здоровье».

«Он берет интервью, а мы должны проезжать себе на здоровье. О своем здоровье он не думает»,— говорит человек в халате своим спутникам.

Тут он наводит на меня палец и приказывает: «Гоните его в кювет и там хватайте!»

«Ничего,— думаю,— бывали и не в таких передрягах. Лишь бы не спугнули Багаевского».

Меня загнали в кювет и там действительно схватили.

«Он в самом деле только брал интервью и более ничего такого предосудительного»,— вступился Багаевский.

«Он брал, а вы давали?»— спрашивают у Багаевского.

«Еще не давал, но уже собирался».

«Вяжите и его!»

Лежим мы в машине спеленатые, как близнецы. «Превосходно,— думаю,— теперь-то Багаевский и подавно никуда не денется». Мысленно потираю руки, Практически я это, к сожалению, сделать не мог. Связаны. Потираю руки и повторяю вопрос:

«Ну-с, какие же у вас планы на будущий год, товарищ Багаевский?»

«Избавиться от вас прежде всего!»— рычит он.

«Чудесно! А дальше что планируете?»

Молчание.

«Товарищ Багаевский!— убеждаю его.— Не будем терять времени. Оно пригодится вам и другим трудящимся».

Уломал я его. Ответил он на все вопросы. Даже по-

обещал повторить некоторые цифры, когда нас доставят, чтобы я занес их в блокнот.

Привезли нас куда следует. И там выяснили, в чем дело. Оказывается, пока я крутился вокруг исполкома, два сердобольных гражданина позвонили в «Скорую помощь». Один уверял, что я свихнувшийся спортсмен, вообразивший себя на треке. По мнению другого, я спятил на спутниках Земли. Ему померещилось, что я кричал: «Бип! Бип!»

— Это все любопытно,— сказал секретарь редакции, выразительно играя полуметровыми ножницами.— Но еще любопытнее, когда вы напишите свой очерк? Осталась одна ночь.

— Я никогда не подводил,— обиделся корреспондент.— Я уже начал. Вот первые строки. «Впервые мы встретились с товарищем Багаевским в уютной светлой лаборатории. Познакомились». Ну и так далее. Да что, вы не знаете, как это делается? Правда, Степаныч?— попросил он поддержки у Линяева.— Кстати, а что ты у нас потерял?

Его вопрос вызвал дружный понимающий смех. Линяев считался своим человеком, когда-то здесь начинал, в отделе культуры, однако на этот раз на него посматривали с любопытством. Словно, что-то знали, однако помалкивали даже несдержанные на язык. Но вот в секретариат вошел заведующий сельхозотделом и, заметив Линяева, простодушно сказал:

— Юра, ты еще немного потерпи. Я скоро ее отпущу. Минут через...

— А я никуда не спешу. Просто заглянул потрепаться. Как они, думаю, там?— перебил Линяев.— Мы даже с Колей договорились. Коля, подтверди!— обратился он к корреспонденту.

— Разве?— удивился Коля.

* * *

В семь он вошел в единственный из отделов, где еще не был,— в сельскохозяйственный.

Алина Васильевна запирала ящики письменного стола. Она одна в комнате. И в пальто. Неужели ушла бы, опоздай он на две минуты.

— Вы пунктуальны. Я почему-то была в этом уверена. И даже собралась.

— Алина Васильевна, что вы делали от шести до семи?

— Заказала разговор с районом и ждала. Листала подшивку старых газет. Вас это интересует?

— Конечно! Теперь я знаю, что делать, когда заказан телефонный разговор. Листать подшивки газет. И обязательно старые.

Почти в подъезде их совсем некстати догнал Мыловаров и наивно предложил:

— Не изобразить ли нам репродукцию картины «Чаепитие в Мытищах»? Жена заварит грузинский чаек. А? Приглашаю!

Линяев в отчаянии следил за губами Алины Васильевны. Нет, она не должна соглашаться!

— Спасибо,— робко сказала Алина Васильевна.— Но мы идем в театр.— И покраснела.

— Пожалеете!— пригрозил так ничего и не понявший Мыловаров.— Вот возьму отпуск на три дня да займусь переделкой печки под газ. Поскучаете без меня!

На улице она растерянно спросила:

— Мы действительно идем в театр?

— Почему бы и нет? В самом деле!

Они поехали в театр троллейбусом. И до самой своей остановки смеялись. Вначале смеялись над собой, вспомнив предложение Мыловарова.

В театре им было тоже смешно.

— Любовь моя! Взгляни на звездочку!— воскликнул на сцене герой.— Это наша с тобой звездочка!

И указал пальцем в правый угол верхнего яруса. Линяев и Алина Васильевна посмотрели туда и прыснули. Там сидел тучный мужчина. Он обливался потом и вытирал лоб и шею платком.

Потом они веселились на улице, когда читали под фонарем спортивную афишу. Афиша предлагала всем отправиться на «первенство области по классической борьбе». Кто-то подписал чернилами: «с бюрократизмом».

Линяев досмеялся до того, что его схватил удушающий кашель. Он оперся рукой об афишную тумбу и долго безостановочно кашлял. Ему было неудобно перед Алиной Васильевной.

Кашель стих. Тогда он изобразил удивление: и какая это животина залетела в горло?

— Я все знаю,— мягко сказала Алина Васильевна.—

Ваши друзья потеряли бдительность, и я все выведала у них. Профессиональная привычка. Если уж заинтересуешься кем-нибудь, так узнаешь о нем все до мелочей. Правда?

— Мыловаров прав. Вы кентавр. Наполовину женщина. Наполовину журналистка. Кочетовка, наверно, до сих пор никак не придет в себя.

— Вы правы.— Алина грустно вздохнула.— До сих пор шлют анонимки. Кто-то видел, что я напивалась по-черному в чайной. Кто-то застал в постели с трактористом, по письму которого я и приехала в колхоз.

— А я-то ломал себе голову: почему меня тянет к вам? Оказывается, мы с вами ягоды одного поля.

И Линяев поведал о телефонном звонке, который организовал кочетовский председатель.

— А я и не знала, что вы еще и лесной разбойник,— ласково сказала Алина.

— Я брошу к вашим ногам свой первый охотничий трофей! Квитанцию об уплате штрафа!

Они долго шли молча. Линяев все еще глухо покашливал. Алина Васильевна потеребила его за рукав.

— Дядястепович, а Дядястепович! Мои соседи высыпали в коридор и на лестницу. Усеяли окна. Ждут, кто придет ко мне в гости. И так будут торчать, пока не добьются своего. Пожалеем соседей?

Линяев остановился. Алина Васильевна привстала на цыпочки и поцеловала его в подбородок.

— Возмутительно! Разве можно быть таким длинным?

— Вы бросьте!— просипел Линяев.— Какой я вам Дядястепович? По сравнению с вами я кажусь себе вот таким.

Он опустил ладонь на метр от земли.

— Тогда вы колючий!

— И не колючий. Это высококачественная шерсть. На международной пушной ярмарке шла вторым номером после шиншиллы.

— Уж и вторым номером?!

— Да, да! Рокфеллер запросил двадцать килограммов жене на шубу.

* * *

Человек из дома, что стоит напротив, как обычно, делал гимнастику. У Линяева сложилось впечатление, что он занимается ею непрерывно с утра до ночи. Когда бы Линяев ни подошел к окну, человек в голубом свитере был на месте. Он размахивал руками, бегал по кругу и выполнял дыхательные упражнения. Потом все повторялось. И так до ночи. Может, и ночью он занимается тем же. Но в темноте не видно.

Линяев тоже несколько раз присел. И задохнулся. Он примостился на подоконнике и смотрел, как человек в свитере бегает по кругу.

Недавно Линяев был на приеме у врача. Доктор не обнаружил заметных изменений. Позиции обеих сторон оставались прежними. Но врач и Линяев знали: затишье временное. Наступала весна — пора кровавых сражений. Линяев был полон решимости выстоять. Но после памятной ночи, когда они пришли к Алине (теперь он звал ее так), он почувствовал сомнение.

Он сознавал, что его отношение к Алине — это та настоящая любовь, в существование которой он не верил все предыдущие годы.

И вот теперь она осенила его своим волшебным жезлом в труднейшую пору жизни. Он внушал всем и себе, что он полноценный человек. Он делал все, что делают полноценные люди. И это спасало его. Ему только не хватало венца всего человеческого — любви. И вот она откликнулась. Пришла.

Ее приход вынуждает его признать себя больным. Она заставит его думать о семье. Когда он будет думать о семье, он будет думать о болезни. Он даст ей право на законное существование.

Тогда ему конец. Любовь выбьет из его рук единственное оружие.

Отказаться от Алины — значит поднять руки, сказать: «Я не пригоден жить». Он попал в западню. Он ищет третье решение и пока не находит. И оттягивает время.

Два последних дня он избегает Алину. Позавчера солгал ей, что у него срочная работа.

А человек в свитере делал гимнастику. Он вытянул перед собой руки и поочередно подбрасывал к ним ноги.

Человек, несомненно, заряжал себя на двести лет жизни.

Линяев тоже вытянул руки и подбросил к ним правую ногу. Затем левую. Это упражнение выходило лучше.

Он вытянул руки в стороны и трижды согнул, напрягая бицепсы. Физические занятия рукам по душе. Они большие охотники до работы. А дать им баскетбольный мяч, так они совсем сомлеют от восторга. Но если сказать «сдаюсь» и попробовать поднять их — они не поднимутся, скорее отсохнут.

Линяев надел пальто и, стараясь не сбавлять спортивный темп, пошел в столовую.

У человека в свитере, должно быть, зверский аппетит. «Допустим, что и у меня аппетит слона»,— подумал Линяев. Он набрал тьму разных блюд. Но в слоны Линяев не годился. Он изнывал над первой тарелкой.

«Ну-ка, навалимся,— подзуживал он себя.— Вспомним бесхитростный опыт детства. Первую ложку — за директора студии. Вторую — за главного редактора. Третью — за главного режиссера. Ай-яй-яй! Забыли председателя комитета радио и телевидения. За него, так и быть,— две ложки».

Из столовой — на трамвай. Бодрее. Сегодня нужно быть бодрее, чем когда-либо. Сегодня мучительный день. Ведь он не знает, что ему делать с Алиной.

Трамвай, допотопное чудище, с лязгом и грохотом пополз к студии. Линяев продрался сквозь толщу пассажиров в угол площадки. Здесь ему обрадовались.

— Добренькое утро!

С ним приветливо раскланялся розовый толстяк. Профессия сталкивает Линяева с сотнями людей. Он не в силах удержать в памяти каждого. Этот, очевидно, из их числа.

— Здравствуйте,— ответил Линяев.

— Не узнаете,— догадался толстяк.— А ведь я Обозников.

Обозникова он помнит. У него он был вместе с Мыловаровым, когда тот готовил о нем фельетон. Обозников дико пьянствовал, наводя ужас на соседей. Опасаясь драки, Мыловаров позвал с собой Линяева. Тогда в прихожую к ним вышел лохматый человек в распущенной рубахе и со стаканом водки в руках. Он выпил

водку и понюхал ингафен — словом, ту штуку, что нюхают от гриппа.

— Вы очень изменились,— заметил Линяев.

— Еще бы! После фельетона я раскинул головой и, представьте, нашел выход. Я перешел на воображаемые напитки. Это очень просто и безвредно для людей. Не понятно? Сейчас покажу. Только для вас. Ведь сейчас рабочий день. Я пью коньяк. Итак!

Обозников опрокинул в рот воображаемую рюмку и досадливо крякнул:

— Жестковат! Видать, дагестанский. А вчера я отведал пятьдесят граммов медального «Двина». Это, доложу вам, нектар. А вообще человеческое воображение не имеет границ...

Обозников собирался развить свою мысль глубже, но Линяев должен был выходить.

— Э-э, может, налить?— спохватился Обозников.

В коридоре Линяева перехватил редактор выпуска и предупредил:

— Петров заболел гриппом. Вечером дежуришь вместо него.

Линяев вздохнул облегченно. Сегодня нет надобности лгать Алине. Редактор выпуска даровал ему еще один день на раздумье.

В редакции ждал Чернин. На его физиономии было написано все. Линяеву не хотелось верить.

— Не может быть?

— Да,— сказал Чернин.— К сожалению, да.

— Валится передача?

— Киноочерк о книголюбах. Позарез нужны досъемки в станице. Без машины не успеем.

Раздобыть транспорт для внеочередной съемки, когда машины уже распределены,— неосуществимая мечта. Можно вспорхнуть в космос и вернуться живым. Но выдрать у главного администратора машину вне графика — это пока еще фантастика. Удел жюльвернов.

— Так и есть!

Чернин кивнул на стенку соседней редакции. Там медный бас главного администратора давал исчерпывающую справку:

— Машины в разъезде. Все до единой. Амба!

Сосед-редактор — сентиментальный мечтатель.

— А новая «Волга» в гараже?! О ней забыли!— воскликнул он счастливым голосом открывателя.

Награды за находку не последовало.

— Знаю,— спокойно произнес администратор.— Одна машина нужна на всякий случай. Вдруг всемирный потоп все-таки состоится или еще что, а студия без машины? Я должен за всех думать?

— Попробуем,— сказал Линяев.— У каждого хорошего человека есть слабости.

Он написал заявление:

«Главному администратору Большой
Государственной областной студии телевидения
товарищу Герасиму Ивановичу Быкову
от старшего редактора Линяева.

Заявление

Только Вы один можете спасти передачу, имеющую важное областное значение и т. д.».

В заключение Линяев скромно попросил машину и подписался. Затем поставил роспись Чернин. Линяев вышел с заявлением в коридор. Остановил бежавшего музыкального редактора.

— Подпиши.

Потом прошелся по всем редакциям и цехам. Администратору принес заявление с двадцатью подписями. Среди подписавшихся был и пожарник. Положил перед Быковым и застенчиво потупил глаза.

— Ох, и подхалимы! Экие подхалимы! Юрий Степанович, от вас такой липы не ожидал!— заворчал администратор.— Вы меня считаете за маленького? Что с вами делать? Передать это сочинение директору? Ну? Ну ладно, берите «Волгу».

— А если потоп? Или что-нибудь еще?

— Сообразим. Голова-то есть на плечах.

— Светлая голова!

— Юрий Степанович, обижусь!

Машину подали к центральному подъезду. Оставалось пройти через неизбежный ритуал предотъездовской неразберихи. Как и полагалось, все искали друг друга. Все куда-то вдруг запропастились разом. Даже неразлучные осветители Орел и Решка оказались на различных этажах.

Линяев бегал за Черниным. Чернин за Линяевым. Оба жаждали оговорить кое-какие изменения в сценарии. Ритуал подходил к концу. Съемочная группа в полном составе влезла в машину. Линяев произнес

со ступенек напутственную речь. Постановочники помахали ему беретами. Но машина не шелохнулась. За пять минут до этого заскучавший шофер Вася куда-то ушел.

Каждый из отъезжающих выказал желание сходить за шофером. Ритуал грозил принять форму нескончаемого кругообращения. Поэтому на поиски отправился Линяев. Он обнаружил искомое в просмотровом зале. Вася, раскрыв рот, смотрел детские мультфильмы. Линяев вытянул его за рукав.

После проводов началось великое звонение.

Первым позвонил редактор выпуска.

— Завтра твоя передача об Элюаре. Не сорвешь?

— Окстись! Отшлифована до блеска. Ведущая на «ять», пальчики оближешь!

— Кто такая?

— Новая звезда драмтеатра! Народная артистка Удмуртской АССР или еще что-то в этом роде.

Запершило в горле. Линяев едва успел прокашляться.

Второй звонила Алина.

— Линяев?— спросила она.

Он уловил в трубке ее легкое дыхание и заволновался.

— Я!

— Все в порядке, милый?

— Что ты имеешь в виду?

— Твое особое ответственное задание.

— Ах да! В порядке, спасибо!

— Вечером жду.

— Вечером я дежурю. Заболел Петров. Я дежурю вместо него.

— Досадно...

— Алина!..

— Что ты сказал? Повтори! Я слышала только имя.

Он молчал. Ему достаточно было произнести ее имя.

— Повтори, что ты еще сказал?

Он произнес ее имя, и оно включало в себя больше смысла, чем сотни слов. После него не стоило открывать рот. Все, что бы он ни произнес дальше, было бы бледным и никчемным. Пусть она поймет это.

Алина вздохнула.

— А завтра занята я. Опять выезд.

Тоже день отсрочки!

— Позвони послезавтра. Целую!

— Ты говоришь из автомата?

Он беспокоился за нее. Он еще ничего не решил и поэтому берег ее репутацию.

Алина хмыкнула.

— Я выгнала заведующего. Он бродит за дверью. Но я могу повторить и при нем. Хочешь?

— Пока нет. Целую!

Он не мог уйти от мыслей. Страус и тот приспособлен лучше. Он бы засунул голову в ящик письменного стола или хотя бы в корзину для мусора, и продержался бы какое-то время на иллюзиях. Ему — человеку — нужно решать.

Снова зазвонил телефон. Линяев снял трубку. В трубке кто-то квакал.

— Вы лягушка?

Опять кваканье. «Разыгрывают ребята»,— усмехнулся Линяев.

— Заколдованная царевна набивается в дикторы? Ну-ну, поквакайте. Бородавки у вас в наличии? Без бородавок не берем. Имейте в виду.

Кря-кря! Стук. И мужской голос:

— Я супруг Изабеллы Филипповны. Она только что говорила с вами.

Линяев вспотел. Изабелла Филипповна — народная артистка и ведущая в передаче об Элюаре. Та самая, что на «ять».

— Извините!

— Нет, нет! Это вы ее извините. Она не придет на передачу. Она простудила горло. Как вы сами поняли... вернее, не поняли...

— Вы с ума сошли!— возмутился Линяев.— Передача объявлена на завтра! Что же делать прикажете?

— Приказываю отнестись стоически. Жизнь полна казусов,— философски заметил супруг Изабеллы Филипповны и положил трубку.

Линяев в бессильном гневе смотрел на телефон. В черной сверкающей поверхности вытянулось и перекосилось его лицо. Такую традиционную форму принимает физиономия каждого редактора, когда срывается его передача.

Случаи срыва передач наблюдались в каждой редакции. Есть причины, с которыми ничего не поделаешь. Поахает начальство и заменит передачу. Любой редактор сейчас бы пошел к директору: «Так и

так, причины объективные». Любой редактор, но только не он. О нем тогда кто-нибудь скажет в курилке, выпуская клубы дыма:

— Сдает наш Юрий Степанович, сдает бедолага!

Там же, в курилке, найдется и защита. Но фраза уже будет произнесена. Она зачеркнет его усилия быть, как все. Право считать себя здоровым ему дается труднее, чем другим.

Поэтому он должен спасти передачу. Он найдет актрису, которая выучит текст за оставшуюся ночь.

Линяев прогрохотал вместе с трамваем до центра. На каждой остановке трамвай распускал нижнюю губу и шипел отдуваясь. «Но-но, голубчик,— мысленно подбадривал его Линяев,— но-но, допотопное страшилище!» На поворотах трамвай натужно визжал, вытаскивая громоздкое, неуклюжее тело.

В театр он угодил в разгар репетиции. Актеры его знали давно. Его жена была актрисой этого театра. Сам он в бытность студентом подрабатывал здесь же в качестве рабочего сцены.

— Шагает телевизионная башня! Ишь, переставляет свои металлические конструкции!— возвестили в крайней гримерной.

У входа на сцену он поймал первую героиню театра. Она пробовала грим — ее лицо блестело от вазелина. Он цепко держал ее за локоть и объяснял суть дела.

— Юрий Степанович, голубчик, у меня новая ответственная роль,— отбивалась первая героиня.

— В чем задержка?— гаркнули из темного зала.

Линяев отпустил ее локоть. Героиня вылетела на сцену с воплем: «Я согласна на все!» Увы, это относилось не к нему.

Ему не везло. Вторая героиня занята в завтрашнем спектакле. У третьей — день рождения.

Линяев слонялся по театру, словно барс, высматривающий добычу.

Прыжок!.. Впустую! Пятая актриса обижена на телевидение. За что? Она оскорблена вдвойне: телевидение даже не знает за что?!

Жалобное урчание... Еще прыжок!.. Шестая взялась вести драматический кружок в педагогическом училище. Завтра первая репетиция.

Педагогическое училище! Что-то необычное записано у него в блокноте насчет этого училища. Посмот-

рим. Вот запись: «Оля Синеглазова. Молодец. Прическа. Любовь к искусству».

Оля Синеглазова. А глаза-то у нее черные. Продолговатые. Умоляющие. И, знаете, требовательные.

Он и Чернин тогда заявились в училище на спектакль драматического кружка. Кто-то позвонил Линяеву, что спектакль получился недурно, и вот они заявились. Им нужен был добротный самодеятельный спектакль, такой, чтобы не грех было показать по телевидению.

Когда они раздевались в кабинете завуча, им поведали забавную историю о том, как учащаяся Ольга Синеглазова постриглась, чтобы сыграть мальчишку. У нее была роскошная модная прическа, а теперь — куцый ежик.

На спектакле они затосковали. На фоне декорации маячили беспомощные манекены и затвердевшими голосами декламировали текст пьесы. И только когда на сцену врывался вихрь в обличии черноглазого стриженого подростка, сердце Линяева немного отходило.

Подросток тормошил партнеров. Его тоненькая изящная фигурка носилась по сцене, призывая товарищей к дерзновению. Его жесты кричали: «Ну, что же вы? Ведь это искусство!» И товарищи пытались что-то делать.

После спектакля Линяев, стараясь не смотреть на лица, сказал, что пока они ничего не обещают. Он и Чернин еще посоветуются.

Их поняли правильно. Члены кружка понуро толпились за спиной директора училища. Директор обескураженно сунул руку на прощание. Он тоже отводил глаза. Ему было стыдно за то, что он и его ребята претендовали на нечто серьезное, отняв драгоценное время у представителей многоуважаемого учреждения. А Линяев и Чернин испытывали чувство невольной вины за то, что заставили краснеть этих в общем-то хороших людей.

Так они неловко топтались друг перед другом. С одной стороны представители телевидения, с другой — директор училища.

— Ну, всего хорошего,— сказал наконец Линяев и протянул руку директору. Тот пожал ее.

Они пошли по коридору к выходу. И тут Линяев почувствовал на себе взгляд. Особый взгляд, на ко-

торый нужно обязательно обернуться. Он словно крик, протяжный и призывный.

Линяев обернулся. Увидел ежик и черные продолговатые глаза. Умоляющие и требовательные. Следовало бы подойти подбодрить. Но около Оли стояли другие, и Линяев смог только записать ее фамилию.

Теперь Оля Синеглазова поможет ему. Если захочет, она сделает все. Ей бы загореться этим. Он верил в ее характер.

Отсюда же, из театра, Линяев позвонил директору училища. Тот пообещал Синеглазову прислать, хотя и разговаривал с ним без особого энтузиазма.

— Синеглазова способный человек, как вы думаете?— спросил Линяев.

Он не колебался в своем выборе. Он просто ждал одобрения.

— Посмотрите сами,— уклонился директор.— Мы-то считаем ее талантливой девушкой.

Линяев вернулся на студию. Он устал и, перекусив мимоходом в буфете, поднялся прямо в редакцию. Его слегка знобило. Это означало, что температура поползла вверх.

Художественная редакция снискала репутацию студийного клуба. Сюда сходились после утомительных репетиций. Здесь можно поболтать о том, о сем и услышать от Линяева свежий анекдот. Здесь, в «комнате смеха», нередко отсиживался сам директор студии, получив нахлобучку «сверху». Сидел, пока не восстановится настроение.

Оля прошла через «долину самоанализа» и постучалась в редакцию. Линяев рассказывал очередной анекдот и не слышал.

— Юрий Степанович, к вам!— окликнул его Алик Березовский.

В дверях стояла Оля. Вместо ершистого подростка с порога вопросительно смотрела нежная девушка в шапочке, похожей на фригийский колпак, и коротком мохнатом пальто.

— Вы сама Марианна?— благоговейно осведомился Линяев, имея в виду фригийский колпак.

— Я всего-навсего Оля... Синеглазова.

На ее шапочке и в космах пальто сверкали капли растаявшего снега. Она нервничала. Ей многое пришлось обдумать, прежде чем решиться прийти сюда.

— Алик, поухаживай!— приказал Линяев.

Алик и без того крутился возле Оли. Фригийская шапочка и пальто мигом взлетели на вешалку.

— Рабочий день продолжается,— намекнул Линяев присутствующим.

Присутствующие (все мужского пола) и не моргнули. Будто не поняли; к кому это относится столь тонкий намек.

— Прошу,— Линяев указал на мягкое кресло.

Оля ступила на ковровую дорожку. Шла она, смущенно опустив глаза. В черной кофточке. В широкой юбке.

Подошла. Приподняла кончиками пальцев юбку. Села.

Мужчины поспешно отвели глаза. Они в смятении! Будто угодили в детский сад — в мир чистоты и непорочности.

«Алина в юности непременно была такой же. Только с зеленоватыми глазами, а ходила точно так же. И садилась точно так»,— убежденно решил Линяев.

— Ну?!— угрожающе повторил он мужчинам.

Те, оглядываясь на Олю и наступая друг другу на ноги, попятились к двери.

— Оля Синеглазова,— с наслаждением произнес Линяев и записал это на белом листе бумаги. Про себя добавил: «И Алина».

Он выложил перед Олей текст и рассказал, что потребуется от нее. Она испугалась и затрясла головой: «Нет! Нет! Нет!» Но он говорил горячо. Он верил в нее. Он чувствовал — в этой хрупкой девушке таится великая страсть. Она делает человека одержимым. Одержимые способны творить чудеса.

Нормальные люди — это тоже прекрасно. Но они потому и нормальные, что воспринимают установившиеся порядки и законы как должное. Давным-давно они стоически мерзли в пещерах и рвали зубами сырое мясо — и это могло продолжаться тысячелетиями. Но кто-то из одержимых выхватил из пламени пожара горящую головешку и зажег ею ворох сучьев. В пещерах запылали костры.

Зимой и осенью выл ветер. Нормальные люди слышали один его вой. Это они, одержимые, уловили в движениях воздуха первые такты музыки. А в обычном говоре соплеменников — стихотворный размер.

С тех пор они, одержимые, вертят земной шар во-

круг оси. Они первыми выстроили баррикады и первыми гибли на них. Наше счастье, что их немало, этих одержимых!

— Хорошо, я попробую,— начала поддаваться Оля.

— Не «попробую». «Я сделаю!»— это нужно сказать. Очень нужно!

— Хорошо. Я сделаю!

* * *

Утром появился Чернин. Наглаженный. Принявший после поездки душ. Чуточку оглохший от шума электробритвы.

— Вообрази, что я стопушечный фрегат,— сказал он.

— Вообразил.

— Приветствую тебя из всех орудий. Двадцать один залп! Салют наций!

— Дым рассеялся. Можно приступить к делу?

— Валяй,— разрешил Чернин тоном человека, жизнь у которого впереди светла и безоблачна.

«Сейчас я тебя ошарашу»,— ухмыльнулся Линяев и сообщил о замене. Чернин схватился за голову.

— Вместо профессионала художественная самодеятельность? Ты понимаешь, какую кашу ты заварил?! В пять часов единственная репетиция и в семь выход в эфир! А, она появится раньше? Но ты подумал над тем, как ввести ее в передачу? Все остальные участники будут только в пять! Зачем лезешь не в свои обязанности? Я подбираю ведущих! Я!

Линяев выслушал, как пишут в газетных отчетах, с глубоким вниманием. Сказал спокойно:

— Не порть прическу. Во-первых, тебя не было, и я оказал услугу, нашел новую ведущую. Иначе тебе пришлось бы искать ее сегодня утром, а вечером выпускать в передачу. Во-вторых, плохой передачи у нас не будет. Если выпустим хлам, напишем заявление об уходе. В-третьих, через час в твои руки поступит человек, который не остановится ни перед чем. Он сделает все, чтобы получилось.

— Без ножа, что называется. Злоупотребляешь моим слабоволием,— уныло пробормотал Чернин.— И вообще странно. По идее тебя должна загрызть совесть. А ты сидишь как ни в чем не бывало.

Потом Линяев бегал в дикторскую комнату. Там Чернин занимался с Олей. Они сидели за гримерным столиком. Оля — спиной к выходу. Чернин — вполобо-

рота. Линяев вопрошал взглядом: «Ну как?» Чернин не замечал его намеренно. Мстил. Однажды рявкнул:

— Посторонние, освободите помещение!

Оля повернула голову и напряженно усмехнулась. Линяев ободряюще потряс кулаком: «Держись, дружище!» Почему-то теперь было не важно — пройдет передача или ее снимут. Главное, чтобы Оля оказалась такой, какой он хотел ее видеть.

Каждый раз, когда при нем произносили ее имя, он добавлял: «И Алина».

Что так близко связывало этих незнакомых друг другу людей в его сознании? Может, то, что будь молодым, он полюбил бы Олю. В зрелом возрасте он любит Алину. Оля — это его молодая Алина. Когда он видит Олю — он видит юную Алину. Он познакомит их обязательно. Но стоит ли сводить их? Две половины жизни не сходятся. Они следуют друг за другом. И сам он навечно принадлежит второй.

Чернин устроил перерыв и заявился в редакцию.

— В этой девке есть божья искра,— небрежно промямлил он, разваливаясь в кресле.— Конечно, нет умения. Культуры профессиональной. Опыта там и прочего. Дали бы мне ее годика на три: Я бы вылепил из нее вторую Коонен. Но что можно сделать за один день? Даже Станиславский...

— И Немирович-Данченко? Это хочешь сказать? Эх ты, скульптор!— радостно оборвал Линяев.— Сам-то ты ярмарочный паяц. А кто из тебя вылепит хотя бы порядочного телевизионного режиссера? Местком не возьмется! Не будет пачкать руки. Брось притворяться! Получается у нее?

— Посмотрим. Впереди трактовая репетиция. Ну... и передача.

Чернин сиял. Казалось, вот-вот лопнет от избытка самодовольства. А впереди — передача. Кто поведет ее, если он лопнет? Тогда передача будет сорвана наверняка. И на сей раз по неуважительной причине.

— Где Оля?— спохватился вдруг Линяев.

— Мм! Там у нее набрался добрый десяток экскурсоводов. Они уже морочат ей голову. Таскают по студии. Но студию она не увидит. Ручаюсь. Парни-то рослые. Обступили ее. Загородили свет белый, не то что студию. Отправляюсь на помощь.

На трактовой репетиции Линяев сидел за пультом и смотрел сквозь стекло в залитую светом студию.

В студии смонтирована выгородка комнаты. Ее единственное окно занавешено тяжелой портьерой. Это подпольный штаб Сопротивления. Чуть сдвинув портьеру, Оля тревожно всматривается в напряженную тьму. За окном борется свободная Франция — Марианна в алом фригийском колпаке. Дребезжат стекла от взрыва. Близко лают автоматные очереди. Воют сирены гестаповских машин. Оля с надеждой приникает к окну. Она читает стихи французского коммуниста Поля Элюара.

Он здесь один, с ним друга нет,
Но миллионы отомстят
За смерть его.
Он это знал.
Ему рассвет принадлежал.

Молодчина, Оля! Ты — юная Франция! Ты — моя юная Алина! Ты должна остаться вечной. Я обрекаю тебя на вечность.

— Володя, дай крупный план,— сказал Чернин в микрофон.

— С удовольствием!— прошелестел в мембране голос оператора.

Ассистент переключил кнопки. На левом мониторе пульта выплыло страстное лицо Оли. Оно заполнило весь экран.

Чернин подмигнул Линяеву.

— До классики далеко, но я доволен. Не придется писать заявление об уходе. Мне нравится здесь. К тому же мы с тобой, хоть и барахло, но вполне приличное.

Оля читает стихи. А где-то в степи, ругаясь с шоферами попутных машин, носится ее следующий этап в жизни — Алина. Она вернется завтра утром. Днем будет отсыпаться. Вечером он позвонит ей. Сомнения испарились. Улетучились. Разве его любовь не лучшее доказательство того, что он способен жить?

На передаче Оля держалась свободно. Потом диктор сообщил: «Передачу вела учащаяся педагогического училища Ольга Синеглазова». Из студии выходили всей постановочной группой. Линяев шагал в центре, вырисовываясь на фоне звездного неба, как ее ось, и безудержно смешил. Все вместе погрузились в трамвай. Когда Оля сошла на своей остановке, за ней ринулась молодежь.

Очутившись в одиночестве, Линяев вспомнил о темпе-

ратуре. Тело горело. Впрочем, и температура — это знак того, что он живет, подумал Линяев, пробираясь в темноте по гололедице.

* * *

Мыловаров «пригрозил» взять трехдневный отпуск и заняться переделкой печи под газ.

Он выслушал у соседей цикл историй о переделке печей, заглавные роли в которых играли «Горгаз», домоуправы и просто домовые. Познакомив Мыловарова с теорией, соседи рекомендовали дожидаться тепла.

— Ничего, мы с женой — народ бывалый,— задорно ответил фельетонист.

Затем он отнес заявление в трубо-печной отряд. В квартире Мыловарова появился печник. Он равнодушно глянул на печь и спросил:

— Печь-то как будете класть? По заявлению? Или частным путем?

Вопрос встревожил Мыловарова.

— Частным,— сказал он, будто кто толкнул его в омут.

Печник встрепенулся. Задрав голову, осмотрел печь. Обошел квартиру, изрекая непонятные термины. Предложил Мыловарову слазить на крышу. Мыловаров увильнул, сославшись на поясницу. Печник громыхал по крыше, как Илья-пророк. Опустившись на землю, промолвил:

— Пять бумаг за труды.

Он начал пространно объяснять, какие нечеловеческие муки примет на себя, берясь за их печь. Мыловаровы смотрели на его морщинистую физиономию, на его красные глаза и испытывали угрызения совести.

— Если бы у вас было...— он хлопнул по стенке ладонью, похожей на толстую лепешку глины, и завернул густое месиво из печных терминов.— А у вас...— он цокнул языком и завернул новое месиво.

Мыловаровы не понимали, но все же чувствовали себя преступниками.

— Пять бумаг так пять бумаг,— поспешно согласился Мыловаров.

Пять бумаг в переводе на валюту порядочных людей эквивалентны пятидесяти честно заработанным рублям. Фельетонист Мыльский это знал.

— Уж очень хочется переложить вам печку,— добро-

душно проворчал печник.— А то бы не согласился ни в жизнь.

Уходя, он оставил ряд указаний. Прежде всего Мыловаров должен привезти песок, глину и семьсот кирпичей. Песок и глину доставила домоуправленческая телега. Кирпич предстояло добывать самому. Вот тут и начались испытания фельетониста.

Прежде всего встал вопрос: имеет ли Мыловаров право на кирпичи? Решить его мог только исполком. Мыловаров, продлив отпуск, бегал-собирал документы. После этого исполком постановил: имеет,— и выдал разрешение. На строительном складе с фельетониста взяли плату за тысячу кирпичей. Кирпич отпускается только потысячно.

Мыловаров закусил удила и с оплаченной квитанцией бодро двинул на кирпичный завод. На заводском дворе его пыл охладили — поставили на очередь. Частники изнывали здесь неделями.

Мыловаров приходил ежедневно, устраивался на старом ящике и ждал. Частники, что побойчей, сновали вокруг кладовщика. Одного из них Мыловаров видел где-то раньше. И тот нет-нет да и поглядывал на фельетониста. «Где я его видел?— ломал себе голову Мыловаров.— На каком заводе? В каком управлении? Может, в типографии?»

Тот не выдержал. Первым помахал рукой.

— Приветствую! И вы занялись этим?

— Пришлось!— тяжело вздохнул Мыловаров.

И вспомнил. Три года тому назад он нацелился на этого человека. Готовил фельетон. Материал собрал, а написать не успел. Того упекли в тюрьму. За что? Ах, да, за спекуляцию домами. Он строил дома и продавал их. Мыловарову стало не по себе.

— По идее у вас богатый опыт,— сказал спекулянт.— Вы его, так сказать, коллекционировали. Собирали у лучших, у самых, так сказать.

Когда подошла очередь Мыловарова, кладовщик привел его к груде кирпичей.

— Забирайте!

Мыловаров поставил ногу на выстраданный кирпич.

— А машину?

— У нас машин нет. Не располагаем.

— Тащить на горбу?

— Это как вам нравится. Хотите — тащите. Хотите — не тащите.

— Не хочу! Не нравится на горбу!

— Договаривайтесь с шоферами.

Кладовщик кивнул в сторону ворот, где сбились в стадо ведомственные и колхозные грузовики. Шоферы, высунувшись из кабин, опытным оком высматривали добычу, что пожирней. Дирекция завода щедро кинула частников на растерзание рвачам.

Мыловаров превратился в кролика. Он встретился глазами с черномазым шофером самосвала и невольно пошел на него. Губы черномазого шевелились. Мыловарову почудилось: «Иди ко мне, лапочка! Иди сюда! Ну, ну, котик!»

Мыловаров сказал, в чем дело, назвал свой адрес.

— Не-е,— протянул шофер.— Я не могу. Экспедитор намылит шею. Разве что рискнуть, если подкинете восьмерочку?

Мыловаров понял, что нужно торговаться.

— Семерочку!

— Обижаешь, начальник. Твоей мамаше возил за восьмерочку. А ты семерочку! Нехорошо обижать Сеню, начальник.

— Нет у меня мамаши. С кем-то путаете.

— За дурачка считаете, да? Возил мамаше! Она рядом с тобой живет!

— Пусть восьмерочка,— едва не всхлипнул Мыловаров от обиды.

— Так бы и давно. Только грузить я не буду. Не ишак. Найми ребят. Вона целая артель.

С артелью Мыловаров уже не торговался. Отдал, что запросили.

— Даже неинтересно!— сплюнул один из грузчиков.— Взяли голыми руками. Без романтики!

Мыловаров молча залез в кабину. Привез кирпич, перетаскал его в сарай и напился.

Пьет он уже второй день. Давится, но пьет.

Жена Мыловарова позвонила Линяеву.

— Вы умница. Вы что-нибудь придумаете. Он вас уважает и боится. Приезжайте.

И Линяев приехал.

Нечесаный Мыловаров сосал из бутылки вермут. На столе высилась добрая батарея бутылок. Раньше Мыловаров не пил вермут и в худшие времена.

— Пришли?— осведомился он у Линяева.

— По какому случаю пьянка?

— Я приглашаю вас на похороны журналиста Мыльского. Хлебайте!

Он широко повел рукой и сбил на пол бутылку. Из горлышка забулькала темно-желтая жидкость. Жена испуганно смотрела из прихожей.

Линяев поднял бутылку.

— Тебе кланялся Обозников. Он, между прочим, бросил пить.

— Мерси! Выпей!

— Обозников бросил пить — от Мыловарова несет, как из пивной бочки.

— Сильвуплевал я на это! Я ассенизатор! Где ты видел ассенизатора, чтоб от него не пахло?

Он шумно втянул воздух носом.

— Я стараюсь, кропаю фельетоны,— жалобно сказал Мыловаров.— А меня самого обжулили. Содрали восемь рублей! А потом вытянуть пятьдесят!

— Ты жи́док!

— Жи́док для романтики? Романтика,— Мыловаров с отвращением поморщился.— Романтика — лезть во всякую кашу. Выбираться из нее и, отряхнувшись, вдохнув побольше воздуха, кидаться в другую кашу. Это мы говорим р-роман-тика! А мне надо было в конферансье. У меня с пеленок был талант конферансье. Когда я орал «уа», всех восхищала моя дикция. На сцене нестрашно. Все в зале и все в чистых костюмчиках. И аплодируют.

— Ты не имел права быть фельетонистом,— спокойно сказал Линяев.— Ты жи́док! А для этого необходимо мужество. Ты еще долго держался. Удивляюсь. Без скафандра. Одна человеческая кожа прикрывала тебя. И вера в человека. Твое прикрытие не выдержало, и тебя раздавило. Так всегда. Если потерял веру в людей, считай себя погибшим. Зови друзей на похороны. А мы по дружбе, свой же брат, сварганим информашку. Дескать, состоялись похороны журналиста Мыльского. Присутствующие тепло встретили виновника торжества.

— Ты врешь! Это ты мертвый! Ты давно мертвый! Зачем ты ходишь среди живых? Цыц! Тебя целый год ждут черви.

— Черви тоже бывают мертвыми. Они потерпят.

«А я все-таки живой,— радостно подумал Линяев.— А вечером ко мне придет Алина. К живому, полному сил мужчине».

— О чем я говорил?— встрепенулся Мыловаров.— Я забыл.

Он еле держался на стуле. Линяев подал Мыловаровой знак. Они взяли фельетониста под мышки и поволокли на кровать.

«Я живой и тащу тебя на кровать, как слабого ребенка,— гордо подумал Линяев.— А черви пусть занимаются другим делом. Рыхлят почву, например. Земля-мать. Она принимает лишь семена жизни. Мы будем сеять в нее только жизнь».

Мыловаров забеспокоился. Рука его пошарила в воздухе и обняла Линяева за шею.

* * *

Утром он позвонил Линяеву на студию и, охая и сипя, страдальчески покаялся:

— Старина, если можешь, прости. Я, кажется, вчера наговорил много лишнего.

— Прощаю, но в последний раз,— строго предупредил Линяев.

— Я верил в твое милосердие. Но только не говори Алине. Она так боялась, что я проболтаюсь тебе. Теперь узнает, убьет! Не убьет, конечно, а презирать будет.— Мыловаров взвыл от головной боли.

— И что она так тщательно скрывает? Именно от меня?— осведомился Линяев, как бы между прочим.

— А-а... Значит я ее не продал?... Да ничего особенного. И вообще, ты не так меня понял,— заныл Мыловаров.

— Ну, ну, выкладывай,— жестко потребовал Линяев.— Считаю до трех. И после сам расспрошу Алину. А этого она тебе тем более не простит.

— Линяев! Дружище! Я пошутил!— жалко запищал Мыловаров.

— Раз!..

— Ну ваш роман вызвал у нас у некоторых... слухи, сплетни. Его называют связью. И даже адюльтером. Она, кажется, до сих пор не оформила развод. А по сему сам знаешь: «честь газеты», «репутация журналиста должна быть чище солнца, а сам он святее папы... римского, конечно. Все это шепчется пока по углам, но кому приятно?.. Ну, теперь-то меня не выдашь?— с трепетом спросил Мыловаров.— С другой стороны я вроде бы предупредил, как друг. Поэтому смотри, меня не подведи,— сварливо потребовал этот бесстыдник.

— Постараюсь,— нехотя пообещал Линяев.

* * *

К Линяеву зашел редактор музыкальных передач Ложкин. Зашел молча, без обычного крика. От него исходила непривычная тишь и усталое спокойствие. Видно, он только что скинул с плеч занозистую передачу. Ложкин рассеянно посмотрел в окно. Затем его взгляд остановился на Линяеве. В черных затуманившихся негой глазах Ложкина мелькнуло желание что-нибудь сказать. Линяев с любопытством ждал.

— Хочешь, достану тебе холодильник?— вдруг предложил Ложкин.

Но Линяев был начеку. Он знал, что стоит обещание Ложкина. Ложкин еще год назад посулил достать паркеровскую авторучку, механическую бритву «Спутник» и машину первосортного угля, хотя Линяев уверял, что у него газ и уголь ему ни к чему. Но пришлось дать согласие. Тем более, что он ничем не рисковал — Ложкин обычно не выполнял обещанного. Зато отказы его обижали, потому что он предлагал от души, искренне. Теперь к легендарной авторучке, бритве и углю Ложкин хотел добавить мифический холодильник. Но Линяев уже ученый.

— Спасибо. Не трудись. У меня есть холодильник,— торопливо соврал Линяев.

— Вероятно, паршивый? Не волнуйся, я достану отличный «ЗИЛ»,— сказал Ложкин.

— Вот-вот. У меня и есть «ЗИЛ». Самый настоящий. Отличный «ЗИЛ».

— А-а...— ревниво протянул Ложкин.— А то смотри. Достану еще один.— И по глазам видно: опять ищет, что бы все-таки сделать Линяеву приятное.

Линяев совершил отвлекающий маневр.

— Кстати, сегодня художественный совет. Посмотри мой сценарий, может, скажешь пару слов в защиту,— сказал Линяев и протянул сценарий.

— Да что я тебе и так не верю, что ли? Ты же не новичок!— возмутился Ложкин и попробовал было улизнуть.

— А ты все же посмотри,— настойчиво попросил Линяев.

Ложкин взял сценарий, сел в кресло и, негодуя, принялся листать.

— Ну, что я говорил? Превосходно!— сказал Ложкин, возвращая сценарий, и, продолжая негодовать, вышел.

Позвонила Алина. Она говорила долго и сбивчиво. И про статью какого-то Вознока и про фильм «Баллада о солдате». И еще про что-то. Линяев ничего не понимал, но слушал с наслаждением. Что бы несусветное она ни молола, все для него почему-то было неимоверно важным. Он готов слушать без конца.

— Тебе все это неинтересно,— призналась Алина в заключение.— И, вероятно, сейчас ужасно некогда. Но мне нужен был предлог. Я хочу тебя видеть. Ты зайдешь вечером?

— Моя милая бюрократка,— рассмеялся Линяев.— Нельзя ли без волокиты? Если бы ты и не звонила, я все равно бы нахально пришел.

В дверях показалась голова секретарши и позвала на художественный совет.

— До вечера,— сказал Линяев и нехотя положил трубку.

Члены художественного совета расселись вдоль стен директорского кабинета. Линяев занял место рядом с Черниным и осмотрелся. Между телевизором и сейфом развалился Ложкин. Он поймал взгляд Линяева и по-приятельски подмигнул. Линяев кивнул в ответ. Сегодня должен обсуждаться его новый сценарий, но это его не волновало. Обсуждение обычное, какие бывают каждый четверг.

— Ну-с,— сказал директор,— сегодня на повестке дня сценарий Юрия Степановича. Кто желает высказаться?

— А что рассусоливать?— пожал плечами сельскохозяйственный редактор.— Тут ясное дело. Принять — и все. И пусть режиссер готовит передачу.

— Я тоже думаю: сценарий готов. Предлагаю перейти к следующему вопросу,— подал голос главный редактор.

— Я согласен с вами: Юрий Степанович — мастер,— директор смущенно улыбнулся.— Но для формальности надо бы. Для протокола, так сказать.

— Я скажу.

Ложкин поднялся и опять подмигнул Линяеву.

— Я думаю, сценарий слабоват и кое-где написан левой ногой.— И Ложкин принялся громить сценарий. Он осудил замысел автора и выразил опасение, что сценарий вообще нетелевизионен. Ложкин закончил речь

и сел, не забыв снова подмигнуть Линяеву. Линяев смотрел на Ложкина, ничего не понимая.

— М-да,— озадаченно произнес директор,— может, нам действительно нужно разобраться?

— Признаться, и у меня были некоторые сомнения,— сказал главный редактор.— Но я виноват, счел их незначительными. Однако товарищ Ложкин лично мне открыл глаза. Ошибки в сценарии Юрия Степановича, теперь вижу, весьма существенны. Более того, они стали тенденцией в его работе.

За ним слово взял Чернин, обрушился на Ложкина, у Федосова он потребовал, чтобы тот расшифровал свои намеки, и тут началась катавасия. Вообще-то никто, кроме Ложкина, против не был. Но музыкальный редактор все же посеял зерна сомнения. Замутив воду, он довольно потирал руки и строил Линяеву многозначительные гримасы.

Наконец, после долгих дебатов сценарий был принят. Потом, когда закончился худсовет и Линяев вышел в коридор, его догнал Ложкин и весело хлопнул по спине.

— Я же тебе говорил: не сценарий, а конфетка. Каждый из нас подпишется под ним, не моргнув.

— Слушай, как тебя понять? Вначале ты говорил одно, потом другое. Теперь возвращаешься к первому?— спросил Линяев.

Ложкин заговорщически повел Линяева в сторону.

— Если бы я похвалил, сразу началось: «Вот друзья», «спелись», «кукушка, понимаешь, хвалит петуха» и тому подобное. Теперь амба! Все видели, что у нас с тобой дружба дружбой, а служба службой. Понял? Считай, что мы ловко усадили Федосова в лужу. Он-то от меня этого не ждал. Я видел по его глазам.

Линяев не нашелся что возразить. Только качал головой: ну и Ложкин! Ну и ну! Когда же он иссякнет, этот Ложкин?

— Да, забыл. Я достану тебе потрясающее лекарство. Какое-то хитрое название. Но я достану.

— Сделай милость, не доставай,— строго сказал Линяев.

Ложкин сообразил, что коснулся он открытой раны, и настаивать не стал. Будто что-то вспомнив, засеменил в сторону аппаратной с криком: «Когда это кончится? Опять перепутали пленку!»

Линяев зашел в свою редакцию и увидел Алину. Присвистнул.

— Каким образом, сударыня?
— Отпустили раньше, а деться некуда,— виновато объяснила Алина.
— Так, так. Но, а как же вы проникли без пропуска?
— Очаровала охрану. Там такой бородатый дядечка, я улыбнулась нечаянно, он и пропустил,— в ее голосе нарастало чувство вины.
Линяев стукнул по столу.
— Черт возьми, я понимаю этого бородатого!
Он воровато оглянулся на дверь и обнял Алину. Она обиженно отстранилась.
— У меня новое платье! Ты не заметил?
Это, конечно, непозволительный просчет. Тут не помогут самые веские оправдания. Ссылки на рассеянность и даже слепоту покажутся просто смешными. Это надо прежде всего чувствовать. Вернее, предчувствовать, когда она еще идет где-то там, по городу, что на ней новое платье. Так устроены женщины. Линяев это знал и, не раздумывая, покаялся:
— Виноват!
Минут десять они молчали, только сидели, разделенные письменным столом, улыбались и смотрели друг на друга.
— Час назад Мыловаров принес свою повинную голову,— сказала Алина,— поведал, как с похмелья наговорил тебе всякой чепухи. Не придавай значения его болтовне.
— Это моя вина,— возразил Линяев, посуровев.
— Теперь ты бьешь себя в грудь... Надо было мне развестись сразу. И я, поверь, перевела на заявления не одну пачку бумаги. Но стоило только представить, какая польется грязь в суде... Впрочем, и это ничего не решает: разведена я или нет. Все равно, если ты журналист-женщина, найдут, каких на тебя навешать собак... Ну да что я разнюнилась.— Алина улыбнулась.— На моем месте радоваться надо. Я все-таки тебя нашла. А многие так и не находят. Так что я счастливейшая из женщин. Но сколько без тебя пропало напрасных лет! Как это несправедливо!
— Ты твердо уверена, что я — он самый, тот, которого ищут?
— Абсолютно! Ты единственный, и потому ошибка исключена. Поздно ты забеспокоился, Линяев, ты уже мой!

Линяев окончательно понял, что теперь, если все-таки наступит необходимость прощаться с жизнью, делать это ему будет значительно трудней, чем до знакомства с Алиной. Но он так же глубоко был уверен, что не жалеет об этом. Он тоже искал ее, Алину, и вот нашел. При всем при том он тоже счастливчик. И ему повезло, а другие ищут до сих пор.

Ему еще оставалось закончить кое-какие дела. Пока он бегал по студии, Алина терпеливо ждала. Потом они зашли в детсад к малышу.

— Правда, он похож только на меня?— уверенно спросила Алина, ероша волосы мальчика.

У малыша чужие синие глаза, чужой короткий нос и совершенно непохожий рот, большой, толстогубый и улыбчивый. Но Линяев, не колеблясь, подтвердил:

— Да, похож, и только на тебя.

Он не кривил душой. Это в самом деле могло быть так. При чем тут глаза, нос и уши, если существуют более тонкие черты похожести. Алина — мать, и не ей ли лучше знать, на кого из двоих похож малыш. Впрочем, она и не ждала другого ответа.

Малыш вскарабкался на плечи Линяева, мать, заметно волнуясь, следила за их лицами, готовая принять меры, если между ними, самыми дорогими, начнется разлад. Но они отлично обошлись без нее. Установили контакт без ее помощи. Шумели и хохотали в один голос. Линяев, конечно, продемонстрировал коронный номер с раздвигающейся шеей, а малыш пялил глазенки, будто видел впервые.

Когда начало темнеть, они отвели малыша к воспитателю и направились в городской парк. Парк был еще закрыт. Его пока готовили к сезону — копали, чистили и красили. Им долго пришлось искать лазейку в свежеокрашенной ограде. Лазейку нашли, но Алина все же задела рукой зеленую краску. Тогда они побежали по сырым аллеям в центр парка, где находился пруд. Алина черпала ладонью воду, терла краску носовым платком, Линяев устроившись рядом на камне, осматривал осиротевший пруд, покрытый прошлогодними листьями, небольшой голый островок с опустевшими будками для черных лебедей. Летом здесь ярко и пестро, будто на ярмарке. По воде шныряют лодки и хлопают плицами водяные велосипеды. А в густом кустарнике, на острове, истошно кричат диковинные павлины.

Алина прислонилась к серому гипсовому льву, похо-

жему на Николая Второго, и дула на покрасневшие пальцы.

— Дай погрею.

— Уже тепло. Ну, побежали!

Она побежала к искусственной горке. Линяев пустился за ней, но бежать ему было трудно. Он замедлил шаг.

— Ну, что же ты? Лови!— крикнула она нетерпеливо и козой запрыгала вверх по ступенькам. На горку.

Ему стало неловко. Все-таки мужчина. Надо поднажать. Он опять побежал и, тяжело отдуваясь, забрался на верхнюю площадку. Алина посмотрела на него с тревогой. Он состроил уморительную гримасу, но сбившееся дыхание мешало.

— Извини меня. Я забыла.

Голос Алины задрожал. Она приникла к нему. Поцелуй ее был долгим. Линяеву уже не хватило воздуха. Он мягко отодвинул ее. Ему стало горько и смешно.

— Я дура. Я эгоистка,— сбивчиво забормотала Алина.— Я боюсь потерять тебя. Слышишь, не болей! Не оставляй меня, я только нашла тебя! Я просыпаюсь по ночам и со страхом думаю: может, тебя уже нет? Это ужасно!.. Господи, дура, что я говорю?

— Ну да! Все это полная чепуха! Выдумки врачей. На самом деле ничего страшного. Подумаешь, болезнь,— поспешно возразил Линяев.

— Это ужасно!— повторила она.

Линяев, сгорбившись, сел на барьер. Она будет неважной помощницей. Теперь вдобавок нужно возиться с ней. Нести двойной груз, вот как! Но если он нашел этот груз, он взвалит его на себя, добавит к своему и с радостью понесет, хотя будут подгибаться ноги. Все-таки он счастливчик! Он помнит об этом.

Алина сидела поодаль. Стало темно, и Линяев только угадывал ее профиль.

— Подойти ко мне,— позвал он ласково.

Она покорно подошла и села рядышком.

— Все в порядке?— спросил он тоном, не допускающим возражений.

— В порядке!— откликнулась Алина.

— Теперь дай бог найти выход.

Они брели едва ли не на ощупь, натыкаясь на стволы.

— Можно подумать, что считаем деревья. Инвентаризация!— произнесла Алина и фыркнула.

Она заметно повеселела, Линяев обрадовался этому и сказал:

— Так что? Блукать будем или ударимся в ноги сторожу? По-моему, вон там его окна.

— Блукать я не прочь. Хоть до утра. Но лучше в другой раз, тогда соберусь, как в командировку. А сегодня я в туфлях, и они промокли.

Сторож поначалу ругался, кричал, что на них креста нет, что таких бы следовало штрафовать. Они кивали и поддакивали. Невольно вышло, словно ругают кого-то третьих, отсутствующих, поэтому сторож запутался в словах, безнадежно махнул рукой и повел к выходу.

Они изрядно устали, пока блуждали по парку. Вдобавок Алина озябла и начала постукивать зубами. Линяев поймал такси и повез ее домой. Алина пригрелась в машине, и по лестнице он тащил ее, уже сонную, почти волоком. Он довел ее до дверей и попрощался. Она с усилием продрала глаза и сказала:

— Я буду мужественной. Вот увидишь.

* * *

— Никогда еще человек так не беспокоился за свою жизнь, как в наше время,— сказала Алина.

— Раньше человек как-то не был уверен в своем праве жить. Вроде бы ему сделали одолжение, позволив ходить по земле. Пожил хоть сколько, будь благодарен и за это. В наши годы он понял, что жизнь принадлежит ему. Он имеет право распоряжаться ею, и, будьте добры, отдайте ему все.

На углу, где они расходились по утрам, румяный седой старик продавал первые ландыши. Линяев выбрал букет покрупнее. Букет плотно перекручен медной проволокой. Раненые стебли источают сок.

Линяев снял проволоку.

— Отец, ты уж больно варварски с цветами.

— Эко ты их пожалел,— усмехнулся старик.— Поздно пожалел. Ты бы пожалел, когда рвал. Во! А теперь им жалость ни к чему. Теперь им один конец: что проволокой, что корове на закуску.

В глазах старика он, несомненно, слюнявый идиот.

Алина поглядывала на электрические часы.

— Ты опоздаешь!

— Отец, и все-таки лучше шпагатом.

— Проволокой красивее,— упрямо сказал старик.

Линяев подхватил Алину за локоть.

— Тебе.

Она приникла щекой к белым колокольцам.

А для него это не колокольцы. Колокола! Их весенний набат рвет ему барабанные перепонки. В сорок сороков гудят они о весне. Помни! Помни! Он помнит. Он начеку.

— До вечера?

— До вечера.

Не желая расставаться, они еще некоторое время топчутся на месте.

— Да,— спохватывается Алина,— кажется, мы с тобой нашим редакционным кумушкам порядком приелись. За целую неделю ни одной новой сплетни. Тебе не обидно?

— Я этим невниманием прямо-таки оскорблен. Какая черствость!— притворно возмущается Линяев.

...Днями он встретился в студийном коридоре с Федосовым.

— Юрий Степанович,— остановил его главный редактор,— дама, что приходила к вам на студию, часом не Ковалева?

— Алина Васильевна была по личному делу,— ответил Линяев, сразу ставя крест на дальнейших вопросах.

— Я так и думал.— Толстые губы Федосова разъехались в неопределенной улыбке.— А ваша встреча в Кочетовке? Это случай? Или вы договорились заранее?

— К сожалению, случай. Подарок судьбы. Знаете, такое в жизни бывает, жаль только редко. Я могу идти?

— Да, работайте, Юрий Степанович.

Он этот разговор скрыл от Алины...

Наконец они расстаются. Алине — направо, в редакцию газеты. Ему прямо — на трамвайную остановку.

Не успел Линяев войти в редакцию, как явилась секретарша Аврора.

— Вам привет от Федосова,— и положила на стол сценарий, посвященный поэзии Лермонтова.

Линяев отдавал Федосову должное,— тот себя не жалел, на студию приходил раньше всех, а после рабочего дня частенько оставался на вечерние передачи. Вот и теперь вернул завизированный сценарий, только вчера, после обеда, Линяев отнес его Федосову, и вот ответ готов: можно подключать режиссера. Если бы он еще делал все с толком.

На этот раз сценарий был чист от его пометок. И все же Федосов не удержался, выправил у классика строчку. Геннадий Петрович, не колеблясь, замахнулся на стихотворение «На смерть Пушкина», заменил «божий» суд «народным».

Линяев не поверил глазам, когда прочитал: «Но есть народный суд, наперсники разврата». Ущипнув себя за ухо, удостоверившись в собственном полном рассудке, он взял сценарий и отправился к Федосову.

— Геннадий Петрович, пожалуйста, уточните: «народный суд» какого района? Вашего? Или того, где проживал Михаил Юрьевич?— спросил Линяев, ткнув острым пальцем в федосовскую правку.

— А при чем здесь район? Юрий Степанович, нужно знать свою историю. Во времена Лермонтова были другие административные единицы,— строго заметил Федосов.— И вообще. К чему вы клоните?— забеспокоился он, почуяв подвох. С этим редактором держи ухо востро.

— К той же истории. Во времена Лермонтова были суды: мировой, военно-полевой и церковный. А в народный лично я недавно выбирал ткачиху Шаброву.

— Но под народным я подразумевал несколько более широкое...— пробормотал Федосов, тупо глядя на Линяева.— Черт возьми, вы правы.— Он нервно засмеялся.— Как же мне сразу в голову не пришло? Спасибо, Юрий Степанович, удержали! Сейчас исправим ошибку.— Он зачеркнул слово «народный», игла его шариковой ручки в раздумье зависла над строчкой, и через секунду-другую Федосов рядом с зачеркнутым словом каллиграфично написал: «правый».— Вот так даже будет получше. «Но есть и правый суд, наперсники разврата»!— с чувством продекламировал главный редактор.

— А кто-то возьмет и спросит: «а почему не левый». Среди телезрителей есть дотошные люди,— задумчиво молвил Линяев.

— Что же делать?— дрогнул Федосов.

— А ничего! Оставить, как и сочинил классик!

— Вы не правы!— К Федосову вернулась его уверенность.— Лермонтов — человек старой формации. А мы с вами материалисты и знаем, что нет никакого бога. Следовательно, и божьего суда! Юрий Степанович, Лермонтов — большой авторитет, и нетвердый атеист может пойти за ним!.. Я, как ответственное лицо, не могу этого

допустить... Хорошо, не годятся «народный» и «правый», придумайте другое. Я не тщеславен, не обижусь.

— Геннадий Петрович,— с жалостью сказал Линяев.— Это занятие не для вас! Поищите другое место, ей богу! Я не знаю, что вы умеете делать, и поэтому не могу дать совет... А нам вы мешаете работать, над вами смеются даже девочки-помрежи.

Лицо Федосова стало непроницаемым, он мгновенно замкнулся в невидимую броню.

— Знаете, как вас прозвали за глаза?— спросил Линяев, выискивая в этой крепости брешь.— Корнейчуком.

...История этого прозвища была такова: на одном из худсоветов Федосов сказал, критикуя редактора общественно-политических передач. «Сценарий подготовлен вами небрежно. Вы даже не соизволили полностью написать имя и фамилию всеми уважаемого писателя Корнея Чуковского. Вот как они выглядят в этом сценарии!— Федосов поднял страничку над головой и показал худсовету, предлагая посмеяться над лентяем.— Он даже не удосужился разделить. Так и написаны вместе. Корнейчук!»...

Федосов разжал стиснутые зубы, и сквозь щель, словно под давлением пара, вырвалось:

— Лучше полюбуйтесь на себя, Ли-ня-ев!

Главный редактор сунул руку в ящик стола, вытащил тощую сиреневую папку и торжественно швырнул на стол, точно козырную карту.

Линяев понял, что это собранное на него досье.

— Можно полюбопытствовать?— спросил он, протягивая руку.

— Нетушки! Я покажу сам. Не откажу себе в большом удовольствии,— злорадно пообещал Федосов и открыл папку.— Письма вашего друга Лопатина. О-очень возмущен. Копии он отправил в обком... А вот официальный документ из охотинспекции, ответ на мой запрос... Это протест трудящегося из Кочетовки. Вы за государственный счет встретились в Кочетовке с любовницей Ковалевой. Она же вам запретила снимать их колхозный клуб. Копия, естественно, редактору газеты... Хватает?.. Могу добавить: сейчас работаю над вашей связью с неким закоренелым алкоголиком,— признался Федосов, бережно завязывая на папке белые шнуры.— Так что, если кто и расстанется со студией, то это будете вы.

— Ничего у вас не выйдет,— сказал Линяев, в душе не испытывая стопроцентной уверенности. Эта папка еще потреплет нервы и ему, и Алине.

— А не выйдет...

Федосов спрятал папку в стол, подошел к двери, выглянул в приемную, вернулся на место, снял телефонную трубку и положил рядом с аппаратом.

— А коль не выйдет,— зашептал он, подавшись в сторону Линяева,— все равно, чахоточный, ты скоро подохнешь сам!

Когда у них нет своих аргументов, они уповают на его смерть. И тут на Линяева что-то нашло. Он, брезгливый к матершине, сделал неприличный жест:

— Вот тебе! Не подохну!

— О! А теперь вы еще и угрожаете,— почему-то обрадовался Федосов и смотрел при этом за его плечо.

Линяев обернулся на дверь,— так и есть, в дверях столбом торчала секретарша Аврора. А он-то при даме!

— Прошу прощенья!

Багровый от стыда Линяев прошмыгнул мимо Авроры и засел в своей комнате. Ему было совестно перед женщиной и перед собой. Он всю жизнь презирал пошлость, не делал ей скидок даже на войне, рвал дружбу с близкими людьми, но оказалось, ее вирус все годы таился в нем самом, ждал своего часа.

Однако его самоедство было недолгим, его нарушила все та же Аврора, возникла по-кошачьи бесшумно, не звякнув ни единым браслетом, даже не скрипнула несмазанной дверью. Обычно эта дверь, когда ее открывали, визжала, точно истеричка. Но, видно, Аврора обладала магической властью над дверями. И этой, и в кабинете главного редактора.

— Я же перед вами извинился,— с укором напомнил Линяев.— Или вы решили удостовериться: я ли был это? Я, Аврора, я.

— Не комплексуйте!— Она прошла к дивану, удобно уселась, вот теперь бубенцами зазвенели все ее кубачи.— Конечно, вы меня удивили. Но я не девочка, Юрий Степанович, знаю, когда мужика ухватят за живое, он может и не только словом. А вас Федосов допек. Видели бы свои глаза. Ну а что появилась я, так вы этого не знали. Секретарша, она тот же разведчик.

— И все равно нельзя было распускаться,— посетовал Линяев.

Но она его не так поняла:

— Не бойтесь. Федосов будет нем. Я его нейтрализовала. Он мне, естественно, сразу: «Аврора Витольдовна, будете свидетелем!» «Буду,— говорю,— скажу: «Вы ко мне приставали, а Линяев заступился, как джентльмен». Думаете, у Федосова глаза на лоб? Как бы не так! Оказывается, для него это привычное дело. Или ты другого мордой об стол, или он тебя тем же самым по тому же месту.

— Ну зачем вы?— поморщился Линяев.

И снова она неверно истолковала его слова.

— Думаете, отомстит? А мне нечего бояться. Я брошу вас всех и самолетом в Сочи. Там живет кроткий вдовец, предлагает сердце, кучу детишек и собственный дом. И я соглашусь. Правда, правда. Пора вить гнездо... Что ни год, а мне будто все те же двадцать восемь. Надоело! Что же вы молчите, Юрий Степанович? Галантные мужчины бросаются утешать: помилуйте, Аврора, вы смотритесь на двадцать пять!

— Пусть ваше гнездо будет прочным,— пожелал Линяев всерьез.

— Верно, нечего сюсюкать со старой бабой. Разве ей от этого легче?— согласилась Аврора, нехотя вставая с дивана.— Да, забыла. Чернин уехал в театр. Просил вас интересоваться монтажной. Ну да вы, наверное, знаете, о чем речь.

И впрямь пора возвращаться к работе, ее сегодня невпроворот. Напоминая об этом, тут же зазвонил внутренний телефон.

— Юрий Степанович,— услышал он спокойный, деловитый голос Федосова, будто между ними ничего не случилось,— возвращаюсь к нашему спору. Давайте оставим вопрос открытым. Я еще над Михаилом Юрьевичем поколдую дома. Если не справлюсь, завтра позвоню в союз писателей. Посоветуемся со специалистом.

«Такое бы упорство да во благо»,— подумал Линяев, а вслух дал совет:

— Тогда уж лучше звоните в совет по делам религий.

— Это мысль,— неожиданно одобрил Федосов.

Не зря утром гудел набат. Линяев спустился в монтажную, примостился у мавиолы, потер руки, собираясь сказать: «Ну-ка, похвастайтесь! Что вы тут натворили с пленкой?» Да не смог и вымолвить слова.

— Кровь, Юрий Степанович!— прошептала монтажер.

Он кивнул: «Знаю». Пошарил в карманах и прижал

к губам носовой платок. Мавиола со звоном уплыла в сторону. Дюжие осветители Орел и Решка подхватили его и перенесли в фойе на диван. Он плавно приподнялся, чтобы голова лежала выше. Решка подсунул диванный валик.

— Брякни в «Скорую помощь»!— крикнул Орел монтажеру.

Линяев осторожно повел кистью руки — незачем. Потом медленно показал, как перетягивают жгутом руку. Отныне он делал все, точно в замедленной съемке. Ни одного резкого движения. Он опытный солдат и знает, как бороться.

Орел сбегал за ферромагнитной лентой.

— Дай-ка мне,— сказал голос Елисеева, и Линяев увидел над собой его плешивый череп.

Елисеев перетянул руку выше локтя. Эту операцию он проделывал уже дважды. Первый раз это случилось в просмотровом зале. Вторично — в командировке. Они снимали тогда концерт агитбригады на полевом стане. Признаться, он считал, что редактору будет конец. А тот через месяц погнал его, Елисеева, к черту на кулички — снимать заповедных зубров. И зубры едва его не затоптали.

В предыдущих случаях Линяев выпутывался благополучно. Обойдется ли сегодня?

Магнитофонная лента резала кожу. Линяев вспомнил проволоку и цветы. Улыбнулся: вот еще одно проявление единства природы.

У дивана появился директор. Линяев написал ему что-то в воздухе пальцем.

«Ерунда. Отвезите домой»,— перевела монтажер: она имела дело с кинопленкой и легко читала слова с обратной стороны.

Линяев распоряжался спокойно и уверенно. Ему подчинялись.

Его осторожно подвели к «Волге» и принялись усаживать. Линяев представил картину погрузки и про себя скомандовал: «Майна, вира!»

Его притулили в углу машины. Чернин неуклюже поддерживал за талию. Интересно, как он обнимает женщин? Так же?

Они миновали ворота. Навстречу по «долине самоанализа» очертя голову летело такси. Оно бешено развернулось и преградило путь. Из такси вынырнула

Алина. Губы ее кривились. Линяев плавно поднял большой палец — на «ять»!

— Спасибо вам,— сказала она Чернину.

— Что вы?! Не стоит.

Чернин прятал глаза. «Значит, позвонил этот голубчик,— досадливо подумал Линяев.— Но откуда он пронюхал об Алине? Видать, и впрямь знает добрая половина города. Ладно. Пусть смотрят и завидуют».

С утра сквозь облака пробивалось солнце. Из окон студии было видно, как по «долине самоанализа» ползают слепые тени.

Стали заметными худенькие деревца, торчавшие по «долине». Эти подростки настойчивы. Они растут, невзирая ни на что. Когда они повзрослеют, «долине самоанализа» наступит конец. Здесь будет парк. Для «самоанализа» придется искать другое место.

У въезда в город машину задержала колонна людей. Они несли лопаты и мотыги. За колонной следовала другая. Впереди ее играл оркестр. Барабанщик чуть приотстал. Он хромал в новеньких туфлях. За барабанщиком два парня, жмурясь на солнце, тащили плакат: «Превратим наш город в сад». В. Маяковский».

Алина ерзала возле шофера. Беспрестанно оглядывалась на Линяева.

«Пустяки,— подумал Линяев.— Лишь бы образовался тромб. Только бы четыре дня продержаться без кровотечения».

Раздевал Линяева режиссер. Алина стояла у окна, спиной к ним.

— Алина, там, через улицу, человек занимается гимнастикой. Ты видишь его?

— Да.

— Он молодец. Он собирается прожить лет двести. Как и я. Ты поняла? Как и я.

— Помолчи,— приказал Чернин.

Он пыхтел, раздевая Линяева, крутил ему руки, ноги. Каждое движение для него было проблемой. Он тер лоб и прикидывал. А человек, который сделал бы это ловко и осторожно, стоял у окна. И не мог даже посмотреть, что делается у него за плечами.

Чернин рассердился. Так им и надо. Взяли бы и поженились. Вместо этого играют в игры.

Один, видите ли, болен. Вторая — слабое, застенчивое существо, и ей не положено проявлять инициативу. И так рассуждает журналистка. Он-то помнит, как она

похитила у него агронома. Утащила из-под самого носа. Все было готово для съемки, но откуда-то взялась эта особа и выманила агронома из хаты-лаборатории. На улице ее поджидала линейка. Что она сказала агроному — неизвестно. Съемочная группа не успела ахнуть, как он залез на линейку. За линейкой погнались Орел и Решка и даже некоторое время бежали рядом с лошадью — ноздря в ноздрю. Но лошадь оказалась выносливей, и они отстали. А он, Чернин, размахивал кулаками и кричал страшным голосом. Уже сворачивая за угол, эта женщина посоветовала снять рядовых колхозников. Агроному ничего не оставалось, как поддакнуть. Хотя он не прочь был покрасоваться на экране.

Сегодня она встретила его в машине и бровью не повела. Непонятные эти женщины-журналистки. Он был свидетелем, как одна, точно такая же сорви-голова, всенародно ревела в три ручья. Ее ужалила оса. В лоб. Перед этим корреспондентка навела ужас на ораву бюрократов.

— Вы некстати украли тогда агронома. Очерк мы готовили ругательный, и агроному б досталось изрядно,— сказал Чернин, взбивая подушку.

— Предупредили бы. Насчет другого язык орудовал у вас безотказно.

— Не мог же я при нем!

— Почему бы и нет? Работаете из-под полы? Впредь вам наука!

— Между прочим, редактором очерка был я,— сказал Линяев,— и мне намылили шею.

— Если будешь болтать, я добавлю от себя.

— Можете повернуться,— ехидно объявил Чернин.

«Странно,— удивился про себя режиссер,— наш товарищ в опасности, а мы шутим наперебой. Словно поблизости от нас не ходит смерть. Неужели мы верим в его фантастическую способность жить, как верит и он сам?! Брать в расчет только его волю и забыть об организме — значит удариться в идеализм. Но с детства наши головы прочно забетонированы диалектическим материализмом. Линяев, вероятно, одна из тех фигур, на которых философы ломают себе хребет».

Линяев кашлянул в платок. На платке прибавилось алое пятно. Это не годится. Линяев закрыл глаза. Нужно во что бы то ни стало заснуть. Пусть отдохнет организм. Потом ему достанется крепко.

— Ты бы поспал в самом деле,— заботливо сказал Чернин.— Я тем временем сбегаю на студию.

Линяев не ответил, давая понять, что засыпает. Чернин вышел, ступая на носки. Алина, не сводя глаз с кровати, опустилась на стул.

Линяев лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла. Посторонний человек принял бы его за труп.

Очнулся он от укола. Пахло эфиром.

— Закусите таблеточкой,— радушно предложил врач.

Линяев глотнул таблетку викасола без воды.

— С большим удовольствием я бы поставил вам горчичники из крапивы. Подумать только: вместо больницы он заставляет везти себя в пустую, холодную хижину. Бить вас следовало нещадно, Юрий Степанович! И за ноги волочить в больницу. Но теперь ничего не поделаешь. Будете валяться здесь. Пишущую машинку, чернила, бумагу,— все заберем, разумеется.

Из глубины комнаты возникла женщина в белом халате. Линяев посмотрел на нее — у него заломило в глазах. Сестра сунула ему под мышку холодный термометр. Потом врач посмотрел на термометр и сокрушенно причмокнул толстыми губами.

— Еще несколько градусов, и вы затмите солнце,— пошутил он и уже добавил серьезным голосом кому-то стоящему за изголовьем:— Ни капли горячего. Ничего острого.

— Я поняла, доктор,— ответила Алина.

Они остались вдвоем. Алина пристроилась на краешке постели. Погладила его руку. Мягкий рыжеватый волос щекотал ладонь. Второй по качеству мех после шиншиллы. Тоже придумал!

Алина встретила его нежный взгляд. «Я очень его люблю,— подумала она.— За что? Трудно сказать. Спросите каждого любящего, и он не может сказать, за что он любит. Если и скажет, то только так: «Не знаю. Наверное, за все!» Во всяком случае, я люблю не из жалости. Наоборот, рядом с ним я чувствую себя уверенней. Он сильнее меня, и в этом убеждении я не поколебалась еще ни разу. Когда он в кафе присел к нам за столик, заговорил и посмотрел мне в глаза, я неожиданно ощутила себя необычно сильной и смелой. Потом он улыбнулся мне в Доме ученых, и с той минуты, когда мне трудно, я вспоминаю его улыбку, и мне все нипочем. Я не успела как следует сообразить, в чем дело, а он уже

вошел в мою жизнь и принялся хозяйничать. На следующий день мне просто не хватало его...»

— Все будет хорошо. Мы победим!— сказала Алина.

— Кому ты это говоришь?— возмутился он деланно.

— Но ведь мы вдвоем сильнее, чем ты был один?— возразила Алина.

— А малыш?

— Тем более, если нас трое...

— Нас не трое. Нас много. Нас два с лишним миллиарда. Я знаю каждого. Например, я знаю, кто из нас чем занимается в эти минуты. Одни работают. Другие едут в трамвае. Третьи сидят в кино. Четвертые морщат лбы, где бы раздобыть на обед. Пятые смело смотрят в стволы автоматов. Их расстреливают в Алжире. Шестые лежат в кроватях — отдыхают. Набирают силу для борьбы. К ним отношусь и я. Ведь может обычный человек взять да и лечь в постель, как это сделал я. А потом он встанет и свернет горы. Наступит утро, я пойду на студию и устрою коекому разнос. «Барышня-крестьянка» опять на волоске.

На стене так, чтобы, как проснешься, бросилось в глаза, висели начерченные им плакаты. Первый приказывал категорически: «Вставай! У тебя сегодня куча дел!» Тот, что немного ниже, пытался воздействовать на совесть. «Ну, что же ты?!»— обидчиво спрашивал он. Еще ниже: «Валяйся, валяйся! Проспи все на свете!»

Наступит утро, и он, как обычно, откроет глаза и прочитает плакаты.

— Я что-нибудь куплю и приготовлю обед. Что бы ты хотел?— спросила Алина.

— Пора бы знать: уважающий себя мужчина не интересуется тем, что ему дают. Он ест все. Или прошлое замужество не пошло тебе впрок?

— Мой бывший муж вылавливал лук и оставлял его на краях тарелки. Тем не менее он всегда был преисполнен достоинства. Даже в момент этой операции.

Она зашуршала плащом возле дверей.

— Алина, как ты думаешь?— Линяев хитро прищурился.— Нелепо выглядит человек, если просыпается по ночам и ест?

— Конечно, это несколько необычно. Но в наш век традиции не так уж популярны. Тем более если вместе с человеком просыпается волчий аппетит.

— Тогда пожелай спокойной ночи.

— Спокойной ночи!

Он недолго полежал с открытыми глазами. Посмотрел на массивную пятиламповую люстру. Как это ни нелепо, но в его крохотной комнатке висит такая люстра. Ее бы с избытком хватило на добротный сельский клуб, но она висит у него. Люстру притащили друзья.

Когда он перешел от тещи в эту комнату, друзья сказали:

— Ты непрактичен. Если не принять меры, ты будешь спать на раскладушке еще сто лет.

Сказано — сделано. Они отобрали у него зарплату и начали действовать. Первым вернулся с покупкой Мыловаров. Он, кряхтя, волок люстру.

— Зачем?— спросил Линяев.

— Я залью тебя морем света! Это самое важное для квартиры,— пояснил он.

За люстрой появилась свежевыструганная оконная рама. Ее купил Чернин.

— А это зачем?

— Пахнет сосной. Экзотика.

Линяев забрал оставшиеся деньги и пошел на Сенной рынок за кроватью. Вез он ее на телеге. Сам сидел с краю, свесив ноги. Лошадь мерно мотала головой и цокала копытами. На тротуаре выстроились зеваки. Линяев держал руку под козырек.

Рама стоит за шифоньером и по сей день, источая чудный запах сосны. Рука не поднимается выбросить ее вон.

Линяев вновь заставил себя спать. Алина принесла обед. Он проснулся и насильно съел все до крошки.

За окном протарахтел автобус «ЗИЛ». Его можно узнать по характерному реву. «В автобусе поехали мы,— подумал Линяев.— И мы идем по тротуару просто пешком. У нас два миллиарда забот. В том числе и гимнастика. Мы делаем гимнастику. Вон там, за окном». Линяев повел глазами на окно.

— Он на месте?

— Его нет. Впрочем, появился. Угадай, кто он? Я узнала. Он художник. У него здесь мастерская. Он разминается, чтоб не терять бодрости.

— С чего он начал?

— Расставил ноги и нагибается к одному носку и другому. Он передал тебе привет и сказал, что хочет зайти к нам. Но мы забыли — сейчас ночь. Спокойной ночи!

— Спасибо.

Ночь затянулась. На смену белым приходили черные ночи. Линяев спал и просыпался. В промежутках между сном мелькали еда и лекарства. И люди тоже приходили как во сне. И Чернин, и доктор, и Елисеев, и Алик Березовский. Он видел Олю Синеглазову во фригийской шапочке. Орел и Решка показались одновременно двумя ликами. Он запутался, где явь и где сон.

Однажды, открыв глаза, он обнаружил Мыловарова.

— Не залеживайся особенно,— бормотал тот.— Напрашивается интересный материалец. Мы его разделаем на пару.

— Только вот отосплюсь,— попросил Линяев.— Когда я служил в армии, нас поднимали в пять-шесть часов. У меня была мечта — отоспаться. Вот я и решил осуществить ее. «Добрать»,— говорили мы тогда. Поздновато взялся, но ничего.

Изображение Мыловарова размыло, словно его расфокусировали.

В другой раз он уловил за дверью голоса. Там говорили откровенно в расчете на то, что он не услышит. Но стены в этом доме были великолепными звукоулавливателями. Они тихий шепот увеличивали до раскатов майского грома.

— Длительный сон объясняется чрезмерным утомлением организма,— послышался голос врача.— Организм слабеет в объятиях болезни.

«Мы еще посмотрим, кто кого задушит в объятиях. Может, не я — она попала ко мне в объятия. Где-то я слышал арабскую песню. «Если голод будет меня преследовать, я не буду его слушать, я его обману, я его позабуду. Я его умерщвлю». Это и моя песня. Разве что немного о другом».

— Туговато ему,— печально басит Чернин.

— По-моему,— рассуждает врач,— по-моему, иной раз легче совершить подвиг, собрав мужество и волю в единый порыв. Легче, потому что это длится какое-то ослепительное мгновение. И труднее собирать по капле мужество на каждый день. И так изо дня в день. А рядом, уцепившись за рукав, семенит смерть, а он должен по утрам ходить на работу и ездить в командировки. Ругаться, когда что-то не клеится. Потом хохотать в зубастой мужской компании над какой-нибудь хохмой. А ночью спать рядом с женщиной.

— Разве можно так краснеть?!— вдруг возмущается

врач.— Вы пугаете людей! Черт возьми, теперь я боюсь сказать и одно слово. Вот что натворили вы!

Линяев поискал глазами. Алины не было. Значит, краснела она.

Ах ты, старый циник! Я проучу тебя!

— Так о подвиге,— продолжает врач.— Иной раз проще отважиться на подвиг, чем так ходить между нами и делать все, что делаем все мы. Они ходят среди нас. Такие, как он.

«Он противоречит себе. При чем здесь подвиг? В том-то соль, что я хочу жить, как и все. А подвиг — это еще больше. Подвиг — это Прометей и Иван Сусанин. И Александр Матросов. Подвиг должен быть уже потом. Пока нужно набраться сил, чтобы потом суметь вовремя добежать до амбразуры дзота».

— Но сейчас его дела плохи. Из рук вон плохи.

«Что плохого, если человек решил поспать немного дольше обычного».

— Сон порой переходит в забытье. В потерю сознания от нехватки кислорода. Он трижды дышал кислородной подушкой.

«Все равно я перехитрил. Пройдет ночь — я встану. Я пойду по городу. На главной улице людно. Меня будут толкать локтями. Нечаянно. И я буду толкать. Тоже нечаянно. В часы «пик» я полезу в битком набитый трамвай вместе со всеми».

— Еще никогда он не был в такой опасности,— заключил врач.

Чепуха! Сегодняшнее ерунда по сравнению с тем страшным днем, когда жизнь вдруг стала ему безразличной. Это состояние длилось считанные часы, но он леденеет, вспоминая их. Он ходил среди людей, равнодушный ко всему. И к собственной жизни. Оборвись над ним карниз дома, он не ускорил бы шаг. Ему было наплевать: свалится карниз на голову или грохнет мимо. Жизнь тогда лишалась цены. Глупец! Он мог расстаться с ней без сожаления.

А двухсотмиллионная армия, та, которую именуют народом, лишилась бы одного своего солдата. Она бы ослабла на одну двухсотмиллионную часть. Одна двухсотмиллионная — это очень много! Ее потеря — непоправимый ущерб! Вдобавок осиротеет телезритель Лопатин.

Его смерть будет сплошным предательством!

Скрипнула дверь — они вошли.

— Доктор,— позвал Линяев.

Тот наклонился.

— Это не по-мужски, доктор. Мужчины, когда знают, молчат.

— Не пойму!

Линяев показал на Алину. Она озабоченно копошилась у стола, что-то помешивала чайной ложкой в фаянсовом бокале. У губ ее обозначилась горькая складка. Алине доставалось тоже.

Врач пожал плечами.

— Ну и что? Все это давно известно науке. И не только науке. Каждому взрослому. Я только рад за вас. Вам повезло. Взгляните-ка на нее!

Они смотрели на Алину. Женщина сыпала в бокал коричневую пыльцу какао. Пыльца слежалась, и Алина постукивала ложкой по картонке.

Хватит водить за нос самого себя. Ты не страус. Нужно драться в открытую. Нечего играть в простака. Да, ты болен. Болен! Смотри этому смело в глаза. И теперь бейся, подняв забрало. Ты не доставишь радости Федосову!

Но прежде расквитаемся с доктором.

Линяев плавно погрозил пальцем.

— Я проучу вас, доктор! Вы приглашены на свадьбу. Ровно через две недели тащите свадебный подарок. Набор для грудного младенца. Это вам в наказание!

— Ничего не выйдет! Через две недели, в среду, я заседаю.

— Не увильнете! Свадьбу сыграем на день раньше. Я специально обманул. Каково?

Неожиданно в глазах потемнело. Он начал медленно валиться куда-то, где не было дна. Вероятно, в бесконечность. Хотел было зацепиться за спинку кровати, но руки не слушались. Уже издалека, оттуда, сверху, где материя имела форму, время и место, долетел голос врача.

— Кислородную подушку!

На подушку мягче падать, если придется все-таки упасть. Поэтому врач собирается всучить ему в дорогу кислородную подушку. Не желаю падать!

— Мне бы крылья! Чудак доктор!

Губы не шевелились.

Нет уж, дудки! Не выйдет! Не дают крылья? Обойдемся собственными ресурсами. Назад! К свету!

* * *

— «Барышне-крестьянке» не везет. Когда приближается выпуск журнала, я плюю через плечо, избегаю черных кошек. Мысленно держу в кармане подкову от артиллерийского тяжеловоза. И не помогает. Полюбуйтесь, что творится с последним номером. Доярку Измайлову забрали на выставку. Писатель Егоров улизнул в творческий вояж. Кажется, к рыбакам. Акробатка Сахарова заболела. Железная женщина заболела впервые за свою практику и выбрала для этого выпуск нашего журнала.

Что еще? Пожалуй: консультант по кулинарии отравился колбасой. Он до того проголодался, что уплел кусок завалявшейся колбасы. Итак, четыре страницы долой.

Чернин затравленно смотрел на директора.

— А сам редактор журнала? А Юрий Степанович?— напомнил Алик Березовский.

— Каково его состояние?— спросил директор.

— Малоприятное. Вчера был у него,— сказал Чернин.— После работы схожу еще. Только выясним, как быть с журналом. Четыре страницы долой! Это катастрофа!

— Снимем. Извинимся перед зрителями. Большего не придумаешь,— вздохнул директор.

— Снимать? Ни в коем случае! Я припас две страницы резервных. Подготовим еще две. Успеем. Правда, я немного проспал.

За их спинами возвышался Линяев. Лицо его стало бледным до прозрачности. Видно, крепко досталось в последней передряге. Он кашлянул и сказал:

— А, Березовский! Ты здесь, радость моя? Теперь уже не отвертишься. Где пленка?

ВНИМАНИЕ, ИДЕТ...

Они проводили меня до дверей головного вагона, точно я мог сбежать, бросив на платформе свой багаж. Из кабины машиниста выглянул белобрысый парень, зевнул и тут же с интересом уставился в нашу сторону. Наверно, мы образовали живописную группу — нечто среднее между конвоем и похоронной командой. Посреди понурой пизанской башней возвышались мои сто кило, внизу, у их подножия, гарцевали Лев — мощная грудная клетка на коротеньких, колесами ножках, и тщедушный режиссер Николай, с длинным строгим носом, похожим на указующий перст.

— Не кажется ли вам,— начал я философски,— что мой отъезд несколько напоминает почетную ссылку? Причем за собственный счет?

— Ничего себе ссылка! Солнце, воздух, шикарный пруд!— возмутился Лев, удалец из редакции последних известий.

Южный темперамент мешал ему оставаться на одном месте, поэтому он разъезжал перед нами на своих колесах, туда — сюда, туда — сюда. У меня лично от него рябило в глазах.

— Ты, Полиглот, прямо-таки обнаглел!— заключил Лев, притормозив перед моим животом.

Полиглотом он прозвал мою особу за то, что я, по его мнению, много пью, вложив в этот художественный образ весь свой годовой запас сарказма. Впрочем, в чем, в чем, а в сем самоуверенный Лев не ошибался, хотя пьяным-то видел меня только однажды, да и то я, будто обычный больной, лежал дома, в постели. Ну разве что взамен пузырька с микстурой на табурете рядом с по-

стелью красовались початая бутылка «Солнцедара» и стакан. Словом, водился за мной такой грешок. Из-за него-то и закрутилась вся карусель — и мой скоропалительный отпуск за свой счет, и отъезд, и эти проводы.

— Вот и поезжай вместо меня,— ухватился я за его слова.— Материал твой, ты нашел эту дичь. Тебе и пушка в руки!

— Ты же знаешь, я сам не напишу. Мой потолок — сюжет на полстраницы. Ну, может, на одну,— сразу приуныл завистник.

— А тут еще ему врезал режиссер Николай:

— Ты что? Нашел повод для шуток! Человек едет пахать, как негр! Какой ему воздух? Какой пруд?.. Надо! Надо! Пора тебе, Василий, браться за серьезное дело. Ты уже давно не новичок. И нам пора. Всем! А то, понимаешь, привыкли смотреть на телевизор, как на хи-ха и ха-ха. Не знаю, чем ты занимался в московских газетах, а здесь надо!— сказал он мне.— Там ты спокойно напишешь сценарий! Там нет этих соблазнов. В некотором смысле глухомань. Верно, Тося?

— Ты, Коленька, прав,— поддакнула жена.

Вокзал дышал тяжелым солнечным жаром, но она поеживалась, будто ее бил озноб, и, цепко держась за мой локоть, напряженно слушала того, кто в этот момент вел речь.

— Положим, этих соблазнов навалом и там,— сумрачно возразил Лев.

— Но не станет же он пить один? Сам с собой?— наивно возмутился Николай.

Пил я, пил и сам с собой, на то они и запои. Но вот о том, что у меня болезнь, он не знал, а я не стал вносить сомнение в его доверчивую душу.

— Р-р-ребята! О чем спор?— обратился я к своим великовозрастным дружкам, раскатывая букву «эр», точно бревна.— Считайте: сценарий уже в ваших шляпах! Сухой закон!

На всякий случай я посмотрел на жену. Она спокойно встретила мой взгляд, ее глаза остались такими же чистыми и ясными, словно их промыли прохладной ключевой водой. Ну разве что-то чуть дрогнули и снова успокоились темные зрачки, слегка сократилась диафрагма, будто щелкнула фотоаппаратом,— запечатлела мой образ.

...А неделю тому назад, когда я сказал об отъезде, она едва не пустила слезу. Так уж у нас повелось, каждая

моя поездка почему-то у Тоси вызывала ужас. Я поначалу грешил на транспорт — машины, самолеты, поезда,— мол, боится дорожной катастрофы. Но быстро выяснилось: дорога тут ни при чем. Любая моя отлучка и здесь, в городе, вызывала у Тоси тревогу. Стоило мне просто вечером задержаться на студии, и жена, вернувшись с работы домой, тотчас начинала тревожиться, без конца звонить по телефону. И один предлог был нелепее другого: «Куда ты дел то... где у тебя лежит се... не забыл ли поздравить маму?» Она боялась оставаться одна. Детей у нас не было, и по моей вине. В первые годы мне казалось, мол, помешают писать — бессонные ночи, пеленки, болезни,— а потом, когда сам захотел ребенка, было поздно — последний аборт обернулся для нас бедой. Вот тогда-то я и начал пить всерьез, до полной отключки. И не только по этой причине. Тут набралось всякое. Но эта сыграла роль последней капли.

Проведав о запоях, в нашу однокомнатную кооперативную квартиру в Кузьминки приехали мои далекие от житейской прозы родители. Они — преподаватель античной литературы и учительница музыки — спустились с небес, из мира Овидия и Моцарта, и очень вежливо и беспощадно обвинили Тосю. Она, только она погубила их сына, приучив к питью. Я попытался утвердить правду и справедливость, но лишь усугубил конфликт. «Сам ты до этого не мог докатиться. Мы воспитали тебя на лучших образцах мировой культуры!»— наивно возразил отец. «О господи, Тося, вдобавок вы научили Васю лгать!»— простодушно воскликнула мама. Так Тося, потеряв в войну своих родителей, лишилась и моих. Нет, нет, они и после общались, но вот это «Тосенька птичка» и «папусик-мамусик» уже исчезло, будто стерли запись. Отныне у жены не осталось ни единой родимой души, кроме меня. И я, ее единственный, ей говорю: мол, понимаешь, мне придется уехать дней на двадцать... может, тридцать...

— Я не вмешиваюсь в твои дела, но зачем куда-то ехать? Отключи телефон и пиши дома, если уж так вам нужна эта передача,— предложила она будто бы простодушно.— Пусть другие думают, будто тебя и вправду в городе нет.

— Ты прекрасно понимаешь: здесь я сорвусь! Я-то сам буду знать, что я здесь... А сроки не терпят. Может, ты поедешь со мной?

Ее не отпустили с работы — приближались конец

квартала и связанная с ним бумажная лихорадка, расчеты, отчеты и другая канитель... А я был обязан уехать. От этого зависело многое в моей дальнейшей судьбе. Так мне твердили Николай и Лев, да и понимал я сам... Теперь, слава богу, поняла и жена.

— За меня не волнуйся, работай спокойно!— сказала Тося мне и улыбнулась Николаю. Мол, она с нами заодно.

Я благодарно сжал ее хрупкие теплые пальцы, лежащие на моем локте.

— Друзья!— торжественно воскликнул Николай, будто начиная тост.— Запомним этот день! Сегодня мы открываем новую страницу не только в нашей жизни, но и в истории нашей славной студии...

— А может, и в истории всего государства,— коварно добавил Лев.

— Да!— подхватил Николай, не замечая подначки.

Он вечно срывался в пафос, и я нередко натыкался в своих сценариях, побывавших в его руках, на вписанные им возвышенные обращения к телевизионному зрителю типа: «Товарищ, посмотри вокруг...» или «Люди, давайте прямо посмотрим друг другу в глаза...»

— Ну, братцы, мне пора!— сказал я, предотвращая его словесный фейерверк.

— Ни пуха ни пера, Полиглот! Мы все-таки в тебя верим!

— Идите, извиняюсь, к черту!

— Береги себя, милый! И об отдыхе не забудь, дорогой!— напутствовала Тося.

Я наклонился к Тосе, коснулся губами ее тугой прохладной щеки. Жена отстранилась, сама взяла обеими ладонями мою голову и, пристав на цыпочки, жадно и долго поцеловала в губы.

Спортивный Лев крепко стиснул мое предплечье, Николай мимолетно провел по глазам указательным пальцем, как бы смахнул скупую мужскую слезу. Мы прощались, будто мне предстояла дальняя дорога. А может, так и было на самом деле?

Я подхватил чемодан и футляр с пишущей машинкой и шагнул в тамбур электрички.

— Василий, помни: дело чести! Честь превыше всего!— Николай не удержался и метнул мне вслед роскошную звезду из своего несостоявшегося фейерверка.

Но за моей спиной вовремя сошлись пневматические

двери, отсекли меня от города, от нашего недруга Сараева.

Минут через пятьдесят я вышел на платформе в Сосновой, проехав не ахти сколько километров, но ощущение было такое, словно и вправду меня перенесли за тридевять земель, совершенно в иной мир. И здесь мне предстояло сделать то, на что я не был способен в городе.

— Внимание, идет поезд...

Это предупреждение насчет поезда разносится из динамиков станции и висит над поселком с раннего утра. Его читает ровный женский голос с интервалом в полминуты, и затем гремит очередной состав. Он мчится, ошалев, под ним дрожат, прогибаются рельсы — и его только берегись. Но вот наступает отбой, голос умолкает, потому что люди нормальные сладко отходят ко сну, а поздних пьяниц и влюбленных гуляк берут на попечение какие-то неофициальные потусторонние силы, связанные с богом и чертом, они проводят тех, отрешенных, как сквозь огонь и воду, через железнодорожные пути.

Итак, голос умолкает, казалось бы, время тишине, но не тут-то было. Сразу после короткой паузы поднимается беспорядочная пальба, словно кто-то переходит передний край обороны. Стреляют в саду пенсионера Зарытьева.

Это вступает в действие специальный сторож, собранный из четырех охотничьих ружей — по штуке на сторону света,— и обычного провода. Устройство почти гениально: мальчишка на забор, а тут коварный провод. Легкий рывок, и одно из ружей палит, не мешкая, в небеса. Все зависит от того, с какой стороны света он полез — с востока, запада или юга. И север тоже бьет без отказа, ударит так, что гул пойдет до самого города.

Осталось только учесть одно: кроме мальчишек в поселке, как и заведено природой, водятся и птицы, и кошки — тоже активные любители заборов. Но, судя по всему, эта истина оказалась дачному умельцу не по плечу, поэтому над его участком не смолкает канонада, а сам Зарытьев, точно дух севастопольского канонира, мечется с новыми зарядами от ружья к ружью. И заполночь небо начинает казаться дырявым.

И так до рассвета. А утром снова женский голос. Он записан на пленку, и сегодня в этой нехитрой машине

что-то заело. Я вылез из вагона со всем дорожным барахлом, и голос сказал сокращенно: «Внимание... идет»...

Под это сообщение я, человек в общем-то скромный, прошагал от платформы мимо пруда к снимаемой даче. И было мне тесно на пустынной улице. Я невольно подобрался и выпятил грудь, насколько позволял нелегкий багаж. Будто все только и смотрели на меня, стояли за оградой и следили во все глаза. Так мне казалось, потому что голос все время твердил: «Внимание, ...идет!» И как не сбежаться к заборам, если кто-то идет такой, что об этом оповещают на весь поселок, а может, и окрестные леса. Я шел сквозь этот затаившийся строй, как мученик, не зная куда деть свое большое стокилограммовое тело.

Я пнул калитку дачи, протиснулся между столбами и потащил чемодан и пишмашинку по песчаной дорожке, мимо кустов шиповника, вдоль тонких яблонь в зелено-синюю глубь участка, под конвоем здешнего пса Пирата, кличка которого явно не оправдала хозяйских надежд. Неизвестно, достаточно ли он был свиреп в юные годы, но в зрелые он стал само добродушие,— и я тому свидетель. Он, видно, искренне жалел хозяев, потому что формальности ради и ради их утешения беззлобно гавкнул раза два, покосился на меня виновато — мол, не обессудь, видишь сам, какая служба,— и потрусил рядом, путаясь в моих ногах и виляя кривым хвостом.

Я прошагал вдоль забора и, оставив в стороне резиденцию хозяев, вышел к домику, снятому в прошлый короткий наезд. Это было однокомнатное строение из досок, похожее на слегка увеличенный хлебный фургон.

Там еще убирали, и хозяйскую внучку я застал врасплох. Она подоткнула юбку, высоко оголив ноги, и в таком вот интимном виде я ее застиг. Щекотливость ситуации усугубила ее прическа, она растрепалась и сделала смешной эту милую особу. А для женщины такое равносильно катастрофе — показаться смешной. Я это знал по опыту из общения с собственной женой.

— Не смущайтесь, я близорук. Но дабы вы не стеснялись, я выйду. Но прежде дам совет: не мойте пол в вечернем платье, тем более с прической а-ля Софи Лорен,— солгал я со скоростью тридцать слов в секунду и, бросив вещи, выкатился вон наружу.

Там я сел на скамейку, к домику спиной, а внучка повозилась еще некоторое время и потом незаметно, задами ушла. Я долго сидел на скамейке в обществе Пи-

рата и всласть упивался дачным воздухом после уксуса городских дымов. Мои ожившие ноздри осторожно, словно еще не веря, перебирали дивные ароматы, пробуя на ощупь каждый. А все пространство под кронами вокруг было плотно заполнено тихим медовым гулом пчелы. Немного выше, над макушками яблонь, на бреющем полете прокатывалось предупреждение насчет поезда, который где-то идет. Оно волнами проходило над поселком, будто с платформы посылали импульсы и те растворялись вдали.

Потом я вернулся в домик и начал устраивать жилье: положил одно сюда, другое туда, на стол, на подоконник, на пол и на стены. В изголовье повесил портрет жены.

Тося — практичная женщина, и я гнулся набок под тяжестью чемодана, рука висела ниже колена, она нагрузила меня всякой всячиной, на случай, если под городом в дачном поселке посреди лета ее драгоценный муж окажется одиноким как перст, отрезанным от мира, Робинзоном, набила чемодан и консервированной снедью, и теплым бельем, а на дно уложила бутылку столичной.

Я полез в чемодан и нашел ее под черным свитером домашней вязки. Она лежала, глядя безмятежно в потолок, как ни в чем не бывало, пузатенькая посудина с бесцветной жидкостью, будто вечно покоилась здесь, и будто здесь ей было самое место.

Я взял в руки бутылку, простая немудреная жидкость заманчиво переливалась за стеклом и вкусно булькала. Она была прозрачна и чиста, и опасна, точно мина с часовым механизмом. Часы будут тикать, испытывая мою волю, а потом этот домик, укромное прибежище, разлетится в куски. И плакала наша передача.

Как я им сказал на прощанье:

— Р-р-ребята... Сухой закон!

А Тося стояла рядом, слушала все такое и однако ни слова о бутылке. Уж такой она была любящей женой, и это мы упустили из виду. А теперь поглядывай на коварный сосуд и изволь, чеши затылок.

«Впрочем, об чем паника,— подумал я,— всего-навсего одна бутылка, было б чего пугаться — не ящик. Не такая она морока, выпью за один сегодняшний вечерок, и дело с концом. Потом крепкий сон, а утром за работу, словно ее и не было, этой отравы, как обещано друзьям. Так случалось не раз и ничего, миловал бог».

К тому же с первым прикосновением к ее гладкому

боку у меня возникло настойчивое желание выпить. Нечего греха таить — было отчасти приятно то, что она словно свалилась с неба, эта бутылочка. Авось обойдется, снова понадеялся я и вынес бутылку под кустик смородины. Земля под кустиком влажнела и отдавала холодком.

— А ну-ка, Цербер, стереги.— сказал я Пирату.— Эта вещь дороже самой вкусной кости, даже мозговой!

Пират лизнул стекло и мотнул тяжелой башкой, мол, верно, мол, ну бывают чудеса. Он ходил за мной по пятам, неистово крутил хвостом. Казалось, еще оборот, и тот отвалится напрочь. Но пес, видно, знал свои возможности — энергию не жалел. Это придавало известный темп нашей работе — я вертелся живее.

Потом пришли владельцы дачи. Они были деликатны и точно рассчитали время, я утвердился на месте и встретил их уже в роли гостеприимного хозяина. Когда они появились гуськом на смородиновой тропе, я был вполне подготовлен к приему, и даже прическа, предмет моих тягостных ухищрений, оказалась доведенной до совершенства. Каждый волос был натянут, как струна, и сообща они при малом числе достаточно плотно прикрыли раннюю лужайку на темени. Наверно, в целом я выглядел недурно.

Их было трое. Во главе отряда следовала Ирина Федоровна, в древнейшем прошлом, как мне уже было известно, дягелевская балерина. Ей было под восемьдесят, но выправке ее мог позавидовать любой ротный командир. Посмотрел бы он на нее хоть разок и потом сгоряча занимался бы целую ночь собственной строевой подготовкой, а с плаца в темноте только бы и доносилось: «Выше голову и грудь колесом, черт побери!»

Ирина Федоровна опиралась на желтую трость из кипариса, но я думаю, у трости было несколько другое название, где-то близкое к фельдмаршальской шпаге.

Старуху я видел вчера. Мы наезжали сюда с режиссером Николаем и, получив аудиенцию, провели с ней деловые переговоры. Поэтому я сказал почтительно:

— Здравствуйте! Вот и я !

Внучке Жене я только заговорщицки подмигнул, дескать, не выдам. На этот раз она была причесана и в открытом сарафане. В ее подведенных тушью глазах запрыгали веселые искры,— теперь-то ей и самой было вспомнить смешно, какой она выглядела потешной.

Третьим был единственный в этой семье мужчина,

тонкий рыжеватый парень. Он же по совместительству внучкин супруг.

На его юном лице красовался синяк. Он был по-снайперски точно, с размаху, прилеплен прямо под правый глаз. Вероятно, это событие свершилось не вчера, и синяк начинал расходиться, сейчас он напоминал по колеру густые синие чернила.

Я имел когда-то недюжинный опыт по этой части, и знал толк в синяках. Этот синяк был сугубо мужским. То есть взрослым, за что я мог ручаться головой. Мальчик мужал — в этом не было сомнений. Но внучке было неловко за своего юного супруга: мол, бог знает, что подумает постоялец.

— Он ушибся о столб,— сказал она, желая направить мое любопытство по ложному следу.

— Ангел с подбитым глазом,— добродушно проворчала старуха.

А парень молча с достоинством вскинул вверх подбородок. Видно, он заработал свой синяк в честном бою и не стыдился его, как бойцы не стыдятся ран.

Мы с парнем вели себя сдержанно, не превращая знакомство в событие. Не так, как это сделали бы женщины на нашем месте. Но мы были мужчины и держали себя подобающе, молчали, изучая друг друга, чего, дескать, каждый стоит, словно прикидывали на вес. У женщин это вызвало снисходительную улыбку. С их точки зрения мы не сумели использовать случай. Уж они бы из него все выжали, наболтались всласть.

А тут двое здоровых мужчин будто набрали в рот воды, какое-то словесное бессилие, право дело. У женщин просто не хватало терпения смотреть на все это, и они удалились, оставив нас вдвоем.

Тогда-то и начался наш мужской разговор. Он был предельно ужат. Он представлял собой экстракт из нужных слов. Лишние были выдавлены беспощадно, как и положено в истинно мужской беседе.

— Андрюша,— назвался он откровенно.

— Вася,— сказал я по старой привычке и затем поправил себя,— Василий Степанович, точней.

Это реально отражало нашу разницу в летах, но с другой стороны было несколько несправедливо — я ставил его в неравное положение.

— Но, в общем, зовите Василием просто,— уступил я, идя на компромисс.

— Как мы будем? На «вы» или на «ты»?

Он, видно, решал все сразу и напрямик, не терпел неясности. Это подкупило меня, и я дал согласие на «ты». Так были молниеносно определены наши отношения — все моментально оказалось расставленным по своим полкам.

— Значит, будешь у нас?— высказал Андрей очень проницательное предположение.

— Да,— ответил я, как мне казалось, исчерпывающе.

— До осени?— спросил он, предлагая мне быть откровенным до конца.

— До конца работы. Пока не закончу.

— Так,— сказал он, будто понял все.

— В драке?— спросил я после длинной и содержательной паузы, имея в виду синяк.

— Да,— скромно признался Андрей.— Только дрались другие, соседи. Схватились по пьяной лавочке, а я их разнимал. И тот, которому приходилось худо, ударил прямо в глаз. В мой. И сказал: «Не суйся не в свое дело. Я отравил его собаку и, хоть и нечаянно, все равно виноват, а он отводит душу. И ты ему, пожалуйста, не мешай!»

Это сообщение носило особый характер. Оно означало, что он оказывает мне честь своим доверием, и что у нас начались более сложные отношения.

Дальнейший разговор был бы расточительностью, мотовством, разгулом и еще чем хотите, ибо слово настоящего мужчины ценится на вес золота. А мы и без того насорили граммов на двести высшей пробы. На сегодня хватало с избытком, и мы разошлись, испытывая взаимную симпатию.

Вечером я сорвал жестяную крышку с бутылки, выпил традиционную меру в сто пятьдесят, и тело будто растворилось в привычном томлении. Меня потянуло в сад, на скамейку. Я вышел и сел под яблоней, где допоздна сидел и слушал, что вокруг творится, и как поет всякая ночная живность. Тон задавали сверчки. Вначале это было разрозненное соло по кустам, потом они собрались оркестром и затеяли импровизацию. А вдалеке на платформе покрикивал диктор. Голос у магнитной пленки по-ночному слабел, диктора, казалось, клонило в сон, и он конвульсивно, борясь с вяжущей дремотой, вскрикивал тихо.

Я сидел в гигантском зале, на дне глубокой темной чаши и, казалось, был единственным зрителем спектакля «Ночь». Надо мной мерцали немые макромиры. Они

молча манят меня, начав колдовать еще в моем детстве. И с тех пор я ищу то, что приводит жизнь в ход. Я вечный странник и часовщик, который с электронным микроскопом ищет смысл движения среди молекул.

Я сидел один посреди темной пустой арены, на этом поле Куликовом, где тысячи лет тянется сеча между добром и злом, утихая только на ночь. И вокруг разбросаны трупы. Там крестом раскинула руки белокурая честность, ее пригвоздила стрела лжи. Я смутно вижу светлеющие кудри и пышное оперение стрелы. Поодаль чернобородая жестокость с раздробленным черепом. А здесь предательство и верность в ледяном последнем объятии. Валетами ханжество и прямота, глупость и ум. И еще груды мертвых тел. И над ними молчаливый пресыщенный ворон. Но утром с первым светом восстанут обе стороны, и вновь засверкают мечи.

Временами я шел в комнату и выпивал граммов сто. Водка чарующе булькала, медленно проходя через горлышко в стакан. Это был посторонний искусственный звук в ночи, и звучал он для слуха странно.

Постепенно в душу мою вошло умиротворение. Объятый пожарищами мир все равно был чертовски прекрасен. «Вон там,— рассуждал я, снова вглядываясь в звезды,— беспрерывно рождается одно и гибнет другое. И что такое звезда? Рождение или смерть? И то и другое! Там рука об руку и созидание, и разрушение. Ведь в сущности гармония — это сотрудничество созидания и разрушения, добра и зла. И зачем мы кипятимся со своим фельетоном?— спросил я себя благодушно.— Ну есть непорядки на железной дороге, ну нелады в нашей торговле. И что? А вытрезвитель на улице Леонтьева? Подумаешь, мелочь! Нет, мир великолепен в сути своей, и не надо пижонить,— принимай его таким, каков он есть, со всеми потрохами.

Пристанционный диктор бормотал что-то под нос, засыпая, и на смену ему заступил Зарытьев — бабахнул немедля из ружья. Тогда я перешел на кровать и временами проваливался в сон, но вскоре снова выплывал на поверхность и лежал с открытыми глазами. Бутылка была пуста, но я иногда забывал об этом, вставал и подносил горлышко к губам, но оно было шершавым, сухим.

Потоптавшись, я вылезал наружу, смотрел на луну и слушал, что творится в кустах. В короткие промежут-

ки, когда стрельба у Зарытьева умолкала, становилось тихо, и было слышно, как живут кусты. Там всю ночь кто-то неутомимо возился, трещал и скрипел. Ко мне приходил Пират — я угадывал его по дыханию — и ложился у ног, разделяя со мной компанию. А в ушах возникал новый звенящий звук. Он нарастал, вытесняя остальные. Будто в ухо залез сверчок и там залился на одной и той же нудной ноте.

Я пытался стряхнуть этот назойливый звон, но его источник засел глубоко в голове — предвестник утреннего похмелья.

Потом я увидел чертика Толю. Он стоял на ветке, покачиваясь вверх и вниз, точно на качелях, этакий ладный паренек в ковбойке, белесый и с веснушками по всему лицу.

Я отвел глаза и, когда взглянул на ветку снова, след его простыл, лишь качалась ветка. Видно, черт не набрал еще силы и, ослабев, вернулся в свои тартарары.

Он где-то долго пропадал, мой непрошеный гость, точно в воду канул за месяц до того, как нам разрешили эту передачу.

И вот теперь через полгода мелькнул и исчез, не сказав ни слова. А раньше от него не отлипнешь, бывало, особенно когда Сараев одерживал верх, и наши дела казались из рук вон плохи. Тогда он спасу не давал, усядется напротив за столом и с намеком щелкает себя по горлу.

— Скинемся,— говорит,— ну, Вася, по банке на брата? И на угличскую, то есть минеральную.

— Уйди отсюда, Толя,— отвечаю,— надоел, терпения нет. Имей совесть! Две выдули бутылки, словно молоко.

А он гнет свое, не унимается. Стянешь туфлю с ноги и в него что есть мочи. Штукатурка валится вниз, но ему хоть бы что — сидит, щелкает себя по горлу, предлагая выпить. Ну что ты будешь делать с ним?

Я настороженно подождал, но он не являлся. Не та еще основа, пол-литра водки, чтобы он прочно стоял на ногах. Я по-черному не пил давно, так, чтобы дать развернуться чертику Толе.

Похмелье подступило на рассвете, стало у кровати на часах, карауля мое пробуждение. Когда проснусь, оно вцепится в волосы и закрутит-завертит вокруг оси на-

литый болью череп, точно чугунное ядро. Я чувствовал его затаенное присутствие сквозь дрему и пытался обмануть, пробуя не просыпаться, цепляясь за сон, точно за песок. Так мы проиграли в кошки-мышки до позднего утра.

Я елозил с боку на бок, обхватив подушку, будто плавал в расплавленном олове, держась за спасательный круг. Это прижарило солнце. Оно било через окно прямой наводкой, наведя в упор слепящее жерло.

Часов в двенадцать пришлось выкинуть белый флаг — устали ребра и спина. Я поднял голову, и пол бросился на меня, целя в лицо. Пришлось напрячь все зрение и ценой неимоверного усилия задержать на полпути взбесившуюся плоскость. Пригвожденный сузившимися зрачками пол послушно застыл под наклоном в двадцать градусов. Эта операция потребовала большого расхода сил, и пришлось отдохнуть, прежде чем решиться на очередное движение.

Потом я опустил ватные ноги на пол, медленно оторвался от постели и вышел на веранду. Дневное солнце опалило ослабевшие глаза оранжевым протуберанцем. Я прикрыл их ладонью. Я был тих и беспомощен. Моя воля раздавлена, и тело во власти простого дуновения. Появись сквозняк на минутку, и меня бы мигом выдуло в сад и там с размаху прилепило к стволу, будто высохший кленовый лист.

И дернул леший меня. Досадно! Я не был ни на что пригоден, почти равен нулю. Мина взорвалась и вывела меня на время из строя, вот какую жена оказала медвежью услугу любимому муженьку. Но огорчать ее ни к чему, Тося, конечно, таяла от восторга, готовя сюрприз, она, бедняжка, небось воображала, как вспыхнут мои глаза при виде прозрачной красавицы, когда я отброшу черный свитер, точно одеяло с девичьей постели. И то, что она подрывает этим нашу работу, Тосе, разумеется, было невдомек. Но разве можно строго судить любовь и доброту? К тому же первый день и так был обречен, он был пропащий во всей своей основе. Как ни крути — иначе не выходит: устройство и все остальное, вытекающее из этого. Пока разнюхаешь где что, столовая и прочие бытовые объекты, глядь, кончен день, а там заваливайся набок. И это сгоряча я наобещал с три короба коллегам. Ну что, с утра возьмусь за дело в поте лица своего. А завтра день пойдет своим чередом, и для друзей

мой срыв останется тайной до гроба. Все будет шито-крыто, только замести следы.

Я потаенно пробрался с пустой бутылкой, единственной уликой моего вчерашнего падения, за сарай с дровами и, старый конспиратор, спрятал ее в зарослях бузины.

В общем, на то он и первый день, на всякие помехи, рассуждал я, возвращаясь к себе. Так заведено в природе,— не появись одно, наверняка помешает другое. Но вечерком я постарался на славу, и бутылки нет — то есть сметено препятствие, сметено с дороги, а рано или поздно ее все равно предстояло осушить. Теперь ничто не помешает закатать, как следует, рукава и взяться за дело. Только бы привести себя в порядок и, главное, выдержать сутки, не пить, пересилить жажду.

И потом, почему я должен пыхтеть над сценарием, сказал я себе. Да ну его к дьяволу! Мало ли мной уже упущено в жизни? Мог сделать, а не сделал, пропустил. Одним деянием больше — другим меньше, какой тут счет? Обещал коллегам? Скажут, слюнтяй? Ну и слюнтяй. И ничего с этим не поделаешь, не все же из стальной брони.

Да нет, еще рано сдаваться, я напишу сценарий, а ребята поставят передачу, сказал я себе. И нечего распускать нюни. Подумаешь, расклеился от одной бутылки.

Я подставил отяжелевший затылок под кран. Холодная струя разбивалась о темя, словно о булыжник, и падала дальше в три потока. На втором этапе самоврачевания был проглочен кружочек пирамидона, и не мешало б за ним отправить второй для усиления заряда, но таблетка оказалась последней. Я шаманил над собой и так и этак, пил, глотал, стоял на голове и грел прохладные дверные ручки и стекла лбом. Потом, стараясь не смотреть на подоконник, отправился пошляться по воздуху. Воздух и вода — единственное, что принимал мой потрясенный организм. А на подоконнике лежали консервы, но одна только мысль о еде вызывала тошноту.

Я шел по тропинке вдоль цветочных газонов, они благоухали, очевидно, вовсю, а нос мой переводил это неистовство ароматов на грубый солдатский язык больницы. Флоксы запахли эфиром, от жасмина разило густой карболкой. А дух валерьянки так и бил в ноздри.

Он крепчал с каждым шагом, будто я погружался в густой раствор.

Я отвел куст шиповника и, зажимая ноздри, вышел на лужайку. Здесь пиршествовал Пират. Он страстно лакал из жестяной миски, а балерина то и дело что-то подливала из пузырька с сигнатуркой. Она сидела на скамье для ног, и стан ее был прям, как столб. Она «держала спину».

— Врачуете?— спросил я с усилием.

— В некотором смысле да,— подтвердила старуха и подняла голову.— О, вам не по себе? И вид у вас, будто вы отметили свой приезд. И при том немножко лихо. А? Признавайтесь!

Голос у нее был добродушен, будто ей льстило все это, ну то, что я невольно обмыл новоселье на ее дачном участке.

— Просто головная боль. В пору вашей юности это называлось мигренью,— как можно уверенней соврал я.

— Ну, ну. Меня не проведешь. Мой глаз на это наметан,— засмеялась Ирина Федоровна и шутливо погрозила сухим длинным пальцем.

— У меня насморк. И к этому же хроническая бессонница.— Я поспешно укрепил свою оборону новыми бутафорскими кирпичами.

— Только что он...— балерина жестом государственного обвинителя указала на пса,— принес пустую бутылку из-под столичной и сложил к подножию моего крыльца, словно это была бесценная вещь. Спрашивается: как она попала на мой участок, если у нас никто не пьет? Может, бутылка упала с неба? Сама?

«Ах, Пират, Пират, наверное, быть другом человека не так уж и трудно. Особенно, если он тебя кормит. Сложнее дружить со всеми людьми. Будь, Пират, другом людей!»— мысленно сказал я собаке, но та увлеченно трудилась над миской.

А балерина, лукаво прищурясь, ждала ответа.

— Спрашиваете, отвечаем,— сказал я.— Вы правы: бутылки сами не падают. Их бросают. Некто, пожелавший остаться неизвестным, проходя ночью мимо вашей дачи, выпил остаток водки, а бутылку забросил в кусты, за вашу ограду. Не тащить же ее домой?

— Может, было и так,— засмеялась балерина.— Тем более, что рассказываете со знанием дела. Не отчаивайтесь,— предупредила она, неверно истолковав проте-

ствующее движение моей руки,— я вас не осуждаю. Ибо знаю: мужчине необходимо!

— Не так уж и позарез. Можно обойтись и без этого,— возразил я, трогая виски.

— Пейте на здоровье! Не стесняйтесь,— повторила она по-матерински.

Пес поднял голову и вопросительно посмотрел на хозяйку. Миска была пустой.

— Ишь, пьянчужка. Так он пить не хочет. Вот если в пищу повкусней, тогда еще куда ни шло,— пожаловалась старуха.— Дурачок. А ну-ка попробуй,— и она снова наклонилась к миске, все так же не сгибая стан.

В нос ударило валерьяной, перехватило дыхание. Я зажал ноздри и пустился наутек.

— Не пьет, негодник,— произнесла старуха запоздало.

Я целый день слонялся по поселку и в глазах рябило от здешней архитектурной пестроты. Это была вакханалия стилей, разноголосица вкусов. Тут суровые крепости военных соседствовали с легкомысленными теремами оперного театра, более похожими на декорации, перед которыми переодетые в старые драные спортивные костюмы артисты разыгрывают идиллические сцены из дачной жизни. Среди этого архитектурного карнавала встречались и конструкции, совмещавшие все стили, начиная с курной избы и кончая стеклянно-металлическим кубизмом. Кривая зодческого мышления, наверное, объяснялась взлетами и падениями семейных финансов. Нет денег — строй лачугу, есть деньги — и можешь одеть ее, лачугу же, в вычурное барокко.

Я брел по кривым улицам, по ковру из пыли и подорожника, обходя стороной торговые палатки. Пальцы мои мелко и жадно дрожали, а тело было сухим, точно старая бумага. Казалось, наведи увеличительное стекло, и оно задымится, вспыхнет бесцветным огнем. И утолить его могла только сладчайшая сорокаградусная и даже портвейн из суррогатов. Он на все был согласен, организм, хоть подавай политуру.

А палатки поджидали на каждом шагу. Еще вчера их было раз-два и обчелся, но за ночь они вымахали, словно грибы после парного ливня, торчали там и сям со своими темно-зелеными крышами. И на витринах бутылки в ряд, этикетки видно издали. Невзрачные вроде этикетки, и буквы скромны, но каков при этом зрительный эффект, если читаешь за версту, что за напиток и

сколько содержит градусов. И каждая палатка точно магнит — так и тянет, так и тянет к себе.

Завидев фанерную шляпку, я огибал ее, описывая широкий круг, стараясь не заступить ногой в силовое поле торговой точки, и шел по соседней улице, пока не натыкался на следующий ларек. Мой маршрут походил на трассу гигантского слалома.

Любой ценой мне надо было продержаться этот день, не взяв ни капли. А соблазны стерегли за каждым углом.

Я удачно спасся от очередной палатки, когда меня окликнули с участка, где возводили нечто среднее между избушкой на курьих ножках и Тадж-Махалом.

— Эй, мужик!

Верхом на стропилах будущего храма сидел мужчина в новой сиреневой майке. Он, точно рында, держал у плеча топор и свободной рукой делал мне знаки — подзывал к себе.

Я вступил через открытую калитку на участок и, задрав голову, на всякий случай уточнил:

— Мужик — это я?

— Ты случайно не «примкнувший к ним»? — спросил мужчина и воткнул топор в стропила.

Решив протянуть время, я взглянул на его босые жилистые ноги. Они свисали безвольно, плетьми. Перехватив мой взгляд, мужчина подобрался, по-кавалерийски уперся мозолистыми подошвами в несуществующие стремена.

— Ну так как? — повторил он напряженно.

— К кому это «к ним»? — спросил я, прикидываясь простаком.

— Фу ты, все же ясно,— подосадовал мужчина.— Ну, двое есть. Я, как видишь, сам и один бывший солист театра. Говорит, бас-баритон. И нужен третий, к нам примкнувший. Разве непонятно?

— А зачем примыкать? — валял я дальше дурака, а в горле моем так сразу и пересохло.

— Ты что, с луны? — удивился мужчина и даже перекинул ногу через стропило.— Ты что, не играл в игру «трое по девяносто шесть копеек»?

— Впервые слышу,— произнес я с трудом.

— Тогда извини. Значит, обознался. А с виду будто наш,— и мужчина с ожесточением выдернул топор, на меня он даже не смотрел, совсем потерял интерес.

Нелегкая принесла меня на здешний пруд. Здесь, в

зеленой воде стояла тучная женщина и терла губкой худенькую девочку с косицами. Да еще резвились с банными криками загорелые мальчишки, и посреди пруда застыла лодка с мужчиной и женщиной на борту. Ее пассажиры были тоже недвижимы, словно кто-то посадил две куклы и так оставил судно на застывшей глади. При моем появлении тучная женщина прервала свое занятие и уставилась на меня, словно ей явился святой мученик. Девочка застенчиво скособочилась и засунула палец в рот.

Я потрогал водичку рукой и лег на траву. Вода была теплой, густой, и на благодать от нее нечего было рассчитывать.

Дремота разморила пуще, я встал, отряхнулся и пошел на платформу, продолжая поиски панацеи.

В такие минуты я всегда испытывал к себе омерзение, к своим вялым мышцам и к тяжелой отупевшей голове. А мир вокруг казался враждебным, каким-то колючим, полным скрытых ловушек.

На подступах к платформе глуховатые и якобы непонятливые старушки торговали редиской и луком. Они мочили редиску в ведре, и та воскресала из тлена, становясь на вид тугой и глянцевитой. Ее бока нежно и молодо рдели, а носик снежно белел, вызывая в ушах представление о сочном хрусте. Такой она, вероятно, выглядела для остальных, эта редиска,— заманчиво вкусной.

Я приобрел один пучок, выполняя долг перед организмом. На самом деле редиска была вялой, как вата, и ядовито-горькой.

Я стоял, утопая подошвами в шелковой пыли, долго механически жевал редиску и смотрел на платформу. Там притягательно синел свежей краской аптечный киоск, но редиске не было конца.

Покончив с проформой, изображающей завтрак, я отбросил ботву под забор, в полынь и, не сводя глаз с киоска, направился к платформе. А навстречу мне катила мощная волна, людское цунами.

Это с ревом прилетела электричка и точно окатила платформу потоком людей. Дело шло к вечеру, и народ возвращался с работы.

Я прокладывал путь через толпу, глядя поверх голов на киоск, борясь со встречным напором. Наконец волна схлынула, освободила русло для нового девятого вала.

И теперь только шел по платформе одиноко хозяйский зять Андрюша.

Солнце, раздувшись докрасна, уже сидело на острых макушках сосен, за спиной Андрея, и потому казалось, будто парень идет на ходулях, такая у него была длинноногая тень. И еще казалось, будто он идет в темных очках. Но это могло провести лишь невежду. Я-то издали понял, что зять балерины схлопотал второй синяк. Точно за тем и ездил в Москву — за вторым фонарем для полной пары. Не человек — автомобиль. Новенький синяк назрел уже спелым соком, был заметен за полсотни шагов, бросался вызывающе в глаза. И, вероятно, проступил немедля, словно его обработали проявителем.

Мы поравнялись, и Андрюша взглянул на меня коброй.

— Это же очень плохо? Злоупотреблять?— спросил он, даже не здороваясь.

— Конечно, плохо. В любом случае.

Я ждал разъяснений, но он повернулся и пошел дальше, видно считая дискуссию исчерпанной. Настолько дорожил он словом, отпустил по лимиту — и будь здоров.

В киоске водился один цитрамон. Я заплатил за пачку и проглотил таблетку тут же насухо, не отходя. Таблетка была диаметром с двухкопеечную монету и поначалу застряла где-то на полпути. Я постучал по груди, и тогда она провалилась в желудок, как в таксофон.

— Грипп?— спросила продавщица.

— Нечто вроде.

— Если продуло в электричке, не спасет никакой цитрамон. Тут радикальное средство — беленькая с перцем. Только чтобы он не осел, перец,— дала совет продавщица.— Пейте сразу, пока он во взвешенном виде, на плаву.

Она невольно угодила в рану, разбередила ее.

— Спасибочки,— сказал я, кривясь.

— Рюмка с перцем,— напомнила она, и, уходя, я слышал, как она звонко щелкнула пальцами, выражая одобрение этому средству.

По дороге я зашел на почту и написал жене:

«Дорогая! Я жив и здоров. Работаю не покладая рук, так и передай коллегам. Если встретишь, разумеется, ненароком. За подарок спасибо. Выпил за твое

здоровье! Только ты не беспокойся. Здесь имеется все». И под словом «все» провел четыре жирные черты.

Я выбежал из душной почты на крыльцо, и тут моей выдержке пришел конец.

Даже самый паршивый местный вермут, от которого несет лесными клопами, казался мне сейчас чудеснейшим бальзамом на свете. Он был само божественное благоухание, он был неземной музыкой. Да, черт возьми, он сулил простую человеческую благодать, когда всего-навсего не болит голова. А этого разве мало?

«Проклятье, дожил,— подумал я,— не могу себе позволить рюмку, до чего дошло. И угораздило меня связаться с этим фельетоном. Сидел бы сейчас дома, писал передачи для домохозяек и в ус не дул: закончил рабочий день и пей без всяких забот.

Ну это слишком. Ну, это я перегнул. Хочешь выпить рюмку, выпей, но не святотатствуй. Компромиссы придуманы для таких, как ты».

Я свернул к ларьку и попросил стаканчик того самого местного вермута, который пахнет лесными клопами.

— На разлив не продаем,— отрезала продавщица.

Видит бог, я не хотел этого, но пришлось купить бутылку целиком.

Возвращаясь, я увидел Женю. Она стояла у калитки, в ногах у нее лежал Пират, бил хвостом о песок. Женя ждала кого-то, сделав из ладошки козырек. Солнце давно исчезло, но, видно, так ей казалось надежнее — смотреть из-под ладошки вдаль.

Я собирался было проскользнуть в калитку, пряча бутылку за спиной. Но Женя вдруг заступила дорогу.

— Не думайте плохо о муже. Эти синяки совсем другие, не те, как вы считаете, наверно. И первый тот. И второй. И те, что были раньше,— сказала она горячо и собой заслонила калитку, будто предложила выбор: или верь, или полезай через забор где-нибудь с черного хода в противном случае.

— Значит, это событие надо толковать таким образом: он всего лишь каждый раз суется не в свое дело. Не так ли?— предположил я, словно ученик, пытающийся выведать у экзаменатора правильный ответ.

— Вот именно,— подтвердила она, и вместо того, чтобы радоваться взаимопониманию, вдруг загрустила.

Она посторонилась и тем самым зашла с фланга, ед-

ва не застав меня врасплох, я вовремя перекинул бутылку из руки в руку.

— Он и со мной познакомился через синяк,— призналась она с тоской.— Мы с братом были на пляже. Дурачились, обсыпали друг друга песком. А ему, Андрею, почудилось, будто брат относится ко мне без... почтения, в общем. Ну он и вылез из воды. А у брата разговор короток, развернулся да и мигом отштамповал Андрюше синяк. Как на производстве. Пришлось ставить холодный компресс из галек. Выкопаешь из песка поглубже и под глаз. С этого все и началось. Жалко его стало из-за синяка. А сколько их было с тех пор, не сочтешь. Прямо как звезд на небе.

— Ерунда,— сказал я, утешая.— Через такое надо пройти. Обязательный курс для мужчины. Вот только берется он не за тех. Бьет в добро! Редкое невезение! Но наступит время, и ваш супруг попадет в достойную цель. Главное, чтобы он до тех пор не сломался, не упал духом!

— Спасибочки! Называется успокоили,— холодно поблагодарила Женя.— А мне от ваших слов нисколечко не легче.

— Ага, вы против драк вообще? Без разбора!

— Словно без них нельзя обйтись! Можно подумать!

— Иногда нельзя... Женечка, поймите! Потом у него такой возможности не будет! Драться со злом! Потом появятся дети... болезни. Должность, которой не хочется рисковать. Но что хуже всего, собственные грехи. Они лишают права драться. Ты сам становишься частью зла. Так что не мешайте, наберитесь терпения... К прискорбию, это быстро проходит,— с грустью вырвалось у меня, я забылся, чуть не вытащил из-за спины руку с бутылкой.

— Жаль, я не знала этого раньше. Я бы лучше потерпела до ЗАГСа!— Женя круто повернулась, зашагала прочь, по дорожке.

Я ждал, когда разгневанная молодка повернет за кусты. Еще пару шагов, и она оставит меня наедине с бутылкой, но тут Жене взбрело что-то в голову. Она остановилась, потрогала ветку шиповника. Да заковыка-то была не в шиповнике вовсе. Ее выдавали лопатки, напрягшиеся под узкими бретельками сарафана. Они будто настороженно следили за мной.

— А вы-то сами окончили этот курс? Для мужчин?— вдруг заинтересовалась она, оставаясь ко мне спиной.

— Да как вам сказать? Всякое бывало,— уклонился я от прямого ответа.

— Ну, а прок какой? Стали уязвимы?

Так, так, не было ли это намеком на бутылку? На всякий случай я спрятал ее за спиной еще понадежнее, прикрыв второй рукой.

— Видите ли,— сказал я, стараясь придумать что-нибудь получше.

Но Жене, видно, были ни к чему мои соображения на собственный счет, она резко отпустила ветку и пошла себе дальше. А ветка со свистом стеганула воздух, почти перед моим носом. На всякий случай я отвел голову назад и окликнул:

— Погодите!

Она оглянулась, удивленно подняла брови: мол, о чем еще можно толковать, все будто бы ясно.

— Видите ли...— начал я, подбирая слова, как можно правдоподобней — ...мне эту неделю... а может, дней десять... девять... предстоит большая работа... даже по ночам... днем спать... Придется как бы засесть в норе... Вам это может показаться странным...

— Почему? Вы для этого сняли,— просто ответила Женя.

— Словом, не хотелось, чтобы мне мешали... Понимаете, меня как бы нет,— сказал я, ободренный успехом.

— Хорошо. Я передам бабушке.— И Женя скрылась за кустами.

Дома я набросился на бутылку, как зверь, сбил с пробки сургуч и глотнул прямо из горла, настолько яро головная боль взяла меня в оборот. Будто ее выводило из себя то, что я еще жив и невредим.

Потом в сумерках я сбегал с чемоданчиком в ларек и притащил запас бутылок. И тут наладился конвейер: граммы прыгали в рот, выстроившись в очередь, точно воздушный десант...

На второй запойный день я совершил несусветное — попрал собственный святой закон, укрывающий меня, пьяного, от посторонних глаз. Он гласил: пей в своей берлоге, не вылезай за порог! И вот я впервые им поступился,— вылез в город, видите ли, мне понадобилось задать некий вопрос некоему Зипунову, видите ли, не мог это сделать на трезвую голову. Впрочем, и впрямь не мог, не хватало духа. А вот по пьяной лавочке другое дело... Словом, приехал в город, на чем и как миновал все рифы не помню. Обнаружил себя живым и невреди-

мым, только был испачкан мелом рукав моего серого в полоску пиджака — у кривого ствола старого пыльного тополя, росшего перед подъездом одноэтажного кирпичного особняка, крашенного известкой. Здесь, в одной из квартир, жил Зипунов, но сейчас его не было дома, я откуда-то это знал и напряженно вглядывался в перспективу тихой улицы, в ту сторону, откуда — и это мне тоже, оказывается, известно — должен появиться он, человек, державший в руках мою тайну...

Зипунов точно поразил меня молнией от темени до пят, когда впервые сказал об этом. В ту пору о нем ходила слава чудо-хирурга, будто бы он определял хворь с первого взгляда, больной еще в дверях, не переступил порог — «доктор, можно?»— и диагноз уже у него в голове. И был он словно бы большой оригинал и добродушный грубиян, будто бы мог ошарашить больного вопросом: «Бабу хочешь?.. Вижу, хочешь, значит, практически ты, братец, здоров». О руках его и вовсе слагали легенды, дескать, завяжи ему глаза, и все равно Зипунов и вырежет, и зашьет лучше не надо, мол, и случай был на самом деле: погас в больнице свет, так он не дрогнул и довел операцию до успешного конца. Впотьмах-то! Ну, может, один из ассистентов, из курящих, запаливал спички и так светил. Из страждущих лечь под его нож, слыла молва, возникла длинная очередь, коей можно, при согласии пациентов, обмотать земной шар. На экватор, наверное, не набралось, а на параллель, на которой стоял наш город, уж точно этого живого обруча хватило бы с лихвой. К этим слухам, как острая приправа, добавлялись и другие, их передавали, понизив голос с неизбежным «кто бы мог подумать»... Лично я старался не верить в такие наветы, уж слишком уважал врачей. Но однажды мне позвонили из студийной проходной, незнакомый мужской голос молил о немедленной встрече. Помнится, в тот день меня волчком кружила редакционная суета, мы то и дело совещались, ходили из комнаты в комнату, выясняли отношения друг с другом, с авторами передач и с постановочной частью. А впереди маячила репетиция, как говорят, по всему тракту. Тут и вздохнуть-то некогда... Я так ему и сказал, предложив увидеться завтра. «Только сейчас!— завопил проситель.— Больше я никогда не решусь... Видите ли, я — патологический трус»,— прошептал он смущенно.

«Ну что ж, хоть перекушу за беседой»,— подумал я,

выписал пропуск и сам же отнес в проходную. Однако на пороге буфета непрошеный визитер попятился назад.

— Что вы? Здесь люди!.. Я хотел бы с глазу на глаз. Строго конфиденциально!

— А разве это не одно и то же?— съязвил я, наверно, не совсем справедливо, но попробуй быть таковым, если у тебя, можно сказать, вырвали из рук ложку.

— Извините, я не хотел...— оробел мой будущий собеседник.

Он мог бы не посвящать меня в свою тайную тайных, трусость лезла изо всех его пор, сквозила в каждом жесте. Он и ростом был мал, и сложением хрупок, и волосом беден. Его короткие черные брови когда-то в испуге взлетели вверх и так и застыли почти под жидкой прической.

Деловая атмосфера студии, казавшаяся еще более деловой, потому что каждый не только работал, но и вдобавок играл роль работающего человека, вконец подавила его волю. Когда нам в коридоре встретился новичок-осветитель, совсем еще желторотый юнец, мой спутник раскланялся подобострастно, словно с министром.

Я привел его в свободный просмотровый зал, усадил на стул. Он тотчас с опаской уставился на пульт.

— Товарищ конфидент, не будем терять время. Начинайте!

— Я дал взятку!— выпалил конфидент и у меня на глазах покрылся холодным потом.

— Та-ак,— протянул я.— Явка с повинной. А говорите: трус.

— Трус, и еще какой! Именно поэтому и дал взятку. Испугался смерти. Был бы храбрее, не дал.

— Вам угрожали?

— Ну что вы?! Я решил сам. Если уж операция, то только у него. Но к нему не пробиться... просто так. Я и предложил. Он согласился. Назвал сумму.

— Врач?

— Да.

— Вы обратились не по адресу. У нас, на телевидении, принято демонстрировать положительное, зовущее вперед. Негативное — редкость. Такая уж издавна завелась традиция. Лично мне она не по душе, но традиции — не моя прерогатива.

— Но я читал и ваши фельетоны. В областной газете. Они... смешные.

— Случайные эпизоды. И, как правило, на безобидные темы. К примеру, хорошо бы поставить телефоны-автоматы специально для влюбленных. Пусть воркуют на здоровье. Этакий святочный фельетон!.. Да вы же сами говорите, читали.

— Но ведь для них, молодых, это и вправду важно,— смелее возразил конфидент. А может, не он, а я его конфидент.

— Значит, врач принял взятку? И долго он колебался? Может, вы упорно настаивали?— вдруг заинтересовался кто-то сидящий во мне.

— Он не колебался. Я говорил: он сам назвал цену.

— Кто он? В какой больнице?

Делать нечего, я полез в карман за блокнотом, мысленно себе говоря: « Зачем тебе это нужно?»

— Зипунов... Геннадий Егорович,— запинаясь произнес человек, именуемый далее взяткодателем.

Странно, но вот ему-то я поверил сразу.

— Разумеется, свидетелей нет. Вы были с ним один на один. Как и мы с вами. И когда договаривались. И когда передавали деньги.

— А вы откуда знаете?!— поразился взяткодатель.— Вас не было с нами?

— К сожалению. Иначе бы я записал ваш диалог на магнитофон, процесс вручения взятки снял на кинопленку. Рапидом, нынче он в моде. Представляете: руки, его — сильные, хищные, и трясущиеся ваши. Крупным планом. Но поскольку мне это не удалось, бороться мы будем старыми, добрыми прадедовскими методами.

— Я бороться не буду. Боюсь!— торопливо предупредил взяткодатель.

На душе у меня почему-то отлегло, мне бы и остановиться на этом, но я, однако, спросил:

— Зачем же тогда вы затеяли все это?

— Тоже от страха. Совести боюсь. Я живу теперь будто за взятку, не по закону как бы... Но готов понести... даже высшую меру. Только вы без меня, сами.

— Без вас ничего не выйдет. Лучше сразу поставить точку!— Я, чуть ли не радуясь, захлопнул блокнот.

— Не поставите!— ликуя возразил взяткодатель.— Теперь вы не сможете спать, есть спокойно. Пока мы с Зипуновым ходим по земле!— закончил он садистски.

Он угадал. Рядом разбойничал хирург-клятвоотступник, мысль об этом тихо, исподволь точила мой мозг, словно древесный жучок. И я не выдержал, отправился

в больницу, где Зипунов чинил тела пациентов и убивал их души. Не буду вдаваться в скучные подробности своего журналистского расследования. Мне удалось, не вызывая подозрений — как тогда казалось,— опросить его бывших пациентов. Оценив вместе с собеседником мастерство Зипунова-хирурга, я интересовался Зипуновым-человеком, и каждый раз получал один и тот же, будто под копирку, восторженный ответ: «О! У Геннадия Егоровича золотое сердце!..» И кое-кто при этом отводил в сторону взгляд, боялся выдать подлинные чувства. На таких я осторожно спускал себя с цепи: «А говорят, будто бы он дерет с больных деньги». «Ну что вы?! Злые сплетни! Геннадий Егорович не тот человек!..» Но я был терпелив, как рабочий индийский слон, настырен, словно серая архивная мышь, и удача распахнула передо мной свои кованые ворота. Он не был господом богом, Зипунов, один из его пациентов, некий Бузулев, сойдя с операционного стола, через месяц умер. Его мать обвинила хирурга. Женщина заплатила Геннадию Егоровичу деньги и потому считала себя не только несчастной, но и бессовестно обманутой и пыталась отомстить, ходила к прокурору, но там ей не было веры, и я быстро понял — почему: святые понятия «правда» и «справедливость» в ее устах принимали обратный смысл. С тех пор минуло пять лет, но жажда мести не гасла, может, только слегка укрылась тонким слоем золы. Когда я впервые пришел в ее не бедную двухкомнатную квартиру, Бузулева встретила меня, как изрядно задержавшегося в пути посланца Немезиды. «Сама за решетку пойду, а его упекем. Пишите все и даже более того, я все подтвердю»,— заверила хозяйка, не дав мне и как следует разместиться на стуле. Она и внешне олицетворяла мощь и напор, коренастая, точно составленная из обкатанных послеледниковых валунов. Ее короткие руки были оттопырены поборцовски, слегка на отлете. «Я от другой особы,— возразил я, сразу ставя точки над «и».— Я служитель Истины».

У Бузулевой нашелся свидетель, о существовании которого она не подозревала до сего дня. Я нащупал его в мутном потоке ее повествования и после двух-трех вопросов вытащил из водоворотов на берег. После символической сушки и чистки перед нами предстала хрупкая, почти фарфоровая веселая старушка, продавщица газет из киоска, установленного на окраине города. Покупателей в тот час не было, и она, одиноко коротая время в

сумерках своего киоска, видела, как женщина передала деньги мужчине. Вышло у них это забавно, ей и сейчас смешно. Женщина держалась как-то неловко, выронила сверток из рук, и гулявший понизу ветер тотчас разметал купюры, понес трешки, пятерки, закружил точно какие-нибудь рядовые листья, женщина гонялась за ними, словно угорелая, мужчина ей помогал, такой импозантный. Ну как же, продавщица узнала его с первого взгляда, Зипунов известный в городе человек. Он сердился на женщину-недотепу, ворчал: «Неужели крупными не могли принести? Вы бы еще медью собрали»... Они мешали друг другу, сталкивались лбами. Потом хирург торопливо распихал деньги по карманам плаща, сел в машину марки «Волга» и укатил, бросив даму на тротуаре. Такое зрелище — хочешь не хочешь — запомнится на всю жизнь. «Тем более, что...— тут продавщица многозначительно помолчала, глядя на нас узкими смеющимися глазами,— к вечеру Зипунов объявился снова. Приехал и говорит: «Ну как мы ловили деньги, а? Умора? Представляю, как вы потешались». А сам веселый такой. «Я,— говорит,— и сам не прочь посмеяться над собой, да знаете, какой подозрительный народ, эти пациенты?.. Хирург может быть всяким, но только не смешным. Неуклюжий хирург, хирург-клоун... Нет, ему жизнь не доверят...» «Не бойтесь,— говорю,— это останется во мне». А он: «Спасибо, я вам верю. Вы хороший человек, так и хочется сделать вам что-то приятное. Что-то на память о нашей встрече. Но подарок женщине для меня прямо беда, не знаешь как угадать... то или не то... Не обижайтесь, купите сами, на собственный вкус». И кладет конверт, как помню, на журнал «Физкультура и спорт». Грешна, не удержалась, заглянула в конверт, а там все те же пятерки и трешки... Как теперь я понимаю, он хотел сделать меня свой соучастницей. Но я отказалась. «Ни за что»,— говорю.

Казалось, хвост хищника, сильный и гибкий, уже был в моих руках. Но только казалось. Я-то знал, как скользок этот хвост. А вывернется — врежет тебе бумерангом в лоб. И... слава богу. Я знал и другое: бывало, сколотившись в шайку, подонки оговаривали честных людей... Словом, подошел черед встречи с моим возможным героем. Я позвонил, и Зипунов охотно согласился на встречу.

— Когда... когда...— Он умолк, наверно, листал календарь.— К сожалению, на этой неделе у меня распи-

сана каждая минута... А если прямо сейчас? Совершенно незапланированная пауза... Можете? Вот и чудно!.. Приезжайте. Отделение хирургии... Герой, как говорится, на трудовом посту. Кажется, вы, журналисты, это любите? Я угадал?

Он был настроен игриво, ему явно мнился очередной панегирик. Я подтвердил: да, мы — такой народ, нам подавай героя не иначе как со скальпелем в руках или в кабине портального крана,— и через двадцать минут уже воочию зрел своего недавнего телефонного визави.

Зипунов и внешне соответствовал образу модного врача, этакий барин с насмешливо-холодным взглядом. Под белым безукоризненно отглаженным халатом угадывалось стальное тело теннисиста. Однако в складках острого лица и серых глазах залегла многолетняя усталость. Он и сейчас жил своей работой, с которой его связывала вторая матово-стеклянная дверь. За дверью слышались голоса, позвякивал медицинский инструмент. Говоря со мной, хирург то и дело поводил тонким почти прозрачным ухом, непроизвольно прислушивался к тому, что происходило по ту сторону двери.

А встретил он меня, стоя у письменного стола, будто заранее подготовил эту позу, и первые секунды, точно легкими прикосновениями пальцев, ощупывал взглядом мое лицо.

— И. Доброзловский?— осведомился Зипунов, словно выстрелил в упор.

Он назвал псевдоним, которым я когда-то подписывал свои воскресные фельетоны. Из него я секрета не делал, однако и не распространялся особо о том, кто получает за «И. Доброзловского» гонорар, знали только в нашей газете, ну и, может, с дюжину журналистов, сующих повсюду нос. Но все они остались в Москве.

— Прошу.— Хирург указал на стул, наслаждаясь выражением моего лица и, сам, показывая пример, сел за письменный стол, на свое привычное место.— Итак, что вас интересует? Беру ли я взятки? Ну, судя по всему, в этом у вас нет сомнений. Тогда — почему? Что меня толкнуло? Отвечаю: бедное детство, зависть к ребятам из обеспеченных семей. Уже тогда решил: выросту, буду зарабатывать деньги и куплю себе все, что у них. Даже больше, пусть завидуют они. Постепенно это превратилось в спорт или, если хотите, в порок. Теперь мне мало просто дачи, просто машины. Я хочу лучшую дачу и лучший автомобиль. Но они, разумеется, стоят денег, ко-

торых у тебя нет, хоть ты и гордость областной медицины. Но где их взять? Ну, конечно, у твоих пациентов.

— А клятва Гиппократа?— как мне показалось, жалко пискнул я.

— При чем тут клятва? Разве я единственный в городе — да что там, в больнице хирург? Разве я отказываю в помощи? Но почему все ко мне? Не к другим? Почему именно меня средь ночи вытаскивают из теплой постели, и я беру в руки скальпель, когда коллеги смотрят сладкие сны? Ага, тяжелый случай? Но чаще не он. «Хочу к Зипунову... Всех не может?.. Это их личное дело — мне давай его и только его!» Ах, ты требуешь привилегий?! Но за них следует платить. И платят, а я беру... Ну как? Думаю, материал для проблемной статьи. Наверное, так у вас говорят... Впрочем, ваш жанр фельетон? Значит, для проблемного фельетона. Однако вам придется поискать иного героя. Я не гожусь.

— Вы скромничаете,— возразил я, стараясь перехватить инициативу.

— Да, я человек не гордый,— подтвердил он всерьез,— могу, сделав вид, будто и впрямь вы не поняли ничего, растолковать вам, будто малому дитя, на пальцах. Во-первых: у вас нет улик. А во-вторых... Вы попросту оставите мою особу в покое. Иначе я познакомлю коекого с вашим вторым лицом. Сорву, как говорят, маску!.. У вас-то, Василий Степанович, тоже имеется порок. Вы пьете, голубчик!

— В меру!.. И в торжественных случаях,— уточнил я после, надеюсь, неприметной заминки.

— Значит, ваша жизнь — сплошной праздник! Завидую вам! И ценю ваш юмор. «В меру!» Впрочем, на то вы и «И. Доброзловский!» Кстати, вопрос: как он оказался здесь? Почему способный журналист уходит из солидной столичной газеты, меняет Москву на заштатный всего лишь областной центр? Учтите: я знаю ответ.

— Поздравляю,— сыронизировал я, храбрясь.— И, как врача, он, наверное, вас озадачил. Еще бы, человеку ради здоровья рекомендуют сменить климат, и этот человек вдруг следует совету ваших коллег. Удивительно, правда? Я говорю о своей жене. Ну, а лично для меня, журналиста, переезд не имел существенного значения. Провинция тот же фронт.

— Разумеется. И «И. Доброзловский» мог бы слать фельетоны и со здешней передовой. Только вместо этого он вдруг совершенно исчез, не пишет. И в то же время

журналист Василий Степанович Пономарев устроился на местном телевидении и теперь потешает домашних хозяек. Фельетоны в нашей газете не в счет. Они так же беззубы, как и его передачи.

— А как же этот фельетон? Тоже беззуб?— Я попытался изобразить усмешку.

— Он не будет написан. И вы это заранее знали. А что касается вашей жены, она пышет здоровьем. Все дело в подпольных запоях, которые вы маскировали: отгулы, творческий отпуск за свой счет, прочие уловки, к которым, между прочим, вы прибегаете и здесь. Но, видно, кто-то что-то почуял, и не мудрено, скрывать в воде такие концы не так-то просто. Вот вы и задали стрекача, пока не поздно. Может, я не совсем точен, но только в мелочах, а в целом, думаю...

Что он еще думает, я так и не узнал, хотя догадывался,— его перебила медсестра.

— Геннадий Егорович, к Вам пришел пациент,— известила она, приоткрыв застекленную дверь.

— Разве?— притворно нахмурился хирург.

— Говорит: вы назначили. На перевязку.

— Да, да вспомнил,— будто бы спохватился Зипунов.— Сейчас приду... Действительно, назначил и забыл,— сказал он, когда закрылась дверь.— Будем закругляться. Короче: вы оставляете свою затею. Или ваше начальство узнает нечто для себя пикантное. Например, как вы, любимец, мэтр, водили их за нос, когда испрашивали творческие отпуска. И чем занимались на самом деле... По-моему, я выразился вполне определенно. Вы согласны?

— А что мне еще остается?— пробормотал я, поднимаясь, точно с двухпудовым мешком.

— Ну, ну. Не стоит огорчаться.— Он даже вышел из-за стола.— В конце концов сработали вы красиво. Расшелушили меня, что твой подсолнух. А киоскерша? Ловко ее откопали! Говорю вам, как детектив детективу. Не люблю этот жанр, а, видите, пришлось. Да и что, собственно, случилось? Вы переехали к нам на тихую жизнь, вот и живете тихо. Можно сказать, я вернул вас в намеченную колею.

Он говорил вроде бы тепло, но из глаз его тянуло ледяным холодом.

«Все. И здесь не будет жизни. Ты раскрыт,— сообщил я себе, плетясь через больничный парк.— Придется искать другой город». Впрочем, и не нужно искать. Он

есть. Совсем недавно, весной, по нашим редакционным комнатам бродил гость из соседней области, директор тамошней студии,— менялся с нами опытом. Перед отъездом он зазвал меня в свой гостиничный номер и выставил бутылку армянского коньяка.

— Не обессудьте, круглый трезвенник. Ни капли, даже символически,— пресек я его возможные атаки еще на корню.

— Тогда тем более!— возрадовался чужой директор и начал вербовать на свою студию. Он прельщал, сулил многометровую двухкомнатную квартиру в старом кирпичном доме и в недалеком будущем должность главного редактора. Я отказался, выставив, как щит, патриотическую любовь к приютившему меня городу. Но директор был упорен и через месяц повторился в письме. Теперь можно ответить.

По дороге из больницы на студию я заглянул в овощной ларек, где работала Бузулева, и сказал, мол, потерял надежду на успех и выхожу из игры. Мы стояли во дворе, за горой деревянных ящиков, побуревших от времени и дождей, возле старой бочки, источающей кислый дух квашеной капусты, и Бузулева, став свекольной от гнева, крыла меня на все корки. «Трусливый предатель!— кричала она.— Купили небось! Платили небось моими деньгами!»

Покидал я двор с твердой решимостью перебраться в другой город. Вот только сочиню мало-мальски убедительный повод и напишу письмо.

Но с ответом пришлось повременить. Недолго после нашей встречи вилась веревочка Зипунова, загремел хирург на ту самую казенную скамью, на которой не сидят по доброй воле. Упекла-таки его Бузулева, подослав человека, будто бы готового дать взятку. Зипунов охотно клюнул на приманку, назначил время и место, куда в оговоренный час нагрянула милиция с номерами купюр, нашлись понятые, и... потянулась цепочка, звено за звеном. Получилось так, словно погорел Зипунов с моей легкой или, вернее, тяжелой руки.

Я с тревогой ждал ответного удара. Если хирург выполнит свою угрозу, не спасет меня и бегство в иные края, слава алкаша и лжеца дымным шлейфом потянется за мной и в тридевятое царство. Однако Зипунов молчал, берег камень за пазухой до какого-то, только ему известного, удобного случая. Неопределенность была мучительной, и, когда начался суд, я, не снеся нерво-

трепки, привел себя в зал и сел в первом ряду, перед носом подсудимого, этакий храбрый кролик, бросивший вызов удаву. Но сидевший за барьером, точно в клетке, хирург только коварно усмехался, встречая мой тревожный взгляд. На третий день ему предоставили слово. Зипунов повел речь о морали истинной и показушной, он подбирался ко мне по-кошачьи, готовясь к убийственному прыжку. Наконец, осталось одно: назвать мое имя. Подсудимый пошарил воображаемыми задними лапами, уперся для толчка в твердь, глянул с усмешкой в мои глаза и молвил:

— У меня все.— И опустился на скамью.

«Почему?»— спросил я себя и спрашиваю до сих пор. Ни жалостью, ни благородством тут не пахло, Зипуновым руководило что-то иное, но что именно? Этот вопрос привязал меня к городу невидимыми путами, я по-прежнему был в руках у Зипунова. Он мог ударить оттуда, из лагеря, в любой нужный ему момент. Он в силах сделать это и теперь, после выхода на свободу...

А в тот вечер, после суда, я, придя домой, упился, как никогда,— вусмерть, требовал: «а ну подать сюда гильотину», и, положив голову на подоконник, пытался отсечь ее китайской шторой из циновки. Испугавшись до ужаса, Тося вызвала Николая и Льва. Так что у моей болезни или порока появилось еще двое свидетелей. Впрочем, сие уже не имело значения. Двое... трое... В этом городе я был раскрыт...

На работу я вышел через несколько дней, явился на студию, как приходят сдаваться в плен, принеся в портфеле заявление об уходе, где коротко признавался во всех своих грехах. Мне было стыдно перед Львом и Николаем — можно представить, каким красавцем я оказался в тот вечер. Для них это был сюрприз. На студии я слыл «не пьющим ни капли». Случалось, после работы скучкуются коллеги, зашепчут, зашустрят, мол, не мешало бы скинуться, обмыть гонорар или чей-то личный праздник, они в кафе, а я бегом из кадра: «Прошу прощения, мужики, не то что пить, видеть не могу, как другие пьют. У меня на алкоголь идиосинкразия». Кутила-заводила Лев подшучивал надо мной: «Базиль, а может, ты старовер? Что там у вас пьют, в молельном доме?..» Теперь знает что... Но это еще полбеды. По словам жены, я выложил им свою историю с Зипуновым, от корки до корки, рвал на груди новую итальянскую сорочку и лил горючие слезы. Тося попросила невольных

очевидцев держать увиденное при себе, те будто бы обещали, Лев легко, Николай нехотя, в борьбе с собой, однако я не был уверен в надежности этих людей, нас ничто не связывало, кроме работы,

Легки на помине, я увидел их, войдя в свою редакцию, они сидели, развалясь, на старом диване, оббитом черным дерматином — инвентарный номер такой-то,— словно ждали все эти дни. И, главное, оба. Я счел эту случайность, это совпадение дурной приметой.

— Базиль! Ты ездил в Москву. У тебя заболела тетя. Вдруг. Она в Москве одна,— отбарабанил Лев.

Николай при этом скривился, будто проглотил нечто кислое.

— У тебя есть тетя?— спросил Лев, явно забавляясь.

— Нет. Ни одной.

— Ей повезло,— буркнул Николай.

— Ну что ты к нему пристал? Человек пьет, но работу свою делает? Делает. Чего еще?— заступился Лев.

— Делает, а с какими глазами?— И тут Николай взорвался, слетел с дивана:— Проповедуешь мораль, а сам? Лев, он двуликий Янус!

— Сам понимаю,— сказал я,— и потому увольняюсь. Уже и заявление принес.

— Иди ты?— не поверил Лев, поднимаясь с дивана.

— Читать не разучился?— Я расстегнул портфель, отдал ему листок.

Лев пробежал взглядом по тексту, протянул заявление Николаю:

— Верно. Не блефует.

— Трус! Дезертир!— заорал Николай, не ведая того, что цитирует Бузулеву. Я думал, он разлетится на куски!— А кто будет бороться с дерьмом? С дерьмом в других? С дерьмом в себе? Нет, так не пойдет!— И он разорвал заявление пополам.— Мы не можем смотреть, ... как ты деградируешь... гибнешь... Вот... Вот...— Он располосовал листок на мелкие кусочки и швырнул в корзину для мусора.— Ты искупишь вину работой!.. Ты исправишь себя, и тоже работой!.. Довольно легких передач... тю-тю-тю, хи-хи-хи... Ты займешься серьезным делом. А на выпивке ставим крест. Толстый! Жирный!

— Для него это не так-то просто,— вмешался Лев.— Слушай, Базиль, а если вшить... как его там?... Торпеду?

— Никаких больниц и торпед!— запротестовал Ни-

колай.— Это для слабых. Тряпок!.. Мобилизуй волю! И сам!— Он показал свой сжатый до судороги тощий, почти детский кулак, изображающий, по его мнению, концентрированную силу воли.

— Легко сказать: сам,— продолжал сомневаться Лев.

— Товарищ! Мы с тобой!— Николай встал в торжественную позу и протянул мне ладонь.

Лев украдкой ухмыльнулся, и мы с ним, скрывая улыбки, тоже обменялись рукопожатием.

С тех пор Николай не спускал с меня глаз, «будоражил», по его словам, призывал трудиться «с задором и молодым огоньком», втягивал в передачи, доставляющие много беспокойства и хлопот. Одна из них вызвала недовольство самого товарища Сараева, и мне пришлось скрыться в дачном поселке. Наверное, я уехал бы и дальше, совсем, но меня держала загадка Зипунова, то самое «почему?». Пока я не знал ответа, Зипунов, хотел того или нет, держал меня в руках...

И вот он появился из-за угла, свернул в мою сторону. Ай-яй-яй, куда делись его аристократический лоск и былая самоуверенность хозяина жизни? Ныне Зипунов сутулился, напоминая бурую черепаху, потерявшую панцирь. На его поредевшую шевелюру и плечи сыпался тополиный пух, точно снег посреди лета, специально на его голову. Я подумал, что и служит бывший хирург скромным санитарным врачом, и все же малость оробел, зачем-то полез в карман пиджака, наткнулся на что-то мягкое и вытащил пачку индийского чая и некоторое время таращил глаза на свою неожиданную находку. А потом догадался что к чему. Наверное, прежде чем отправиться в путешествие, я жевал сухой чай, глушил винное амбре, соображал, значит.

Это открытие придало мне куража, и, когда Зипунов поравнялся с моей засадой, я вышел из-за дерева, подняв указательный палец на манер ковбойского «Смита и Вессона».

— Стойте!

— А, это вы,— буднично пробормотал Зипунов, словно мы расстались вчера.

— Или вы отвечаете... не сходя с места... на мой жгучий вопрос или я делаю пиф-паф!

— Неужели у вас еще остались вопросы? По-моему, вы тогда добились своего?— вяло удивился бывший хирург.

Так и есть: он и впрямь считал меня серым кардиналом, будто бы за Бузулевой стоял я, дергал ниточки событий.

— Да, кое-что для меня и сегодня загадка,— начал я, собравшись с духом.— Вы грозились некими разоблачениями, если я не отступлюсь от вас.

— Разве?.. Впрочем, что-то припоминаю... Да, да вы пили... пили по-черному. Как говорили в мои студенческие времена, пили «до протокола»,— сказал он без намека на шутку.— И я хотел воспользоваться... этим.

— Однако не воспользовались. Почему?.. Предупреждаю сразу: в жалость не верю.

— Да, я был не из мягких. А вот почему?.. Не помню... Хотя... кажется... вроде бы я держал эту меру про запас.— Его глаза ожили, молодо блеснули.— Месть ничего не меняла. От приговора все равно не уйдешь, но потом вы могли пригодиться.

— А именно?

— Не знаю. Возможно, вашими старыми связями в московских газетах. Вы меня боялись, иначе бы не прятались за других. Точно, боялись,— повторил он, гордясь.— Я бы вас подверг шантажу... Но почему не подверг?— Он потер висок и виновато признался:— Представьте, я там опустился... Думал, готов ко всему, а вышло: не готов... И опустился, потерял интерес к себе... ко всему... Правда забавно?

Я промолчал. Жадно ловил каждое его слово. Его взгляд снова потух.

К тому же вы, наверное, бросили пить. После такого урока,— сказал он равнодушно.— Хотя... Зипунов уставился на мое лицо и раздул, принюхиваясь, ноздри, но тут же оставил это занятие, я был ему безразличен.

— Надеюсь у вас все,— утвердительно пробормотал падший хирург и, не прощаясь, ушел в свой подъезд.

«Ты свободен!— известил я себя.— Ты сам себе хозяин! Теперь ты можешь уехать куда пожелает душа, и там никто ничего не будет знать, начнешь жизнь словно заново. Ступай, скажи это Николаю. Пусть для молодежных дерзаний поищет кого-нибудь еще. А я, мол, тю-тю».

И я, точно и вовсе спятил, отправился на студию, где мне совсем уж не следовало казать нос, «под газом». Но, поди же, сумел взгромоздить свою тушу на бетонный забор и с грохотом, стоном рухнул на зады студийной территории, за гаражом, едва не пришиб мальчонку, го-

нявшего футбольный мяч. Малыш, сын нашей буфетчицы, изумленно разинул рот. Я шепнул:

— Тсс... Я играю.

— В «будто вы только проснулись»?— живо подхватил мальчик.

— С чего ты взял?

— У вас на голове перья!— пояснил он, ликуя.— От подушки!

Я махнул ладонью по темени, к ногам полетел серый тополиный пух. Все-таки мы с Зипуновым жили под единым небом.

— Молодец, мальчик!

Я, пригибаясь, стараясь ужаться в размерах, пересек рысью голый асфальтовый двор, отделявший меня от здания студии, юркнул, если это понятие сообразуется с моей массой, в двери черного хода, а там, хоронясь за каждым выступом, точно герой приключенческого фильма, пробрался узкой лестницей на второй этаж.

Мне повезло, пока я путешествовал, рабочий день истек, и студийный народ разбежался по домам, остались те, кто занят в вечерних передачах. Я крался мимо редакционных комнат, опасаясь попасть оставшимся на глаза, но двери, словно застывшие часовые, охраняли безлюдье. И только за одной слышались голоса, видно, главный редактор наставлял дежурного редактора. Я бегом, на цыпочках, выжимая из паркета почти зубовный скрежет, преодолел опасную зону и, повернув за угол, очутился перед распахнутой дверью. Она вела в аппаратную. Здесь тоже не было ни души. Но экраны мониторов жили, голубовато светились, на одном из них вихрастый помощник режиссера усаживал за столик актера, элегантно одетого мужчину с грубоватым лицом. Звук был отключен, и вихрастый, и выступающий беззвучно шевелили губами. Я приблизился к пульту, подо мной за стеклянной стеной сияла огнями большая студия. Внизу, у правой стены, Николай что-то втолковывал приме областного драмтеатра Мурашовой, размахивал руками и, кого-то изображая, привстал на носки. Тут же у камеры возился оператор.

Я перевел на пульте тумблер связи, и в аппаратную ворвался возбужденный голос Николая:

— Она как бы над всеми... Представляешь?.. Горизонт для нее как бы отодвинут дальше... Понимаешь?.. В отличие от них она видит завтрашний день... Не говорит, но видит далеко вперед!— Он снова привстал и

взглянул из-под ладони в воображаемое будущее.— Теперь ты согласна?

— Ах, Коленька, не видит она ни вот столько. Всего лишь баба. Как все,— капризно протянула актриса.

— Не понимаешь,— изнеможенно произнес Николай.— Ну что с тобой делать?

— Жениться,— сказала Мурашова, и видимый мне ее большой черный глаз весело блеснул.

— Я? На тебе?— растерялся Николай.

Наш несгибаемый отважный режиссер боялся женщин, жаждущих вступить в брак, и боялся панически, до полной потери чувства юмора. В каждой из них Николаю мнилась угроза его творческой свободе. Супружеские узы он воспринимал буквально, как узы, и до сих пор ходил холостым. Когда я, возражая, расписал свою семейную жизнь с Тосей, он отмахнулся: «Ты — исключение». «Но счастливо большинство»,— сказал я. «Они тоже исключение»,— заупрямился Николай. «А закономерность, выходит, ждет лишь тебя, одного?»— спросил я, не скрывая иронии. «Выходит, одного»,— грустно подтвердил Николай... Его боязнь стала на студии анекдотом, поэтому реплика примы вызвала оживление у всех, кто репетировал с Николаем. Повернули головы и заулыбались помреж и актер, снял наушники оператор, откуда-то выползли осветители.

— А почему бы и нет? Почему бы тебе не жениться на мне? Мы с тобой прямо-таки созданы друг для друга!— безжалостно сыграла актриса.

— Но я не намерен жениться,— начал отбиваться Николай, и на губах его вдруг выплыла счастливая улыбка.— Да и у тебя есть муж. Наташ? Ты что? Забыла? Какая ты смешная!

— Что тут смешного? Рушится семья! Я теперь разведусь. Ты мне нравишься больше. Умен. По-своему красив. И режиссер. Пусть даже телевизионный. Что еще нужно актрисе?

Ее глаз подмигнул кому-то, стоявшему за спиной оператора, почти подо мной.

— Ну, в общем, все поняли. Прогоним по тракту,— торопливо сказал Николай и заспешил к винтовой лестнице, ведущей прямо ко мне, в аппаратную.

Но мой кураж прошел, уж сейчас-то и в этаком виде мне вовсе не хотелось попадаться ему на глаза. Я припустил к выходу и, выскочив в коридор, едва не столкнулся со Львом.

— А ты как здесь очутился?— удивился он, отступая.— Ты же...— и тут он все про меня понял, ну если не все, то главное-то до него дошло.— Николай тебя видел?

Я покачал головой. Тогда он, выставив мощную грудную клетку, двинулся точно маленький танк, оттер меня в сторону и захлопнул дверь аппаратной.

— Слушай, алкаш, если ты попадешься ему на глаза, я не посмотрю на твою тяжелую весовую категорию... Я из тебя сделаю грифель,— зашипел Лев, упираясь подбородком в мой живот.— Учти: мое дело правое. Это придаст мне силы.

Он рисковал, испытывая свою смелость и мое благоразумие. Но я и сам только и помышлял о том, как бы поскорей убраться на дачу. Вот напишу сценарий — слева видеоряд, справа текст,— и тогда прощайте, коллеги!— сказал я себе.

— Ладно,— смягчился Лев,— я сам тебя выведу. Чую, вторично забор тебе не одолеть. А нам ты еще пригодишься. Авось.

И снова в сознании обвал, на этот раз я вынырнул из небытия на пороге собственной квартиры.

— Я чувствовала, что ты сегодня придешь,— призналась Тося, закрывая дверь.

Она и впрямь ждала, накрыла в комнате гарнитурный стол, за который мы садились только по случаю торжества, в обычные дни ели на кухне. Навстречу мне засеребрилась водка, заиграла в узорах хрустального графина. На дне его ярко алел стручок злого перца, желтели дольки чеснока. Но особо жене удавалась закуска. Вот и теперь она окропила водой длинные перья зеленого лука и шарики редиски, и овощи, будто налились свежим соком, на зелени, на редиске заблестела роса. Глядя на этот натюрморт, поневоле выпьешь, даже если тебя воротит от одного вида бутылки. До женитьбы я не опохмелялся, страдал, но не мог. И в первые годы нашей семейной жизни тоже было так. А потом началось. Помню, однажды на другое утро валяюсь в постели сам не свой, в голове свинец, в мышцах нервная дрожь — не человек, почти покойник, и слышу из кухни ласковый голос Тоси: «Вася, милый, загляни на минутку... Ну, иди, тебе станет легче... Глупыш, я же тебе не хочу плохого»... Я, охая, скуля, подчинился, вошел на кухню, а там, на синем, словно озеро, пластике стола этакая краса и графинчик...

— Мой руки и садись. В конце концов имеешь право на отдых,— заступилась за меня жена, перед Николаем, наверно.

Я поднял графин, сжал на длинном горлышке пальцы, точно душил змею. В хрустальном брюхе графина панически заплескалась водка.

— Осторожно! Порежешь руку!— по-матерински предупредила Тося.

— Не уводи разговор в сторону!— потребовал я.

— Мы что-то обсуждаем? Я не знала. Извини!— покаялась жена.

— Извинять буду потом. Сначала ответь: что это такое?— Я покачал перед ее глазами графином. На круглом Тосином лице отразился, забегал световой зайчик.

— Это? Водка. Не узнал?— Она лучезарно улыбнулась.— Да что с тобой, Вася?

— Говорю: не уводи! Я как сказал? Сухой закон!

— Хорошо. Дай я вылью ее в раковину.— И протянула руку к графину, хотя бы моргнула разок. Она у меня такая, уравновешенная.

— Не угрожай,— сказал я.— Думаешь, заплачу?.. Ну? Чего ждешь? Вылей, вылей! А я посмотрю!— И самоотверженно протянул графин.

Она, не поведя и бровью, понесла его на кухню. Я окликнул:

— Погоди!.. Так и быть, оставь. Но больше ни капли! И чтобы духа ее... пока не закончу фельетон.

— Дорогой, как хочешь,— кротко согласилась Тося.— Конечно, выпей и ложись спать. Утром вернешься на дачу.

— Выпью и поеду сейчас!— возразил я, пытаясь выбить ее из уютной колеи, наезженной за десять лет нашей семейной жизни.

— Делай, как тебе удобно,— мягко уступила Тося...

На сей раз мне повезло,— на запой ушло всего трое суток. В иные времена цикл убивал не меньше недели. На четвертое утро я принял душ, встав под железную бочку, в которой небось когда-то держали керосин, а теперь вознесли на столбы,— и вот тебе монумент хозяйской смекалке. Захолодевшая за ночь вода, прорываясь сквозь жестяное сито, нещадно секла мое измученное тело. Я стоял разбитый и тихий и только что не скулил,

как побитый щенок, подсчитывая уцелевшие и потерянные кости. Еще в Москве один старый газетчик мне говорил: «После э т о г о будто сидишь на пепелище. И может, все было, точно в лучших домах Лондóна, тебя все равно терзает чувство абстрактной вины. Словно кого-то ты крепко обидел. Может, весь мир». Что верно, то верно. Я и сам д р у г о е утро начинал с телефонных звонков: «Скажите,,, я вчера..: ммм... вас ничем... не оскорбил?.. Честно?„ И все же извините». Но сегодня кроме абстрактных меня грызла конкретная забота: не попадалось ли мое второе пьяное «я» кому-либо еще из студийных, помимо Льва? И что происходило здесь когда я трое суток был в полной отключке?

Одевшись, сбрив отросшую щетину, я отправился на поиски хозяйки, взошел на веранду и увидел ее в открытом окне. Она колдовала с ложкой у плиты, готовила какое-то снадобье. Что-то сыпала крупицами, а из кастрюли валил дым, словно, иприт, ядовитый газ времен Вердена.

— А, это вы? Ну как работа?— осведомилась благодушно балерина.

— Да кое-что вспахал,— прикинулся я скромнягой.— Да вот беда, когда пишу, ничего не вижу вокруг. Словно глохну и слепну. Работаю, как говорят, запоем...— Я чуть не откусил свой язык.— За это время тут ничего?.. Никто не приезжал? Не спрашивал?.. Вообще-то не должны, я ваш адрес не разбрасывал с крыши, но все-таки...

— Минуточку, сейчас припомним,— сказала она, положив ложку на стол.— Была женщина. Впрочем, она искала какого-то Иванова... Ну да, Иванова. Так и спросила: «Здесь не проживает Иванов?» А к вам никто не приходил. Продолжайте работать... запоем.

— Это принятое выражение, ставшее штампом,— пояснил я старухе, точно она была иностранной туристкой.— Хотя метафора не совсем удачна. Ну какая работа в запое? Согласитесь!— Я почувствовал облегчение, осмелел и даже ударился в философию.

— Народ знает, что говорит,— с улыбкой возразила балерина.— Будьте любезны, подержите.— Мне она протянула дуршлаг, сама взяла кусок марли.

Старуха откровенно и понимающе посмотрела на мои дрожащие пальцы.

С утра я вместо зарядки ходил в поселок, завтракал

наскоро в железнодорожной столовой и сломя голову мчался на автобусе назад. Автобус трясло на разбитом асфальте, я стоял у дверей, готовый сразу припустить во все тяжкие, едва он подойдет к остановке. У хозяйки в девять воздушные ванны, она в чем мать родила гуляет на поляне посреди участка, и я должен проскочить к себе до того, как она сбросит одежды. Иначе ходи вокруг да около дачи, пока она закончит сеанс. Миновав на огромной скорости поляну, я забирался в домик, точно в дупло, и не высовывал носа до обеденной поры. И в эти часы для меня не было ничего важней листа чистой бумаги и блокнота. Я работал неистово, наверстывая упущенные дни.

Когда, потягиваясь, я, наконец, вылезаю на белый свет, Ирина Федоровна уже занята другой процедурой. Она подступает к весам. Они величиной с коробку для торта на десять персон и куплены еще до первой мировой войны. «На гастролях в Карлсбаде»,— сказал она. С тех пор балерина регулирует свой вес с аккуратностью аптекаря. Только гирьками служит манная каша. Я видел, как она стояла на весах с тарелкой и, добавляя в себя микроскопические доли каши, следила за стрелкой.

Вечером я шел с прогулки, а она спрашивала из глубин своего полосатого шезлонга:

— Ну как делишки?

— Мои неплохо. Идут себе потихоньку. А ваши?— Я учтиво придерживал шаг.

— Сто граммов с утра.

— Туда или сюда?

— Сюда,— докладывала она.

Накануне было «туда» и так сохранялся баланс. На этом летучка кончалась, я шел к себе. Но как-то она переступила за пределы регламента, сказала:

— На вас приятно посмотреть. Такой благоприятный. Не то что наш босяк. Я имею в виду Андрея. Он сплошной головорез, от макушки до пят. Тут уж внучка промахнулась, но только не признается сама. Я говорила ей: целься в солидных людей, они настоящие мужчины. Мой третий муж едва не дотянул до кандидатской и умер, как простой доцент. Ему оставалось продержаться месяц. Но он не смог. Его не брало какое-то лекарство, настолько он был проспиртован. Однако мне было достаточно того, ну, чтобы оценить все это. Какие они, мужья, солидные люди. Вы меня понимаете?

— В известной степени,— сказал я уклончиво.

— Женечке бы такого, как вы,— признавалась она откровенно.

Я был польщен. Но жизнь приучила меня к солидарности мужской. Кроме того я был женат и любил жену, поэтому ответил:

— Что вы, они прекрасная пара. У него вся жизнь впереди.

— Тюрьма! Вот что у него впереди,— отрезала она, точно выдала страшную семейную тайну, и добавила:— Неотесанный молодой человек пошел нынче, если говорить по существу. Вот взять моего четвертого супруга, какой был полковник, и разве сравнишь с ним Андрюшу. Тот само благородство. Тоже был фантазер. Все рвался в Испанию, в бой. Только ему отказали. Не вышло — печень подвела, совсем затвердела от водки. Но умирал он все равно красиво. Даже не верилось, что это простая постель. Поле брани, да и только. Со мной была под халатом бутылка, и он мне сказал: «Ириша, долей завершающую, если так хочешь». И выпил за мое здоровье напоследок. Каков галантен, а?

— Скажите, а первый супруг? Неужели и он не ходил с синяками?— спросил я с неожиданным для себя интересом, еще и сам не зная, зачем.

— Без синяков мужчине, наверное, не обойтись,— произнесла она задумчиво.— Он был баритон, мой первый муж, и у него не ладилось с театрами, часто кочевал из одного в другой. Все-то ему хотелось спеть необыкновенную партию. Взбрело до мозга костей. Когда мы поженились, он притих. Придет, а я ему для аппетита, он и на диван. Ну, уж если на что наткнется, то и дуля под глазом. Чего не миновать, того не миновать. Он и умер от сотрясения мозга. Выпал из пролетки, да затылком о булыжник. И не приходя в сознание... Так я стала впервые вдовой. А внучкин Андрей получает на трезвую голову. Это не те синяки. Нет, не те.

В этом она была права, я с ней согласился. Я сам так считал: синяки бывают двоякого типа: по пьянке и на трезвую голову. И только вторые красят мужчин. Старуха вряд ли поймет. У нее свои понятия о чести мужчин. Я лишь кивнул, сказавши:

— У него они другого класса, синяки. Действительно, что и говорить: он их получает в здравом уме. Знает, на что идет.

— Вот-вот, ему бы кистень. «Сарынь на кичку»,— и айда на добрых людей.

— На добрых, конечно, нельзя. И здесь он плошает,— кивнул я опять.

— Ему не везет пока что,— добавил я затем.

Я-то решил размяться, проветрить мозги,— вечерок, прохлада и длинные тени, а она тянула этот разговор. Я уже достаточно постоял возле нее для приличия, и теперь был удобный момент поставить последнюю точку.

— На хороших людей нельзя в самом деле. Ни в коем случае нельзя. Но ему и достается сполна, надо признать,— сказал я, тем самым ставя еще одну точку на всякий случай, в качестве дополнительной преграды, если она вздумает продолжать эту канитель.

— Вы — журналист, и вы бы повлияли. Мой пятый покойный муж...— начала она с удвоенной энергией.

Но она опоздала: я сделал несколько шагов по тропинке, это было достаточное расстояние для свободных действий. Я уже находился в пути. Я только обернулся и ответил жестом,— конечно повлияем.

В сопровождении Пирата я дошел до пруда, а там у нас оказалось перепутье. Пират отправился одной дорогой по собачьим делам. Я завернул по другой в тир. Здесь это было единственным развлечением, если сбросить со счета карусель. Но карусель для детишек. Ребятня описывала круги под песню «Я люблю тебя, жизнь», а мамы и бабки болели за оградой.

Я начал бить по мишеням. Они послушно опадали... одна... вторая... шестая... пока не дошла очередь до павлина. Тот самодовольно торчал на месте, не поддавался, и пульки лишь царапали его. Я слышал звук ударов по жести. К тому же он был чудовищно огромен, павлин, и не попасть в него было просто невозможно. Поэтому я выстрелил еще раз и вопросительно посмотрел на работника тира. Мужчина поспешно отвел глаза и с фальшивой озабоченностью уставился куда-то вдаль, будто в двадцать первый век.

— Павлин для пьяных?— спросил я напрямик.— Он закреплен напрочь, тут не собьешь и кувалдой, а пьяные входят в азарт и лупят на все наличные деньги? Так? А вам премиальные за перевыполнение плана? Угадал?

Теперь ему деваться было некуда. Он развел руками,— не может быть! Подергал павлина, что-то вытащил, и подлый павлин завертелся на оси крыльями ветряной мельницы.

— Заржавело,— сказал работник, а на меня посмотрел грустно и укоризненно: мол, ни за что оболгали бедолагу.

Я вышел на берег, уселся на пенек и стал смотреть на тщетные старания рыболовов. Но в общем-то улов для них был делом десятым. Им главное было постоять в позе цапли час-другой, а для этого годилась любая лужа, и наличие рыбы было не совсем обязательно — такое у рыбаков развитое воображение, им была бы вода и удочка. А рыба только бы мешала, дергала за крючок и отвлекала другими всевозможными маневрами.

Я сидел над обрывом. Рыбаки стояли внизу, их удилища были похожи на тонкие шеи цапли. Будто цапли задумчиво смотрелись в воду. Иногда они вздрагивали под грузом воспоминаний и снова опускали шеи.

От карусели долетали голоса детишек. За спиной хрустнул сухой сучок, я обернулся и увидел целовавшуюся пару. Они заметили меня и исчезли за стволами, точно молодые пугливые олени. Все дышало счастливым и немудреным покоем, и я подумал: хорошо было бы написать рассказ или повесть о чистых помыслах человека. О том, как он приносит людям простенькое и незамысловатое добро и как хорошо от этого людям. Словом, о том, как он дал им что-то очень искреннее от всей своей доброй души и у всех стало на сердце тепло. Такой хотелось написать рассказ, положить свой кирпич в стройку Всеобщей Доброты. За бытность свою Доброзловским я вдоволь нагляделся на мерзость всех сортов. Вот и этот телефельетон, не фельетон — целый фильм, тоже не о розах. А меня уже который год сушит пустынная жажда, перо истосковалось по солнечному свету. И уже который год я думаю о таком рассказе. И даже пытался писать. Но с моим героем приключилась странная история: по замыслу славный и честный молодой журналист, он вскоре свернул с отведенной дороги. Я заметил это не сразу, истолковал первое им причиненное зло людям как оплошность, он еще зелен. Да и зло было как бы не зло — мелочь. А дальше поехало-покатило, и мое литературное чадо предало и продало друзей, свой служебный долг и отдел, где работал. Я с ним боролся и так, и этак, он гнул свое. И я отступал, спрятал рукопись в стол, до новой попытки. Видно, сам еще не созрел, не очистился от грязи.

Я сидел и думал, а мимо шагал народ с работы. Он

сыпал с платформы, будто с транспортерной ленты, шел через мост и растекался по поселку.

Вначале я увидел Женю. Она работала медсестрой и возвращалась с дежурства, шагала по гребню шоссе, размахивая в такт спортивной сумкой на длинном ремне с надписью «Аэрофлот». Она кивнула на ходу, а я ей сделал ручкой: «Привет!»

Потом появился Андрюша, он сошел по тропинке ко мне, занял соседний пенек и тоже стал смотреть, как изображают ловлю рыбы. Но он был рыбак, и его глаза сразу засветились. В них замелькали тени, парень увидел то, что было недоступно мне, и переживал наиболее острые перипетии рыбной ловли, которые для меня так и остались тайной.

Но пассивная роль созерцателя была не по нему. Он бросил на траву брезентовую сумку с загремевшими кусачками и прочим инструментом, скатился к воде.

— Дай подержать,— попросил он щуплого подростка.

Тот уступил, словно протянул затянуться сигарету, и Андрюша замер с удочкой, наслаждаясь. А под его глазами темнели подтеки, выразительно оповещая о сложных отношениях с жизнью.

А в субботу я увидел воочию, как они у него протекают, эти отношения, то есть самый их механизм. И состоялось это вечером, на танцах.

Я было решил проветрить мозги, выбрался из домика наружу, продирая воспаленные глаза, и тут ко мне подступили молодые хозяева. Они собрались на танцевальную веранду, но их задержала совесть. С ее точки зрения она не имела права кружиться в вихре легкомысленного танца в то время, как в домике на отшибе сидит одиноко всеми заброшенный человек. И, стараясь ее, совесть, успокоить, они потянули меня на танцы.

Я замахал руками, отказываясь, изыдьте, вы сошли с ума: предлагать такое мужчине, который в последний раз молодым был сотню лет назад. Но Женя умело потупила глаза и поймала меня на примитивнейший комплимент. Она только сказала:

— Ну, что вы?! По виду вам лет двадцать.

Боже, сколько зрелых мужчин клюнуло на эту дешевую приманку,— всех не перечесть. И хотя это была чистейшая ложь, мне тоже стало приятно, и я поднял руки: сдаюсь!

Я надел пиджак получше и наваксил хорошенько туфли. Андрей и Женя шли по бокам. Они прифрантились в духе модерна — мой яркий эскорт.

Андрюша подпудрил синяки и вообще битый час провел перед зеркалом. Он оказался отчасти нарциссом. Мы изныли, его дожидаючи, переминаясь у калитки. А когда терпение лопнуло, пошли за ним, еще не зная, отчего Андрей завяз. Нас только удивило, куда он мог запропаститься на длительный срок.

Мы застали его врасплох. Нет, мы не таились, просто он был увлечен и не заметил, как появились зрители. Андрей держал перед собой старинное зеркало балерины, овальное, на ручке червленого серебра (гастроли в Милане), и любовался и так, и этак коротким, как у Павла первого, носом и рыжими патлами. Мы оставались внизу, он на веранде, точно на сцене, вился вьюном, пытаясь заглянуть за плечо своего отражения, оценить себя со спины.

Я взглянул на Женю. Она в изумлении приоткрыла рот. Андрюшины ужимки оказались новостью и для нее.

— А что? Жерар Филипп! Натурально!— молвил Андрюша вслух.

Я многозначительно кашлянул, он, будто ошпаренный, убрал зеркало за спину и с деланной озабоченностью принялся что-то высматривать на полу.

— И куда они запропастились? Часы?— выдавил он смущенно.

— Если не стенные, то эти на твоей руке,— ответила Женя, сдерживая смех.— И не разбей зеркало. Иначе бабушка, наверное, помрет.— И повернулась ко мне.— Это память о первой бабушкиной любви. Его подарил молодой ювелир... Ну не тот, кто продает, а кто делает сам. Он и бабушка друг друга очень любили, но отец заставил его жениться на богатой. Типичная в бабушкиной молодости история,— закончила она, вздохнув.

Мы вышли на улицу. Навстречу нам из парка, дробясь о деревья, гремела музыка, на ее зов со всех сторон слеталась молодежь.

Завидев меж стволов лимонные огни танцплощадки, я оробел, сердце сжалось в кулачок, заныло от сладких воспоминаний о далеком студенческом прошлом... Мы стояли тогда, холостые независимые паладины, вдоль стен, подпирали их могучими лопатками. Девицы танцевали па де грас и делали вид, будто нас нет, а мы им мстили, отпуская изысканные ироничные шутки. Прошли

годы, и я женился на одной из таких девиц, а сколько с тех пор утекло воды и вообще представить трудно. Теперь под моими глазами мешки и сквозь редкие стебельки шевелюры младенчески розовеет свежая плешь — самый возраст шляться по танцам.

— Я гувернер этой юной пары,— сказал я пожилой билетерше и, не дожидаясь, когда меня пристыдят и отправят восвояси, прикинулся огромной многопудовой мышкой и шмыгнул в проход.

Но паниковал я, как оказалось, впустую. На скамьях перед оградой, точно старые грачи на сучьях, сидели рядами пожилые дачники в пижамах и халатах, ни дать ни взять, у телевизора дома. И вдобавок никому до меня не было ровным счетом дела.

Женя и Андрей поторчали для приличия рядом со мной и улизнули на площадку. Их головы замелькали в толпе танцующих, запрыгали, словно на волнах буйки.

Этот танец был мне в диковину. В нашей семейной компании еще держался старый дробный фокстрот, и мы лихо шаркали под радиолу, легонько подталкивая спиной вперед своих многодетных дам.

А здесь вытворяли ногами черт знает что, и не отставали от остальных несколько моих сверстников. Ногой туда, ногой сюда, прыг-скок, прыг-скок. Трубач — подросток из здешних мастерских, натужно дул в трубу, подражая Армстронгу, а может, кому-то другому, новому и молодому, тому, кто пришел на смену великому Луи. Паренек дул изо всех сил, задавая жару.

Постепенно я освоился и объял взглядом всю панораму целиком. Мне стало понятно, кто тут к чему. Те, что не танцевали, плели интриги. Они кишели по эту сторону ограды, юные интриганы,— мадридский двор в миниатюре. Заговоры возникали и рушились на моих глазах. Сверкали зрачки и воображаемые шпаги. Здесь умирали по десять раз за вечер ради прекрасных дам и воскресали вновь. А чуть подальше, в темноте, за светлым кругом от лампы, дюжие молодцы со стальными фиксами пили из горлышка водку. Все это венчала труба. Она самозабвенно хрипела, стонала и хрюкала — по-прежнему под Армстронга или того, кто пришел ему на смену. Молодые эластичные легкие трубача жадно пожирали воздух, и кислород сгорал в них, будто в топке.

Потом вернулись утомленные друзья, устроили привал.

— Трубач здесь толковый, а ударник тютя. Еще ни

разу не подбросил палку вверх. Вот в клубе водников ударник да! Кидает палки до луны и ловит, точно вратарь. Яшин,— сказал Андрюша, отдуваясь.

— А это массовик Алеша! Его так и зовут: «Алеша, не разбейся о работу»,— добавил он и указал на пухлого мужчину, сидевшего в окружении женщин на соседней скамейке.

Когда все тут закрутилось до предела, сливаясь в сплошное пестрое пятно, я услышал женский голос, беспомощно сказавший:

— Отстаньте!

Он прилетел из глухой аллеи и был очень слаб в этом гаме. Его я скорее почуял сердцем, чем уловил ушами.

Но раньше поднялся Андрюша. Я еще только вставал со скамейки, а он уже был там и держал неравный бой.

Когда я подоспел, он лежал темной грудой на земле, а они топтали его ногами. Ко мне повернулся здоровый парень, как будто я был чудак и пришел за конфетой.

— Сюка,— только и сказал он.

Я вовремя ткнул его в солнечное сплетение. Он свернулся в дугу, можно подумать, надорвал от смеха живот.

Тогда второй, его соратник, решил узнать, в чем дело, и отвлекся от своего занятия. Я быстренько предложил ему крюк по скуле, излюбленный удар из полузабытой юности. И хотя наши вкусы не совпали, у соперника не было выбора. Он промямлил что-то неразборчивое и сбежал, натыкаясь на сосны. Его приятель умиротворенно брел поодаль, опираясь на крепкие стволы, а мы остались наедине со спасенной.

Мы помогли Андрюше подняться на ноги. Его успели изрядно помять, он трогал челюсть, стараясь вернуть ее на прежнее место.

— Ну, с первой удачей! На этот раз ты не промахнулся и выбрал точную цель,— сказал я Андрею.

— Куда там,— произнес он уныло.— Что толку из этого. Главное сделал ты. Я бы их упустил без тебя. Такой я невезучий.

— Для начала и это неплохо,— сказал я, желая утешить дебютанта.

Но пора было заняться спасенной.

— А ваше самочувствие? И что, собственно, произошло?— спросил я у девушки.

— Спасибо, ничего. Они не успели. Немного разве больно локоть — так он ухватил. И я не знаю как отбла-

годарить. Просто слов не хватает,— ответила спасенная без особого подъема, но я тогда вообразил, будто у этой девицы несгибаемый характер.

Она, выходит, шла от платформы домой, тащила авоську с продуктами, свернула в парк, и тут привязались эти двое, они топали следом и, толкая друг друга в бок, налаживали светскую беседу.

— Какая девочка!— говорил один, двигая приятеля локтем.

— Такая девочка и одна,— вторил его дружок.

А в темной аллее они обнаглели и стали делать самые неприличные предложения. Потом один ухватил за плечо. И она боится представить, что случилось бы дальше, не подоспей на помощь Андрюша. Он бросился, будто благородный, отважный лев...

Андрюша рассеянно пожал плечами, мол, было бы о чем говорить. Лесть отлетела от него рикошетом и пропала во тьме. Он казался подавленным, и мне пришлось взять бразды этой истории в свои руки.

Я окликнул Женю, она подошла, лицо ее было безразлично усталым, словно целый вечер она покорно ожидала, когда ее муж ввяжется в очередную драку и получит привычную дозу шишек. И теперь это свершилось, все позади — на сегодняшний вечер хотя бы,— можно отдохнуть до завтра.

— У нас-то в клинике культпоход в оперетту. Снова надо что-то врать. Противно. Ведь не скажешь про синяки, правда? А что подумают опять соседи, так лучше провалиться в землю!

Короткая сентенция предназначалась не Андрюше, а мне. В надежде на сочувствие мое.

Она сказала это, когда ее муженек отошел на освещенное место и принялся чистить брюки от пыли и сосновых игл. А я не знал, что ответить. Тут надо было ей поддакнуть, потому что она была по-своему права, и в то же время поддержать Андрюшу, не уступая в наших принципах ни на йоту, ибо мы по-своему правы чуточку больше. И это было сложной задачей. Женщины порой не понимают простых вещей, присущих мужчинам по самой их природе. В силу чего, не знаю, но это бывает частенько.

Пока я сказал:

— А вы на других не смотрите, судите сами: так ли поступает ваш супруг. Ну, как положено честному человеку, или иначе. Как делают мерзавцы, что ли.

— Я устала судить. Сплошные примочки! Мы же не на войне, правда? И нельзя жить без соседей. А им каждый раз долби одно и то же. Они кивают — мол, понимаем. А по глазам заметно: не верят ни черта. И потом хмыкают у себя и бог знает что разносят по поселку,— сказала Женя.

Она посмотрела на спасенную — ну, а что, мол, скажешь ты, из-за которой все и приключилось.

— Да, нехорошо, когда пренебрегают общественным мнением. Это не доводит до добра,— подтвердила спасенная с вежливым равнодушием.

Она стояла безучастно, и у меня мелькнула нелепая мысль, не подоспей мы, ей-то, в общем, было бы все равно, что бы потом случилось.

— И вот так он каждый раз,— сказала ей Женя с упреком.

— Он очень смелый. Робин Гуд,— ответила та без всякого выражения.

К нам вернулся Андрюша, и мы замолкли. Но к последней фразе он успел, к тому, что он отважен и вылитый Робин Гуд. В глазах его при этом мелькнуло что-то похожее на интерес и погасло, будто в темный колодец упала зажженная спичка.

Мы проводили отбитую пленницу домой, и только здесь у столба с фонарем разглядели ее хорошенько. Прежде всего она не имела ничего общего с традиционными красотками, которых то и дело спасают, рискуя здоровьем. Это было бесцветное создание с невыразительным лицом. И своим полным безразличием к собственной судьбе она нам отравляла заслуженную гордость освободителей.

— Ну что? Будем знакомы?— предложил Андрюша, немного отходя, и начал показывать пальцем, как при детской считалке:— Женя... Василий... Андрюша... А вы?

— Наташа,— промямлила она, будто выдавила из себя нечто, не имевшее ни цвета, ни запаха.

— Очень приятно,— отметил Андрей.

Она была в поселке новым лицом, появилась всего как неделю назад.

— Вообще-то,— сказала она принужденно, будто ее пытали,— дача куплена еще зимой, отцом,— и фамилия известного художника прозвучала в темноте, точно голос фанфар без всяких Наташиных усилий. Однако в ее исполнении это был всего лишь унылый звук, лишенный вдохновения. Так вот, ее отец приобрел эту дачу зимой

и долго с ней возился, перекраивал на свой манер, и теперь прикатило семейство.

— А почему у вас раньше не было дачи? Почему она вам понадобилась именно теперь? Вот сейчас? Не хватало денег? Ну да? При таком-то папе? Его картины висят в каждой столовой!— вкрадчиво спросила Женя.

— Дача у нас была. В Лесной. Целых два этажа. Но там сыро, и мы перебрались сюда. Из-за меня,— вроде бы посетовала Наташа, но ей-то явно было все равно: переехали или нет, а если переехали, то кто тому причиной.

В это утро я спал допоздна. Наступило воскресенье, и можно было раскошелиться на длительный сон. Точнее, кое-что предстояло обдумать, и под этим предлогом мне удалось позволить себе выходной.

Я знал: это первый и последний день за все лето, который выпал мне нечаянно, как отдых. Когда мы покончим с нашей работой, их будет просто уйма, свободных дней. Хочешь — возьми целый отпуск на двадцать четыре дня. И швыряй их направо-налево. Или лучше всего уволиться и переехать в другой город. Но тогда будут слякоть и дождь. А летом этот день единственный, и его провести надо было тщательно, обсасывая каждую минуту. Я хотел разделить эту блаженную трапезу с женой, но не успел дозвониться в субботу.

— Она уехала к Насте. В Сорокино,— сказала ее подруга.

Настя тоже ее подруга. Ей, видно, скучно без меня, моей жене, и она поторопилась с поездкой.

Тогда я взялся за отдых один, сначала полежал с закрытыми глазами, потом целую эру вставал, одеваясь обстоятельно, бродил по комнате, лениво искал детали туалета, которые специально разбросал накануне,— ходил вчера, точно сеял.

На завтрак я решил проследовать прусским шагом, оттягивая носок, мимо хозяйской дачи. Короче было бы наискось, тропинкой через поляну, и здесь лежал мой обычный путь. Но сейчас я обладал несметным количеством времени, и мог себе позволить посорить часиком-другим, так вот пригоршней, загребая из кармана минуты.

На своей террасе кейфовали хозяева, попивая чай.

— Милости просим,— позвала старая балерина.

— Спасибо, спасибо,— сказал я, важно раскланива-

ясь,— но я бы прошелся еще. По воздуху для моциона.

— Была бы честь предложена. Смотрите.

Старуха источала добродушие. Едва я сделал шаг и поравнялся с террасой, она окликнула вновь.

— Василий Степанович,— произнесла она.— Вы встречали что-нибудь подобное? Этакого труса?

Старуха указала на Андрея. Она подняла рюмку с белой и держала ее двумя пальцами за шейку высоко над перилами.

— Ему двадцать два, а он до сих пор ни капли. Ну, там вареный лук или морковка, еще можно понять, но это...— Она шутливо покачала головой, словно не веря.— Между тем для аппетита... мм...— Она блаженно прикрыла глаза.

— Я и без этого ем за двоих,— перебил Андрюша, защищаясь от рюмки ладонью.

— Господи, выпей, и она отстанет,— засмеялась Женя.

— Но я не хочу,— возразил Андрей.— Не хочу, и баста! Дрянь она, наверное, несусветная, ваша водка.

— И какой ты после этого мужик?— изумилась старуха.— Дрянь, говорит. Есть немножко горечи, что правда, то правда, а страшного ничего. Верно, Василий Степанович?

Разговор проходил на веселой ноте, но в голосе старухи пробивалось легкое недовольство.

— Разумеется, страшного нет. Но коли он...— начал было я, лениво опираясь на яблоню, у меня времени пропасть, и пусть это видит каждый.— Но коли он...— сказал я, делая округлый жест свободной рукой, жест показывал широту и вольный полет моей мысли, ее задумчивое парение над этим миром.

Но старуха быстренько вмешалась, пресекла полет.

— Вот что сказал тот бывалый человек, и ты сам это слышал своими ушами,— подхватила она, и мысль моя рухнула подбитой птицей.— Он утверждает то же самое!— возвестила старуха.— Вот он стоит, умный человек! Перед нашей террасой! И он говорит, что ничего страшного нет!

Она перегнулась через перила и показала на меня длинным сухим перстом.

— Но я не чувствую потребности в водке,— ответил, смеясь, Андрей.

— Ну и бог с тобой. Потом пожалеешь, мол, была и упустил,— тоже рассмеялась старуха и быстро протяну-

ла рюмку мне.— Ну-ка, вместо моциона!— Она словно бы хотела застать меня врасплох.

— Спасибо еще раз, но я сейчас работаю, и вообще...

Черт побери, я не был уверен в этот момент, что мой голос звучит достаточно твердо.

— Вам виднее,— сказала старуха, убирая рюмку.— Вы-то не упустите свое, когда оно подвернется в руки. За вас я спокойна.

И она заговорщицки подмигнула, намекая на тот, первый вечер, когда я осушил бутылку столичной, как бы открыв на ее дачном участке свой сезон. А может, и на что-то другое.

— Не прибедняйтесь! Застенчивость вам не к лицу.— Она погрозила пальцем.— Мой второй муж, покойный, служил цирковым борцом. Вот это был нахал, в хорошем смысле слова. Особенно после рюмки. Любил говаривать: «Сегодня, мать, у меня недопинг!» Его мне особенно жаль. Амбиция погубила. Помнится, был чей-то бенефис, он возьми и на банкете скажи: «Желаю бороться со львом!» Мы отговаривать, а он: «Желаю, и все! Прямо сей минут!» Поехали всей компанией в цирк. На ночь глядя. Не то к итальянцам. Не то наш Никитин. И лев взял верх... Но это еще ничего не значит,— спохватилась она.

Едва исчезла тень циркового борца, и я еще не успел оттолкнуться от яблони и сделать первый шаг, как над нами завитал дух пятого мужа.

— За него я вышла в день юбилея. Тогда мне стукнуло всего лишь... шестьдесят,— посчитала старуха.

— А сколько вам сейчас?— перебил я, решив заткнуть этот фонтан воспоминаний.

— Я уже забыла... Наверное, вечность,— бросила она небрежно и снова взялась за свое:— Его, моего будущего пятого, разыграли и довольно подло. Кто-то имел свинство сказать, будто я скончалась! Каково?! Он, бедный, явился в мой дом с венком и очень был удивлен, увидев меня живой. Настолько удивлен, что тут же этот убежденный холостяк сделал предложение! А?

Я желал пятому естественного мирного конца. И он, зная о судьбе своих предшественников, поставил безумной целью пережить балерину. Пятый наотрез отказался пить и яростно нажимал на витамины и белки. Это его и убило, то, что он перед едой, по словам старухи, не смачивал горло, питался натощак.

— Он умер от заворота кишок. Ему, бывало, подне-

сешь,— она подняла и поставила рюмку,— а он воротит нос. Все норовил всухомятку, и вот чем кончилось, заворотом кишок,— с грустью повторила пятикратная вдова.— А был экономист, культурный человек,— добавила она в траурной тишине и махнула мизинцем по сухому веку. Искать здесь влагу было так же бессмысленно, как и в песках Сахары.

Они все-таки недаром прожили, ее супруги. Их жизнь стала для нас поучительным примером.

А перед Ириной Федоровной распласталась на тарелке аскетическая кашка, сваренная по специальной медицинской таблице. По всему было видно, что балерина переживет и нас всех вместе взятых, такой у нее был цветущий и, главное, уверенный вид.

Неожиданно, точно кукла над театральной ширмой, возникла над штакетником соседка, по прозвищу Транзистор.

Ей так и говорили:

— Катерина Ивановна, настройсь!

— Ну, что новенького?— спросила Ирина Федоровна.

— Ничего,— сказала Транзистор, наваливаясь тяжелой упругой грудью на забор.

Такое было впечатление, будто она налегла на два хорошенько надутых футбольных мяча.

— Совершенно ничего,— повторила Транзистор.— Разве что этот художник,— и она помянула имя Наташиного отца,— наконец-то перевез своих. А мебели у него, скажу вам, тысяч на десять! Таскали полный час. Пока я смотрела, выкипел борщ, и случилась масса всякого на кухне — так много барахла. Ну о другом я и не говорю. Будет чем женишку поживиться,— и она лукаво покосилась в мою сторону.

— Василий Степанович женат,— пояснила Женя.

— А-а,— протянула Транзистор и переключилась на новую волну.— Но девочка у них не того,— сообщила она по другой программе.— Или больная. Или еще чего-то у нее. Пока не знаю, что к чему, какая там трагедия, а может, драма. Но что-то там такое есть.

Она тараторила долго. Я смотрел на болтунью с пониманием механика. Эта живая глыба выросла из единственной клетки. В ней было упаковано много разного, в этой клетке. И будущие кишки и чувства. Родители старались, откладывали рядком и то, и это, снаряжали

дочку в жизнь. Все было плотно уложено, втиснуто каждое в свой карман. Она была, точно рюкзак туриста, собранный в дорогу, клетка. И надо случиться тому, что второпях они переборщили, набили до избытка консервами болтовни. Клетка вымахала во взрослую женщину, и теперь ее не остановить, Транзистора, едва научившись говорить, она только и делает, что несет всякую чушь.

Вот над этим, над наследственностью, над кармашками рюкзака, куда пакуют характер, снаряжая человека в путь, ученые ломают головы. И кто знает, может, время придет, когда мы сумеем собирать вещички как надо: доброе сюда, а злое туда — за борт, на свалку, в кучу ржавых консервных банок. Но это пока фантастика, и может, не вполне серьезно для ученого. Но я журналист и хочу, чтоб когда-нибудь стало именно так.

Соседка между тем не унималась, переходила с коротких волн на длинные, точно в нее вселился весь воющий эфир в самую пору пик, когда он так и забит голосами. Появись новая радиостанция, и для нее не хватит места, такая там толчея.

Наконец я тронулся дальше. Но соседка не отставала, пошла рядом, перебирая руками планки штакетника.

— Андрюшка-то, видели?— сказала она сразу, едва мы отдалились от террасы настолько, чтобы ее не было слышно.

Я открыл было рот, но тут же захлебнулся,— Транзистор окатил меня с ног до головы водопадом сведений.

— Синяки не проходят,— лилось из соседки,— все героя корчит из себя. Мол, в газетах напишут, и тогда подавай то да се. Но он еще себя покажет. Продемонстрирует с другой стороны. Тогда помянете меня, да будет поздно.

Но вскоре она уперлась мячами в тупик, а я пошел своей дорогой. Забор качнулся под ее тяжестью, планки заскрипели. Она рвалась за мной.

— Вы от него подальше,— крикнула она напоследок и вложила в голос всю свою беспомощную ярость перед забором, отрезавшим ее от свежего клиента.

Вернувшись из столовой, я полистал записи, потом прихватил махровое полотенце и отправился на пруд. Его поверхность походила на роскошный луг, усеянный цветами. Воды не было видно, столько торчало голов в разноцветных резиновых шапочках. Среди них безнадеж-

но дрейфовали затертые лодки, опрометчиво вышедшие в плаванье, когда еще имелась полынья.

Головы собрались сюда со всех окрестных поселков, а моя, очевидно, явилась последней. Я долго носил ее по берегу, отыскивая свободное место, прежде, чем бросить ее в эту кучу-малу, чтобы и она немного покачалась там, на волнах, следовало раздеться. Но пляж был плотно усеян телами.

Каким-то чудом я разобрал в этом хаосе высокий голос Жени. Она звала меня на свою территорию, которую захватила, расстелив одеяло. Это было широкое одеяло верблюжьей шерсти, просторное, как армейский плацдарм, на котором нашлось местечко и для моей туши.

Женя сушилась, лежала вверх животом, сверкая каплями воды, прикрывшись лоскутками купального костюма, насколько это еще позволяло употреблять хотя и с огромной натяжкой очень громкое слово «костюм». Но на пляже их было более, чем достаточно, этих трех ярких кусочков материи. И зато нагое крепкое тело было доступно воздуху, солнцу и здоровому глазу художника. У Жени было именно такое тело,— оно рождало в мужчине художника. Вот разве что на ее бедрах вздулся первый жирок, этакие две пухлые подушечки. Может, именно поэтому хотелось взять кисть и краски и убрать этот излишек. Разумеется, на полотне.

Я расстелил рядом с Женей свое полотенце, оттягав кус чужой земли. Но владельцы этого участка резались в карты, и аннексия размером в автономную область прошла незаметно. Тогда я сбросил брюки, сорочку, и, оставшись в плавках, рухнул под солнце. Это был мой первый выход на воды в нынешнем сезоне. Он нуждался в ритуале.

Уложив подбородок на руки и блаженно жмурясь, я поискал взглядом Андрюшу. Он махал мне со средины пруда. А затем подплыл, отряхнулся, точно щенок, рассыпая брызги, и прилег на одеяло.

— Я-то думал, нефтяные разводья. А это твои синяки на поверхности пруда,— сказал я шутливо.

Он шлепнул меня по спине холодной мокрой ладонью. Эта месть вполне возмещала тот моральный ущерб, который я ему нанес, потому что мое белое изнеженное тело мигом покрылось мелкими пупырышками, как кирза.

Мы лежали бок о бок, на животе. Он уже загорел, а моя спина рядом с ним белела сметаной...

«Почему мой сценарий забуксовал, попал в затор?»— подумал я, глядя на муравья, волочившего на себе ствол дерева. Вернее, это был всего лишь кусок сухой занозы. Но муравей сего не знал и тащил тысячелетнюю секвойю. Ну да, затор-то понятен: я дошел до самого щекотливого места, и тут желателен компромисс. Вроде бы по очкам мы выиграли схватку с Сараевым, но директор студии попросил кое-что «написать помягче... закруглить углы»...

Это была его неофициальная «личная просьба», поэтому директор вышел из своего кабинета и отправился к подчиненным сам. Гора нуждалась в магометах.

Мы находились в монтажной, я пристроился на подоконнике среди металлических коробок с проявленной пленкой, а режиссер Николай сидел за монтажным столом и, ввинтившись взглядом в крошечный экран, просматривал отснятый материал. Это занятие не мешало ему выговаривать мне за мою инертность.

— Надо было со всей журналистской прямотой стукнуть по столу кулаком: «Товарищ директор, вы не правы! Прислушайтесь к голосу времени!»— поучал он меня под сдержанное хихиканье девчонки-монтажера.

При своем среднем возрасте Николай слыл одним из патриархов местного телевидения. Говорят, будто бы в незапамятные времена наша студия начиналась с любительства — с деревянной камеры и комнаты в пищевом институте. Потом будто бы на ее самодельный огонек-глазок слетелись два-три журналиста, один фотограф и совсем юный артист, он же Николай Думенков... И будто бы областное начальство многое позволяло первопроходцам здешнего эфира, мол, пусть учатся на своих ошибках... С тех пор многое изменилось, город получил типовую студию с «настоящей вышкой», теперь ее волны раскатывались по области, из края в край, а коли так, начальство взяло бразды правления в свои руки, «инициатива снизу» сменилась «инициативой сверху». И только Николай сохранил свой прежний романтический энтузиазм.

— У меня не тот характер. Не тот кулак,— сказал я.— И вообще не умею творить коллективом. Я или делаю все сам. Или валю на плечи других.

— Очень плохо. Будем бороться с этим недостатком.

Освобожусь, расскажу, как вместе трудились Маркс и Энгельс. Герцен и Огарев, тоже пример.

— А братья Аяксы?— спросил я с невинным видом.

— Можно и об Аяксах,— согласился он, не поведя и бровью.

Девочка-монтажер зажала рот.

Тогда-то открылась дверь, и вошел директор.

— Превосходно! Редакция юмора тоже здесь,— сказал он, имея в виду меня.

— И сатиры,— многозначительно уточнил Николай.

— И сатиры, и сатиры,— успокоил его директор.— Ух, какие мы принципиальные! А сами-то формалистов да буквоедов не переносите на дух, не так ли?— спросил он лукаво.

Но моего режиссера смутить не так-то просто.

— Это не формализм, если исходить из последних событий,— возразил Николай.

— Если вы имеете в виду свой фельетон, то и я, и главный редактор поддержали вас, отстояли вашу идею. С этим известием я к вам и пришел,— сказал директор.— Однако у меня к вам, братцы, личная просьба: вытрезвителем не очень-то увлекайтесь, сделайте этот сюжет покороче, помягче что ли. Овальней! Пусть не слишком царапает глаза. Ну вы, люди профессиональные, знаете, как и где повернуть... развернуть... довернуть... Побольше внимания другим объектам.

Мы выразительно промолчали. Того же требовал и Сараев. То есть он пытался и вовсе выбросить из нашей передачи этот сюжет. Да только не вышло у него, пока.

— Друзья, поймите меня правильно,— заволновался директор, к своей чести не покидая демократических позиций, он мог бы попросту вызвать нас к себе, на Большой Ковер, и там употребить свою власть.

— Как-никак товарищ Сараев — зампред нашего комитета, и нам с ним работать не один год,— пояснил он, вздохнув.

Он умница, директор студии, но из-за чрезмерного увлечения дипломатией у него вечно затурканный вид. Он так и начинает свой рабочий день — запрется в кабинете и давай звонить по телефону, прощупывает высокое мнение даже по мало-мальским пустякам. И не раз при мне его посылало к черту даже самое тщеславное областное начальство. Жалко смотреть на него, ей богу, так и тянет сказать: да брось ты это все, честное слово, есть же своя голова на плечах и притом неплохая.

А он держит растерянно трубку перед собой, красный, как рак, и на глаза вроде бы навертываются слезы. И ему перед свидетелями неловко, а нам, свидетелям, неловко перед ним.

Он это чувствовал и теперь, отводил в сторону взгляд.

— Это, товарищи, не перестраховка,— пояснил директор.— Это, можно сказать, тактический момент.

— И дался Сараеву этот вытрезвитель? Чем он его, интересно, задел?— спросил Николай напрямик.— У нас есть сюжеты куда поострей. Товарная станция, скажем.

— Мне тоже его реакция не совсем понятна,— признался директор.

— А может, он был среди клиентов? Ну и боится, что-то всплывет?— предложил режиссер.

— Николай Петрович, окститесь!— всполошился директор, краснея за бестактность своего подчиненного.— Сараев совершенно не пьет!.. Так, так... Может, поэтому он и против? Натурализм, говорит. Ни к чему, мол, вытаскивать вытрезвитель на массовый экран. Для нас, мол, не типично. Это у них... Мужики? А может, он прав?

— Не прав!— отрезал Николай.— Демагогия чистой воды! У людей есть глаза и уши. Они видят тот вытрезвитель. Они его даже слышат.

— В общем, прошу мою просьбу учесть,— заторопился директор, заспешил от греха подальше и ушел, оставив нас вдвоем.

И вот тут Николай и врезал мне в лоб правдой-маткой, сказал:

— Давай-ка посмотрим истине в глаза. В городе, Вася, ты не напишешь сценарий! День рождения у одного, а завтра у второго свадьба, а третий с Кавказа чачу привез. А нам с тобой надобно поспешать, пока Сараев не добился своего. Сам видишь: он у нас с тобой на хвосте, не отпускает, дышит в затылок!

Я сам думал так, хотя мы и не ходим в гости.

— Ну коли так,— обрадовался Николай,— не будем время терять. Родственница моих знакомых в Сосновой домишко сдает. Переговоры я беру на себя, а ты оформляй свой отпуск, чемоданы собирай!

Берясь за этот телевизионный фельетон, мы и не подозревали, какая вскоре заварится крутая каша. Жанр, конечно, для нашей студии новый, однако сама идея не больно-то мудрена. Есть у нас, как и в иных городах и весях, свои головотяпства, и наша троица решила изв-

лечь их на белый свет, пусть горожане подумают да разберутся: кто? когда? и зачем? И вот тут путь этой затее преградил товарищ Сараев, взял красный карандаш и вычеркнул тему из плана. Мы поначалу не поверили своим глазам, когда нас ткнули носом в алую, будто кровоточащая рана, черту, которую, как нам сказали, провела его твердая рука. Он пришел зампредом в наш областной комитет всего лишь полгода назад и быстро прослыл руководителем мыслящим и смелым. Теперь студийный народ, журналисты и режиссеры, наткнувшись на сопротивление начальства, несли «острый», как у нас говорят, материал на суд зампреду, и Сараев частенько разрешал, брал ответственность на себя. Мы тоже понесли, в полной надежде: вот сейчас растолкуем что к чему, и досадное недоразумение тотчас развеется, как дым от сигареты. Но Сараев и слушать не стал, «нельзя»— и ни в какую! Мы: «Почему? Почему?» А он: «Есть мнение». И весь ответ. Будь я один, плюнул бы на этот фельетон. Мнение есть мнение, и еще неизвестно, кто таится за его бетонной стеной. А я себя любознательным не считал. Зато Николай и Лев были людьми иного сорта. Они кинулись в обком, и меня потащили с собой. И что же оказалось? Да, мнение было, только принадлежало оно самому зампреду.. Война повелась заочно, как шахматный матч по телеграфу. Мы делали ход в той или иной высокой инстанции, и потом нам передавали ответ товарища Сараева, каждый раз очень запутанный, непосильный для нашей простодушной логики. Будто он упражнялся в игре в абракадабру. Но партия в конце концов оказалась за нами. Это стоило нам много крови и безвозвратно потерянного времени, но ради чего он воевал так долго и упорно, это для нас до сих пор оставалось загадкой.

«Между нами, я и сам за компромисс, уважаемый директор,— обратился я мысленно к руководству.— Мне ли бороться с пьянством?.. Но компромисс... Сюжет о головотяпах, легко ли из него сделать голубой святочный рассказ?»

Перед моим носом проползла бесформенная тень. Я поднял глаза и увидел толстого нечесаного и небритого человека в когда-то черных, а ныне выцветших трусах. На нем лежал загар огородных оттенков, ярко малиновый на спине и нежно-розовый на животе. Его крепкие с поседевшими волосами ноги под тяжестью грузного тела увязали в песке. Он, точно когтями, цеплялся

пальцами за песок, для прочности, сделает шаг и ухватит.

— Глянь,— произнес за моей спиной молодой голос,— ну чем не американский битник?!

— Не американский, но битник! Бью — только держись!— самодовольно подтвердил нечесаный и небритый.

Кто-то еще крикнул со злостью:

— Эй, вы! Ваше превосходительство! Что у вас там? Артиллерийский погреб? Уши вянут от пальбы, ей-богу!

— Есть еще, есть еще порох в пороховнице,— криво усмехнулся человек в длинных трусах и прибавил шагу.

— Зарытьев. Тот самый, у которого ружья,— шепнул Андрюша.

— А вот и Наташа,— сказал он затем и приподнялся на локтях.

Она бесплотной тенью брела вдоль берега. Казалось, солнце не в силах было высветить ее, для этого ему не хватало энергии. И вид у Наташи был серый, словно для нее обособленно стоял пасмурный день.

— Наташа,— окликнул Андрей, и ему пришлось повторить это трижды.

Она словно очнулась и подошла, переступая через ноги лежавших.

— Добрый день,— сказала она.

Это предназначалось Жене и мне.

— Здравствуйте,— сказала она персонально Андрюше.

Но мы кивнули дружно. Мы единое целое, нас не разобьешь.

Она опустилась на край одеяла и подобрала под себя ноги. Затем с трудом натянула короткий подол на колени. Не сделай она этого, нам бы и в голову не пришло смотреть на ее ноги. Тут таких голых коленей было завались — матовых и глянцевитых. Но она так долго и демонстративно закрывала свои, что мы просто вынуждены были посмотреть на ее колени. Это было неприлично, и вдобавок они не представляли ничего из ряда вон выходящего. Обычные колени городской девушки — округлые, нежные и слабые.

Тело мое достаточно остыло, приготовившись к встрече с водой. Я поднялся и предложил Наташе:

— А что же вы? Полезли в воду? Снимайте доспехи и вперед! Солнцу и ветру навстречу.

— Мне нельзя, по здоровью. И потом мне не жарко. Мне все равно,— сказала Наташа.

Вид у нее был в самом деле болезненный. И одета она тепло — в темно-синее платье из шерсти. Мы только теперь обратили на это внимание.

Мне стало неловко за то, что мое тело исполнено сил. Будто я обокрал ее. Я подошел к воде, потрогал ногой, осторожно забрел в воду по пояс и, решившись, лег на грудь, поплыл неторопливо.

Поныряв на середине пруда, я вернулся к берегу, вынес свои сто кило из воды и смахнул с них капли полотенцем.

— Ты умеешь стойку на руках?— спросил Андрюша.

Когда-то я умел и на одной. В бытность чемпионом города в парной акробатике. Город, куда я приехал на практику, был небольшим, на соревнованиях набралось всего семь пар, и к тому же я был силовым, то есть, главное делал мой напарник вверху, а мне оставалась роль прочного фундамента. Все же я умел кое-что и при случае мог бы блеснуть. Но это было раньше. Теперь я стал тяжелым, громоздким и пробовать вряд ли стоило, причем на глазах у людей. Стойка бы вышла, но зрелище было б не то, и за это не к чему браться. В акробатике главное — легкость, как будто все пустяк — любое движение. Но когда трясутся руки, а лицо налито кровью, это вызывает жалость. Так я и сказал Андрюше.

— Наташа любит акробатику. Смотреть, конечно. Как первенство, она там. Ни одного еще не пропустила,— пояснил Андрюша.

— Но это бывает редко. Это же не футбол,— добавила Наташа.

— Может, сделаешь стойку? Хотя бы разок?— не унимался Андрей.

— Возраст не тот,— сказал я и разлегся рядом с Женей.

Та закрыла глаза, сладко дремала.

— Тогда я попробую сам. Правда, я умею только на голове и то ногами к стенке, но все же посмотрим,— сказал Андрюша и резво вскочил на ноги.

— Не позорься. Все равно не выйдет,— лениво протянула Женя, не поднимая смеженных ресниц.

— В самом деле. Может, не стоит? Я ведь просто так. Только пришлось к слову,— отступила Наташа.

— Сказано — сделано!— с этим кличем Андрюша, словно бросился с головой в пучину, упер руки в песок, оттолкнулся ногами от матушки Земли и, поболтав в воздухе желтыми пятками, позорно осел на четвереньки.

— И все-таки будет сделано,— упрямо повторил Андрюша и снова уперся руками в песок.

На этот раз он рухнул на спину, грохнулся к соседям на одеяло, смешал все карты.

— Извините,— простонал Андрюша, потирая ушибленный крестец.

Но игроки истолковали его невольное вмешательство по-своему. Они сочли за знамение свыше.

— Вот видишь? Еще когда я говорил: доставай бутылку. А ты все считаешь — рано. Теперь ты сам убедился, насколько я был прав,— заявил один другому, глядя на бутылку, которая лежала на солнцепеке.

Андрюша сел на одеяло. У него был сконфуженный вид. Женя приоткрыла глаза, посмотрела на мужа и скорбно вздохнула.

— Но все равно вы очень ловкий. И будь побольше места, неизвестно, чем бы кончилась ваша затея. Может, у вас вышло бы как надо,— возразила Наташа с казенной улыбкой.

Она была причиной его авантюры и, как вполне воспитанная девушка, должна была сказать что-то любезное, отплатить как бы. И сказала. Но он это принял за чистую монету.

— Вы думаете?— обрадовался Андрей и, поощренный комплиментом, взобрался к мальчишкам на самодельный трамплин из глины и оттуда плюхнулся в воду. А Наташа следила за ним с дежурной улыбкой. Он перехватил ее взгляд и стал выкаблучиваться из всей мочи. Наташа поглядывала на его проделки приличия ради, а он, бедолага, относил это на счет обаяния своего.

Потом он полез в воду и, бешено работая руками и головой, поплыл через пруд. А я остался с Наташей наедине. Женя в счет не шла. Она блаженствовала под солнцем, она отдавалась ему каждой клеткой прекрасного тела, но это был удивительно целомудренный акт, как зачатие от некоего голубя. Словом, ей было не до нас, события не касались Жени.

Мне давно уже не было так скучно, уныло, я извелся от тоски, пока мы сидели с Наташей вдвоем. Ее нудные, будто вынужденные реплики наводили смертельную тоску, а принужденная улыбка вызывала ощущение, похожее на оскомину. Вернее, то, как она растягивала губы, считать улыбкой можно было только с большими оговорками. Это была уксусная гримаса, не иначе, и вот он, уксус, и действовал на мои зубы.

Я замолчал, но ее это не задело. Она безразлично посматривала по сторонам, словно ее окружали сплошь неодушевленные предметы. Теперь я понял, почему Андрей убрался в воду. Он изнемог, иссяк и сбежал подальше, сплавив Наташу мне. Но я не оправдал его надежды. Видит бог, у меня не вышло.

Соседи наши разгулялись вовсю, пили теплую водку на жаре и пытали друг друга: «А ты меня любишь?»

— Когда ты купишь машину, наконец? Хоть «Запорожец» завалящий. Мы бы влезли и поехали. А так пустой разговор,— сказал один из них задиристо, когда факт обоюдной любви был установлен.

— Вот он, «Запорожец». Он там, на донышке,— ответил второй, заглядывая в бутылку.

— Может, мы сию минуту пропиваем стартер. Или ступицы,— добавил он, прикинув.

Их соседство не прибавило веселья.

Я лег на живот и посмотрел на верхушки деревьев. Поверху бежал неуверенный ветер, безуспешно пытаясь причесать косматые гривы листвы на одну сторону. Небо уже выгорело, и по нему тянулись жидкие, какие-то выщипанные облака.

Так вот об этом вытрезвителе. Я прикрыл глаза и попробовал поискать нити, связывавшие Сараева и вытрезвитель. Восстановил по кирпичику наш визит...

Мы приехали на трамвае и прошли пару кварталов пешком, сквозь строй панельных зданий. Дома стояли как близнецы. Или солдаты в выгоревшем на солнце хэбэ. Потом мы свернули с тротуара в самую их чащу. На узких балконах сушилось белье, но это не внесло разнообразия в пейзаж.

— Как бы не заблудиться,— сказал режиссер Николай с опаской, он остановил прохожего.— Будьте любезны, как отыскать вытрезвитель?

Мужчина ухмыльнулся и ткнул пальцем влево.

— Полиглот, может, возьмешь след?— схохмил Лев и толкнул меня локтем в бок.

— Да как?.. Да как ты можешь? Он — твой товарищ по оружию! Он — твой единомышленник!— Николай чуть не задохнулся от благородного гнева.

— Ну неудачно сострил. Ну бывает. Ну не учел,— стушевался Лев.

— Будет вам. Из-за пустяка-то,— вмешался я благодушно, и мне тоже досталось на орехи.

— А твое где чувство достоинства, Василий? Где

твоя гордость?— переключился на меня Николай и еще целый квартал ворчал:— Нашли, когда острить... Все помыслы должны... Самоотдача... Высокий долг...

Вытрезвитель занял целое крыло в пятиэтажном доме на тихой малолюдной улице, казалось бы, удачней места не найдешь — и есть бастион борьбы и будто бы нет, во всяком случае не оскорбляет глаз нравственных горожан. Но полная гармония редка, окна вытрезвителя выходили во двор детского сада. Поэтому, приблизившись к цели своего делового визита, мы увидели под этими окнами ораву малышей, забывших о качелях и играх в песочной яме. Толстенький карапуз с голубеньким в красных цветочках ведерком показывал на окно оранжевым совком и звал:

— Папа!.. Папа!.. Там папу привезли,— сказал он нам и с гордостью добавил:— На мотоцикле с коляской!

Из глубин двора, будто на выручку ему, прибежали две тети в белых халатах и погнали детей на площадку для игр. Малыш с ведерком то и дело оглядывался.

Говорят, когда в нашем городе открылся вытрезвитель, обыватель воспринял это нововведение, словно экзотическую новинку, ходил к подъезду «посмотреть» и с удовольствием ловил слухи, распускаемые таким же обывателем, как он сам, о крахмальных белоснежных простынях и опохмелке, ждущей наутро клиента — рюмка холодной водки и крепкий соленый огурец,— а за спиной терпеливый парикмахер со свежей салфеткой на сгибе локтя. Потом он, обыватель, протрезвел, ужаснулся... О чем, мол, я?

Лично мне вытрезвитель показался чем-то средним между отделением милиции и крошечной сельской больничкой. В коридоре, возле приемного покоя, курили дюжие санитары и два низкорослых милицейских сержанта. Мы спросили дежурного офицера и нашли его в палате. Он наклонился перед смятой постелью и уговаривал кого-то, лежавшего под железной кроватью:

— Вылезай, Ковалев, вылазь! Пусть на тебя полюбуется сын. То-то будет!.. Боится! Стыдно!— сказал он нам.

— А вам?— осведомился Лев с ядовитой усмешкой.

— Жалуетесь,— догадался дежурный.— Все жалуются. Особенно матеря. Думаете, я сам не писал? Рапорт? А прок? Нет помещений.

— Нужно ударить в набат! Поднять на ноги город! Как на пожар!— призвал Николай и дежурного, и ти-

хую нянечку, заглянувшую было в палату, и даже клиентов этого заведения.

— Мужик! Ве-р-р-р-но говоришь!— откликнулись из-под кровати.

— Ковалев, не буянь!.. Вы из пожарной инспекции?— нахмурился офицер, он был в чине капитана.

— Мы из телевидения. Но тоже тушим пожары. В иносказательном смысле,— представил я свою команду, считаясь формально старшим. А сам поглядывал по сторонам и с любопытством, и с некоторым неприятным чувством. Пока судьба миловала, берегла от таких присутственных мест. Но кто знает... может, одна из коечек предназначена для меня. И здешние пациенты, их было трое — за окном сиял чистый полдень, и до часа пик еще оставалось время — не сводили с моей физиономии глаз, угадывали своего.

А честняга Николай между тем просвещал дежурного капитана насчет правды-матки.

— ...до пожарных нам еще далеко. Василий Степанович у нас идеалист,— донеслись до меня сквозь мысли разглагольствования режиссера.— Погасить некий пшик — тут мы, пожалуйста, впереди всех! А критикой, серьезной и принципиальной, этим пусть занимаются газеты... Учтите: я виню не только руководство, но и самого себя. Эх, не всегда мы бываем последовательны до конца!— с горечью подытожил Николай и, принимая капитана в единомышленники, попытался прикоснуться к его плечу, но дежурный успел отступить к дверям.

— Прошу ко мне.— Офицер поспешно указал куда-то в глубь коридора. Дескать, такие вольные речи не для ушей этой пьяни.

— С вами побеседует наш старший редактор, Василий Степанович, а мы зайдем в детский сад,— распределил за меня Николай.

Как тут же выяснилось, я угадал, когда мы отгородились дверью дежурной комнаты, капитан, понизив голос, объяснил:

— Днями привезли одного... Оскорблял ваше руководство... Как его... Товарища Амбарова!

— Может, Сараева?

— Вот-вот!

— Догадываюсь, кто,— сработал я мигом.— Петров! Был у нас, уволили за прогулы. А виноват, мол, во всем товарищ Сараев!

— Не Петров. Фамилия другая. Сейчас уточним,— и дежурный открыл книгу регистраций...

...Я вернулся в сегодняшний день, на берег пруда. Здесь за время моей мысленной поездки в прошлое, ничего не изменилось, по-прежнему светило солнце, и свободный люд наслаждался его лучами, воздухом, и водой. И так же из этой светлой картины выпадали компания пьяниц и Наташа. Она сидела серым призраком, поджав бесплотные колени, и рассеянно смотрела перед собой, словно бы, как и я, путешествовала на своей машине времени. Но я мог дать голову на отсечение — ее в эти минуты не было нигде! Я оставил Наташу в небытии, вступил в пруд и поплыл к Андрею.

Андрюша, лениво раскинув ноги и руки, лежал на спине.

— Ну как она там?— спросил он, глядя в небо, прямо в зенит.

— А-а,— только и сказал я и ушел под воду, вынырнув, закончил:— Ты за нее не переживай. Она не знает, что это такое.

Но совет бесполезно повис над водой, Андрюша был уже далеко, отчаянно греб к берегу, высоко выбрасывая над огненным теменем согнутые в локтях руки, его голова моталась из стороны в сторону, точно кто-то невидимый усердно трепал его за чуприну. Но он зря старался — Наташа ушла.

— Солнце — ее злейший враг,— томно известила Женя, даже не открывая глаз, сама-то нежась под ласковым светилом.— И это ей сказали врачи,— закончила она с усмешкой.

Сообщение было адресовано мне, когда я вылез на сушу. Но предназначалось оно другому. Выражаясь языком бильярдистов, от меня в своего Андрея, так был рассчитан удар. Она размежила жесткие, как стрелы, крашенные тушью ресницы, поинтересовалась эффектом. Тот был равен укусу комара. Андрюша его не заметил, погрузился в глубокие думы. Не добившись успеха, Женя обиженно повернулась к нам спиной.

Алкоголики заскучали по обществу и привязались ко мне. Я лежал к ним поближе, и вот они полезли с протянутым стаканом, расплескивая водку.

— Выпей с нами,— сказал один, пропуская все гласные.

— Не могу. Санитарный день,— сказал я, отстраняя

накалившийся стакан, но во мне уже что-то шевельнулось, подлое.

— Впснм,— повторил непрошеный приятель, снова протягивая стакан.

Я опять отстранил, и это продолжалось долго, пока они не опрокинули бутылку в песок, тогда вопрос сошел с повестки сам собой.

Но потом к нам подступили с трех других сторон. Из дальних поселков подоспели многосемейные орды, и от них не было спасу. Они наступали на ноги, травили запахом жирной домашней еды. А удары волейбольных мячей сыпались градом, мы еле успевали отражать, уйдя в глухую защиту.

Потом за нас принялись дети. Первым ко мне подбежал белоголовый трехлетний карапуз. Он смешно скакал на еще кривых пухлых ножках, утопавших в песке.

— Осторожно. Не упади.— Я привстал на всякий случай.

— Не упаду. Я во как стою на двух ногах!— похвастался малыш.— А кот наш ходит только на четвереньках,— сообщил он, тараща круглые ярко-синие глазища.

— Ну, здравствуй,— сказал я и протянул ладонь.

Он доверчиво вложил в нее крошечную ручонку, и... все,— я растекся патокой, хоть собирай в банку. «Будь ты поумней, и твоему сыну или дочке сейчас исполнилось бы девять лет,— запилил я себя.— Ни в гении не вышел, ни в отцы»,— пожаловался я малышу, мысленно, конечно.

Мы с женой, не сговариваясь, избегали этой темы. Но однажды, незадолго до нашего отъезда из Москвы, Тося не сдержалась, вдруг завела разговор: а не взять ли нам мальчика из детского дома? Она уже и за город скатала, в один подмосковный детдом, постояла у ограды, посмотрела издали на сирот. Их вели через двор парами, тихих, милых, все в темно-синей одежке. Дело было за ужином, я сказал: «Ты недосолила картошку». Она пододвинула солонку и с несвойственным для нее напором спросила: «Ну так как? Возьмем?» Тогда я спросил, стараясь выиграть время, сообразить что к чему:

«Почему именно за городом? Разве их нет в самой Москве?»—«Есть, но сельские дети послушней».—«Хорошо. А почему именно мальчик?»—«Мужчины больше мечтают о сыновьях,— ответила Тося.— А ты разве нет?»

— «Я не исключение,— согласился я.— А вам, женщинам, подавай дочек, однако ты уступаешь мне. Спасибо! Дело не в этом. Может, мальчик и впрямь будет нам дорог, как собственный сын. Но будем ли мы мамой-папой, вот в чем заковыка. Дорогие, любимые, да только дядя и тетя. Всю жизнь! А я так не хочу. Я и без этого дядя, тысячу раз!»

— Я кто?— спросил я малыша, бережно перебирая его неправдоподобно маленькие пальчики.

— Ты — дядя! Давай я тебя поборю!— и он обнял мою шею.

Я прикинулся слабой былинкой, рухнул на спину, и малыш оседлал мой живот. Его победный вопль собрал всю окрестную детвору, и вскоре я оказался на дне великолепной кучи-малы, блаженно вдыхающим молочный запах ребенка.

В нашу кутерьму завистливо вмешалась Женя.

— Дети, осторожней. Раздавите дядю,— сказала она, и ее тотчас постигла моя судьба.

Чудесные проказники тепло дышали в уши, дергали за волосы и носы, засыпали песком, и вскоре мы изнемогли, схватив вещи, бежали по берегу вверх, к деревьям. Здесь я запрыгал на одной ноге, пытаясь второй попасть в штанину. Женя путалась в широком сарафане, билась, как бабочка в сачке.

— Скорей рожайте своих,— посоветовал я, переводя дух.— Не успеете оглянуться, и пройдет ваше время.

Женя вздохнула и посмотрела туда, где остался Андрей. Он сидел на прежнем месте и, опустив голову, пересыпал из ладони в ладонь песок, словно взвешивал свои «за» и «против». Игры под солнцем, у воды поглотили все наше внимание. А мой молодой приятель, ее супруг, между тем замышлял витиеватую психологическую операцию. Он кинулся в нее, очертя голову, а мы спохватились, когда дело уже катилось под гору, набирая скорость и вес.

Вернувшись к себе, я покопался в бумагах, отрыл видавший виды мятый блокнот, с которым ходил в вытрезвитель, и, полистав исписанные страницы, нашел домашний адрес Юрия Геннадиевича Квасова.

Дверь отворила старуха, тучная, словно из расплывшегося теста, с белым, мучным каким-то, неопределенным лицом. Она сощурила близорукие голубые глазки

под бесцветными черточками бровей, пыталась узнать во мне знакомого ей человека.

— Петька, что ль? Нинкин сын?— спросила она и, не дожидаясь меня, сама же ответила:— Нет, не Петька. Тот черный, в Ивана.

— Я к Юрию Геннадиевичу,— помог я старухе, избавил от умственной работы.

— И хорошо!— обрадовалась она, всплеснула мягкими большими руками.— А то умаялась я... Дай, говорит, ему ...этот...— старуха стыдливо хмыкнула,— скипетр. А где его взять?.. Да ты не бойся, проходи.

Я вступил в полумрак коммунального коридора, остановился, давая привыкнуть глазам.

— Вон его дверь,— заговорщицки шепнула старуха, смелость из нее точно выдуло сквозняком.

— Эта?— Я указал на крайнюю дверь.

— Она, она.— Старуха, переваливаясь утицей с боку на бок, отступила, укрылась в непроглядной черноте угла.

И вдруг крайняя дверь распахнулась, и на пороге, в прямоугольнике дневного света возник голый по пояс мужчина в полосатых пижамных штанах. Он был высок и худ, на боках обручами выпирали ребра. И нос его был длинен, и само лицо под желтым шалашом прямых волос. Он загородил вход в комнату и высокомерно предупредил:

— Я последний рюрикович! Мы — Квасовы!

Из угла донеслось шумное взволнованное дыхание старухи.

— Ошибаетесь! Вы не последний. Я тоже рюрикович,— возразил я после некоторого колебания.

— Ну да?— не поверил Квасов.— Из каких же тогда будете?

Я вспомнил известную оперу и назвался:

— Собакины мы!

Он, несомненно, подумал о той же опере и растерялся:

— И впрямь были такие.

Квасов открыл дорогу, и я беспрепятственно прошел в комнату, ставшую ареной длительного запоя. На столе, на полу, возле антисанитарной кровати трупами валялись пустые бутылки, огрызки яблок, еще чего-то, чью личность можно было установить лишь с помощью экспертизы, и банки из-под килек в томате.

— Как же быть теперь?— расстроился хозяин комнаты, войдя следом за мной.

— А что вас собственно беспокоит? Один рюрикович? Два? Какая разница?— спросил я, подавая пример беззаботного отношения к жизни.

— Не скажите. Разница ой-ей-ей! Раньше всем,— он изобразил руками-граблями объемистый шар, имея в виду огромную страну от Арктики до Китая, от Польши до тихоокеанских пучин,— всем этим владел я один,— смущенно признался Квасов.— А ныне нас двое. Вот я и говорю: как быть?

— Ах, вы об этом,— произнес я небрежно.— Поделим! Вы согласны?

— Куда ж деться,— обреченно пробормотал Квасов.

Мы сгребли объедки и грязные стаканы на край стола. Я взял с подоконника старый номер спортивной газеты, расстелил на столе и, достав из кармана авторучку, нарисовал во весь разворот контуры великой державы. Граница раздела пролегла по Уральскому хребту.

— Выбирайте!— предложил я благородно.

Кусков, не раздумывая, позарился на большую, азиатскую часть. Я скромно взял под свою высокую руку европейский остаток страны. И тут мой партнер что-то заподозрил, низко наклонился над газетой и, почти касаясь носом, ревниво осмотрел мой удел. Наверно, перед его замутненным мысленным взором, искажаясь, однако не теряя красы, проплыли картины давно обжитой земли, старые города, памятники культуры и, может, курорты Сочи. Он понял, что продешевил, обескураженно поскреб затылок и попросил:

— Отдайте мне Майкоп!

— С какой стати? Да еще и Майкоп?— спросил я холодно.

Он помялся и сказал:

— У меня там знакомая продавщица.

— Добро. Я отдам. Если расскажете взамен, за что вы так не любите Сараева?

В его омутах-глазах промелькнула вполне трезвая мысль.

— Не люблю? Его? Да никогда в жизни!.. Я и не знаю такого. И слыхать не слыхал! О таком.

— Значит, сделка не состоялась. Привет от продавщицы!— Я сделал вид, будто ухожу.

— Ээ... погодите!

Трезвая мысль погасла, его зрачки снова затянуло глухой бурой топью.

— А скажу, он мой? Майкоп?

— Вместе с торговой сетью!

На столе лежала писулька. Я, как чувствовал, спешил от платформы бегом и заметил ее еще с порога. Стол был завален моими бумагами — записями, черновиками,— а посреди машинка с заправленной страницей, и все же она так и бросилась в глаза — белый лист с кривыми линиями строк. Буквы разбежались, словно тараканы. Я вошел, и они прыснули кто куда. Можно подумать, стеснялись содержания записки. Этот почерк я узнал с полувзгляда, он отражал энергичную натуру Николая. Когда режиссер писал, из-под его пера летели брызги. Изрядно покорпев, я расшифровал оставленные им каракули, сложил в осмысленный текст:

«Был. Прождал полтора часа. Не спрашиваю, где ты был, но совершенно ясно: ты не умеешь экономить собственное время. Так что учти. При встрече расскажу, как работал Бальзак. И главное. (Хотя это тоже главное). Посмотрел то, что ты уже сделал. Впечатление: вроде бы все верно, да больно ты, дружище, дипломатию развел. Все-то у тебя округло, факты и лица в тумане. Этакая дама под вуалью. Потому и тычешься туда-сюда, и нашим, и вашим. Василий, чертушка, ведь я знаю тебя, ты можешь! Пиши смело, дерзко! С юношеским задором! С огоньком! И работа, вот увидишь, пойдет!» Это и без него мне известно. Если писать, как хочет Николай, можно и за неделю сварганить сценарий, не сидеть на отшибе в этом дупле. Да только тогда вместо экрана наш фельетон проследует другим путем, в тупик, в мусорную корзину. Стрелочник Сараев не тот противник, с кем можно драться с открытым забралом. В этом я лишний раз убедился, обменяв Майкоп на историю, рассказанную Квасовым.

Вдохновив и призвав, мой режиссер укатил в город будоражить-зажигать других. Записку он заканчивал так: «ПЭ. ЭС. А это тебе для бодрости. Кути!!!» Рядом с машинкой торчала бутылка кефира с этикеткой от лимонада. Можно представить, как ему было смешно, когда он переносил наклейку с одной посудины на иную. На что-нибудь покрепче у моего товарища попросту не хватило фантазии. Юмор его наивен, как и он сам. По-

рой для Николая тонкое классическое остроумие — сплошные потемки, но зато, если на экране кто-то, запнувшись, шлепается наземь, он хохочет, как сумасшедший, до колик и слез. В этом смысле мне с единомышленниками явно не повезло, и Лев, и Николай под стать друг дружке, как те два сапога. И я потом — будь сценарий принят — еще набрался бы с этими братцами лиха, изругался до хрипоты. Но, слава богу, я, сбагрив рукопись, тихо, на цыпочках уйду, и пусть они делают с фельетоном все, что им угодно.

И все же я был тронут его заботой. Он решил меня развлечь и отнесся к этой задаче с присущим ему упорством. Оно не пустяковое дело, перенести этикетку. Ты сперва ее намочи, сними, не повредив, и наберись терпения, высуши и только потом наклей.

Я наполнил кефиром стакан и уселся за стол. Под локтем хрустнул пустой спичечный коробок. Из него головешками торчали окурки. Выходит, он, всегда уверенный в конечном успехе, на этот раз нервничал, смолил сигарету за сигаретой, пепел падал на стол, на его колени. И вон там, у окна, горстка пепла, крошечный могильный холм...

«Будь здоров, Николай!»— провозгласив тост, я с наслаждением выпил кефир, разделся и залез под одеяло.

Во время сна я старался быть начеку. В одну из последних ночей мне приснилось, будто я написал тот самый рассказ. То есть он прошел у меня перед глазами от начала до конца, точно фильм. Но о чем там велась речь запомнить не удалось. Проснувшись, я разволновался,— прямо места себе не находил. Весь день бродил возбужденным и напрягал память, пытаясь восстановить хотя бы одну деталь. Зацепившись за ее уголок, я бы вытащил на поверхность и все остальное. Усилия мои не помогали, сколько я ни морщил лоб. И все же это событие стало праздничным для меня. Когда я вспоминал об этом, расцветала душа, хотелось что-то делать...

Этой ночью не случилось ничего существенного,— второстепенные сны о разных пустячках. Мелькали чьи-то красивые кошки, и режиссер Николай искал в универмаге обувь на свой огромный, не по росту, размер. И все это кончилось тем, что ему предложили резиновые ласты для охоты под водой, и он остался доволен.

Раненько утром я вылетел из постели, наспех сделал несколько упражнений по системе Боба Гофмана, пытаясь раздвинуть стены, приподнять потолок и вдавить в

половицы стул, затем, напевая: «А мы швейцару: отворите двери», понесся под кран и постонал там, повыл под ледяной струей, изображая из себя черт знает что.

Потом я выпал из времени, вынесся вон из этого шумного мира и повис в вакууме, в стороне от Вселенной. Были только стол и стул, и я — и мы висели вместе, от всего обособившись. И если глухо долетал с платформы голос, предвещая поезд, то это был далекий отзвук жизни, оставшейся внизу.

Я писал, уйдя с головой в свое занятие, и когда Андрюша подал голос во второй половине дня, ничего не понял вначале, только почувствовал, как вернулся в обычный мир. И мебель еще восстанавливала свои твердые очертания, которые слились было в широкую ленту во время моего полета. И стул еще покачивался подо мной.

Я только что нашел удачный ход и торопливо писал, стараясь не выпустить мысль, пойманную после длительных ухищрений, а он сунул голову в дверь, осторожно спросил:

— Работаешь?

— Угу,— буркнул я, стараясь не отвлекаться.

Обычно он не мешал. На эти часы было наложено табу,— об этом знали все на даче. Но значит, что-то произошло, если он потревожил не вовремя.

— Может, погуляем?— сказал он вопросительно.

— Еще немного. Один абзац. Потерпишь?— сказал я, не поднимая головы, опасаясь приостановить свободный бег пера.

— Сочиняй, сочиняй. Ты сочиняй не спеша. Я потерплю,— заверил Андрюша и принялся, выжидая, маячить между кустами смородины.

Он отвлекал меня, и перо ползло теперь по листу с остановками, точно суставы в руке заржавели, и в движениях руки появились перебои.

Едва я управился с последней строчкой, Андрюша вернулся и затянул свое.

— Ты уже?— спросил он утвердительно.

Он стоял за окном и, волнуясь, обрывал с веток листья.

Я понял: ждать ему некогда. Его изгрызли какие-то заботы, он их не в силах отложить, ему неймется. А прогулка — удобный предлог. Это было заметно по его глазам. Они горели решимостью и нетерпением. Я не знал

еще, в чем дело, но то, что он что-то затеял, было понятно без слов.

— Хорошо, мы пойдем. Погуляем,— сказал я, уступая.

Андрюшу с места понесло по тропинке, будто сдунуло ветром, настолько он спешил. Я еле успевал за ним, но, выжидая, помалкивал.

— Ты куда? На пожар?— крикнула Женя супругу.

Она сидела на скамеечке для ног под яблоней и вязала красную кофту, под крылом Ирины Федоровны. Та неподвижно покоилась в своем полосатом красно-белом шезлонге, собирала солнечную энергию. Солнце, ослабев, сползло к горизонту, лучи его еле теплились, но балерина подбирала даже крохи.

— Мы гуляем,— ответил Андрюша на ходу, развивая скорость, сомнительную для прогулки.

Так в темпе марафона мы пробежали по всей длине нашей улицы, затем свернули на другую и так же без звука пролетели еще квартала два. Тут он убавил ход — мы приближались к Наташиной даче. Она торчала меж сосен в полусотне шагов, двухэтажная, сверкающая стеклами веранд и просторной мансардой. Ее свежекрашенные оранжевые стены горели среди зеленой листвы.

— Вот ты все сочиняешь, пишешь что-то... Ну и как, по-твоему, любовь все может? Ну, сделать несчастного счастливым? Ну, так, чтобы он полюбил и его полюбили, и все для него изменилось? Или это враки, только выдумывают в книжках?— спросил Андрюша вдруг.

Его дыхание сбилось, он глядел мне в рот.

— Да нет, это все верно. Так оно и есть. Но только бывает всяко. Кому она дарит шишки, кому пироги, хоть смейся или плачь,— сказал я и впервые подумал о себе.

Словно меня подтолкнули в затылок — а что она сделала со мной? Кем я стал: счастливцем, баловнем судьбы, или, сам не зная того, жалкой жертвой?

— К чему ты, собственно, клонишь?— спросил я Андрея.

— Я так. Ни к чему. Подумал и только,— ответил он осторожно и совсем уж шаг придержал, почти шел на месте.

— Отличный поселок: сосна и песок, не правда ли,— ни с того, ни с сего сказал Андрюша, заложив руки за спину и наконец принимая вид гуляющего человека, а грудь его еще вздымалась от одышки.

— Места зело прекрасные,— сказал я в тон ему.

Он старался наладить непринужденный разговор, и я помогал ему в этом.

Продолжая в подобном духе, мы миновали Наташин участок. Там, за оградой, было пустынно. Только из-под личной «Волги» художника торчали его ноги в старых брюках и стоптанных туфлях, как-то скрашивая безлюдье.

Мы прошли с десяток метров вперед.

— Повернем назад?— предложил Андрюша.

Мы стали ходить туда-сюда, фланировали вдоль дачи. Андрюша нес всякую околесицу. Это было беспорядочное движение мысли. Он бросил ее на произвол, а сам ушел куда-то, может, в страну грез, и мысль его, без управления, носилась оголтело, как муха в банке. И когда она начинала биться в стекло, он, спохватившись, возвращался из несуществующей страны и спрашивал:

— О чем я говорил?

Мы связывали порванную нить, он запускался в новую тему, а я исполнял при нем обязанности ткачихи, следил, как вьется нить. И только мой покладистый характер спасал нашу беседу.

Мы прошли мимо Наташиной дачи в третий, четвертый раз, но там ничего не менялось. Даже ноги художника оставались в прежней позе. Очевидно, он так и заснул под машиной, убаюканный движением своего гаечного ключа. Теперь на него капает масло, а он безмятежно спит и снятся ему прекрасные бензоколонки и, может, гадкий передний мост, который, выкатившись из-под машины, самовольно мчится вниз по Горького к Манежу — прямо на красный свет.

Потом я отключился сам, стал мысленно перебирать собственные делишки. «Так что это,— роилось в голове,— благостный венец или катастрофа — то, что любят меня?»

И между тем, внося свой вклад в беседу, я временами повторял:

— Да, да. Конечно.

И беседа текла без сучка и задоринки.

Мы ходили туда и сюда очень долго, дачи и сосны стали постепенно раскачиваться перед глазами, будто я угодил на гигантские качели. Не знаю, к чему бы это привело, не появись в конце концов сама Наташа. Она возникла в гамаке, словно ее туда посадили в наше ко-

роткое отсутствие, пока мы отошли на минуту и затем вернулись назад. Она сидела как ни в чем не бывало, с такой гримасой, будто не выходила из гамака сотню лет, и это ей опостылело, сидеть навесу между стволами деревьев.

— А мы вот гуляем, случайно проходили мимо,— солгал Андрей, он буквально впился в ограду, точно клещ, повис в неудобной позе на зубьях штакетника.

— Вы сегодня милы и похожи на лесную диву,— произнес он вдруг и покраснел.

Он выпалил эту фразу, точно заучил — единым махом!

Сомнений не было: Андрюша флиртовал. Это выходило у него очень неумело. То, что он хотел выдать за тонкий и якобы уместный комплимент, было шито белыми нитками. Грубые швы так и лезли в глаза.

Вряд ли кто-нибудь еще так выпадал из светлого праздника воздуха, солнца и сосен, как эта постная угрюмая Наташа. Она тут инородное тело, на фестивале жизни, и скорей похожа на кладбищенский фрагмент.

— Лесная дива? Даже так? Он сердцеед, а я-то этого не знала,— сказала мне Наташа.

Только по сузившимся зрачкам, по мгновенной волне, пробежавшей по губам и растаявшей, было видно, что ей на минуту стало забавно.

Я удивленно развел руками, присоединяясь к ней. И для меня было в новинку это новое Андрюшино амплуа.

— Это правда! Вы действительно похожи. Я сам читал в одной сказке. Там есть такая дива,— копия, точь-в-точь! В какой не помню, но это именно так,— настойчиво сказал Андрюша и стал багровым.

— Куда мне до сказочной дивы,— промямлила Наташа.

Ей просто было безразлично: похожа она или нет. Но Андрей не унимался и гнул свое.

— Вы сами не знаете! Спросите у него.

Он обращался ко мне за поддержкой. И что еще я мог сказать женщине, даже если ей и безразлично? Я сказал с фальшивым подъемом:

— Конечно, похожи! Особенно в гамаке. Он, знаете, словно бы уносит вас в небо... к солнцу!

Теперь у нее шевельнулись брови, но дальше этого не пошло. Заряд эмоций у Наташи был, видно, невелик. Его хватило на краткую вспышку, на этакий пшик.

— Заходите,— якобы спохватилась она без энтузиазма.— Не то мы будто цыгане. Кричим через забор.

Это был жест, продиктованный приличием. Есть обычай приглашать, говоря: «Заходите, милости просим»,— такая дань гостеприимству. И теперь наш черед блеснуть воспитанием,— выразив «спасибо», отказаться. Я так и сделал. На правах старшего я ответил:

— Спасибо. Но как-нибудь потом. Не сегодня.

— Куда нам, собственно, спешить?— забеспокоился Андрюша.— Посидим, немного поболтаем.

Не успел я моргнуть, он очутился за оградой. А тогда и я вошел в калитку, другого мне не оставалось.

Едва мы умостились перед гамаком на пеньках, из-под веранды вылезла мохнатая собака — колли. Белая шотландская овчарка с рыжими пятнами походила на большой мохнатый коврик,— на нее хотелось наступать. И я знал одного пса-провокатора. Он специально лез под ноги, а потом злорадно хватал за штаны.

Собака отряхнулась с шумом, по-лошадиному, и пошла в нашу сторону.

— Великолепное животное, шедевр природы,— сказал Андрюша льстиво.

— Куть, куть, куть,— поманил Андрюша собаку, опасливо протягивая ладонь.

Но собака, обогнув его, подошла к хозяйке.

— Не люблю собак. Это папа — собачник,— пояснила Наташа, брезгливо отталкивая собаку.

Собака ушла под веранду. Ее уши недоуменно шевелились на ходу.

— Я вас понимаю. Этот мерзкий запах, блохи и тому подобное — вечные спутники собак,— беспринципно перестроился Андрюша.

Наташа нагнулась за еловой шишкой, а он подмигнул мне залихватски, как свой своему. Но я не понимал Андрюшу.

Есть женщины, из-за которых можно, потеряв разум, натворить черт знает что, и никто из мужчин не осудит. Наташа не годилась в их число. Но Андрюша не ведал удержу, рассыпался бесом.

У Жени тем временем сработала сигнализация — легендарное женское предчувствие, она известила об угрозе, нависшей над ее семейным очагом. И точно указала источник. А Женя не стала мешкать, тотчас бросилась в бой.

Появление Жени было стремительным. Ее лицо пы-

лало отвагой, маленькие ноздри слегка раздулись, приняли изящную чеканную форму. Она стала прямо-таки красавицей, наша Женя, и безликая Наташа окончательно померкла перед ней. Одно лишь беглое сравнение стерло ее с лица земли. Теперь в гамаке покоился бесцветный призрак. Я не был бы удивлен, пройди она сейчас сквозь стены или сосны.

Превосходство Жени было явным, Андрюша, забывшись, не сводил восхищенных глаз с юной жены. Словно пил из чаши напиток богов — так он смотрел на нее неотрывно.

— Вот вы где?— произнесла Женя, дрожащим от гнева голосом.— А я-то вас ищу. Совсем сбилась с ног!

— Мы гуляли. И зашли. Мимоходом,— покорно ответил Андрюша, все еще находясь под чарами жены.

Возбужденный Женин голос прокатился под синим куполом молодой звонкой грозой. Он поднял всех тут, на даче, привел в движение в этом зеленом дворце. Будто их усыпил злой волшебник, а она пришла, разбудила.

И теперь вокруг все зашевелилось. Вначале выполз из-под машины перепачканный художник, пробурчал «добрый вечер», стал курсировать между машиной и гаражом с канистрой и шлангами. А собака колли вылезла наружу вновь и начала игриво носиться по участку, опекая воображаемых шотландских овец. Тут же загундосили вечерние комары. И, наконец, на веранду вышла Наташина мать, сухая и крошечная, женщина-гном.

— Ну, как наша дача? Видели все?— спросила она первым делом с веранды.

— Нет еще. Не удостоились.

— Наташа, конечно, не сообразила. Тогда я покажу сама,— сказала женщина-гном, спускаясь по лестнице боком, как маленький ребенок.

— Дочь не догадалась, потому что ей все равно. Но мне здесь нравится. Сущий Эдем!

Началом экскурсии был огород. Женщина шла впереди по тропе. Мы обогнули гуськом за ней редиску и укроп, затем спустились в погреб. Он был выложен льдом.

— Здорово,— сказал Андрюша, хотя это был самый банальный погреб, такой имелся у каждого хозяина в поселке.

— Это что,— обрадовалась польщенная женщина.— Сейчас мы посмотрим на вишни.

И вишни были обычные. Сколько мы ни щупали жестковатые листья, ничего не нашли такого, что выходит за рамки природы: рядовые листья, отливающие зеленым глянцем, и все.

— Чудеса! Еще такого не видел,— откровенно соврал Андрюша.

Он вышел далеко за пределы, в которых порядочный гость льстит хозяевам. И делал он это сознательно. Сомнений не было ни у кого, за исключением доверчивой хозяйки.

Женей овладело беспокойство — в здравом ли он уме, ее муженек? Но тот отвел глаза, и тогда она посмотрела на меня. А я и сам еще не понимал, к чему Андрюша клонит, и только пожал плечами в ответ.

Затем на очереди оказался красный металлический гараж. Держаться там без противогаза было безумием, но художник как ни в чем не бывало пел «Красную розочку», копаясь в ящике с гайками. Пел он так, точно во рту у него сидел мохнатый шмель.

— Мóлодежь пришла,— удовлетворенно отметил художник и снова зажужжал себе под нос.

Мы вылетели наружу, задыхаясь,— бензиновый воздух был предельно плотен.

— Фантастика!— воскликнул Андрюша, старательно пряча глаза, и лицо женщины-гнома стало самодовольным.

От гаража мы взяли вглубь и пошли вдоль тыльной ограды. Справа по борту нависал мрачнейший забор, а по его гребню был натянут провод.

— Тут живет Зарытьев,— сообщила Женя.

— Беспокойный хозяин,— нейтрально отметила женщина-гном.

— Если говорить по чести, вы достойны лучших соседей,— запротестовал Андрей и прибавил:— Я уважаю, конечно, скромность, но...

В собственно даче он просто изошел, когда мы тянулись затылок в затылок из комнаты в комнату, минуя громоздкие и полированные доказательства семейного расцвета.

Украшением гостиной служил дряхлый старик в новеньких скрипящих туфлях большого размера. Его здесь держали в качестве семейной реликвии. Он поднялся из плетеного кресла и сделал несколько шагов навстречу. Туфли его пронзительно заскрипели.

— Вы совсем еще молоды, прямо богатырь,— сказал ему Андрюша.

А затем он покатился совсем, окончательно потерял голову.

— Удивительно и бесподобно! Но самое приятное место здесь, где гамак,— многозначительно намекнул он Наташе, едва наш круг замкнулся возле гамака.

Наташа по-прежнему болталась между сосен, пока мы совершали обход.

Женя открыла рот, но ничего не сказала и просидела остальное время, зловеще помалкивая.

Он же ломился напролом, лез из кожи на своем пеньке, изысканностью манер превзошел цирковых артистов, вышедших «на комплимент», сверлил Наташу взглядом и даже пытался пересесть на гамак, но из этого ничего не вышло.

— Он не выдержит, оборвется,— сказала Наташа замогильным голосом.

Стрелы, которые он пускал беспрерывно, проходили сквозь сердце бесплотной Наташи, не оставляя следа. Тогда он удвоил усилия, вконец ошалел.

— Держитесь, Наташа. А мы посмотрим с Женей, как он сядет в лужу, этот донжуан,— сказал я, еще надеясь, что Андрюша шутит и только лишь заходит далеко.

Андрюша сделал паузу, глотая слюну в пересохшей глотке, я тут же вклинился, и это сказал, пока не поздно. Но бесполезное усилие, я только выжал кислую улыбку из Наташи, да получил от Андрея укоризненный взгляд. А Женя мрачно усмехнулась, она ждала, когда настанет час расплаты и муж предстанет перед ее судом.

И ее час наступил, когда мы вышли на улицу, Жене не терпелось, не хватало сил донести до дому свой карающий меч. Она дергала мужа, делала знаки, стараясь увести его в сторону и расправиться с ним наедине, на пустынной улице. Андрюша не поддавался, цепко держал меня под руку, не отступая. Но рано или поздно это случиться должно было, на участке я свернул к себе, оставив их вдвоем.

— Ну?— спросила Женя.

— Ты же знаешь: я люблю тебя, и о чем тут речь,— торопливо заладил Андрюша.

— Да-а?— протянула она, словно провела по скрипке смычком.

Это все, что я нечаянно услышал, шагая по тропинке. Было темно, тьма скрывала их фигуры. Только порой доносилось их бормотание. Его временами покрывал бодрый неусыпный голос с платформы: «Внимание, идет поезд»,— затем отдаленно гремели вагоны. Женя еще долго выясняла отношения с мужем. Их неразборчивый говор прерывался поцелуями. А вокруг пахли ночные цветы, бередя неясные чувства. Чего-то хотелось, того, что уже когда-то было или еще не было.

Наступила ночь. Голос с платформы пролетел над поселком в последний раз, и сразу ударили ружья Зарытьева, точно с крепостной стены.

Под утро хлынули дожди и днями шли не переставая. Накинув утром плащ из черного хлорвинила, я скакал галопом через лужи в магазин и так же мигом возвращался к себе, задолго до воздушных ванн. Не знаю, как обходилась балерина. То ли изнывала на веранде, проклиная погоду. То ли, невзирая на ливни, стояла под секущим дождем, отважно добывая бессмертие. Мне уж совсем стало не до нее.

В первый дождь опять наезжал Николай. Вода струилась в три ручья по его вдохновенному лицу. Он шумно отфыркивался, точно плыл по дождю вольным стилем.

— Что там новенького у тебя? Ну-с, с пылу, с жару?— спросил он сквозь водные струи.— Дерзал? Дерзал!

Я повесил его плащ за дверью под навесом и вернулся в комнату. Николай стоял над моим столом и читал верхнюю страницу черновика.

Здесь, в комнате, его лицо показалось мне серым и осунувшимся. Челюсти режиссера свела судорога, он хотел сдержать зевок и, не вытерпев, зевнул с хрустом.

— Две ночи репетировал,— сказал Николай виновато.— Завал с передачей. Представляешь, главный герой потерял голос. Театр народного творчества из Степного района. Вызвали их, ну и ребята на радостях всю дорогу пели, драли горло. И вот хоть смейся, хоть плачь: парень шипит, словно яичница на сковороде. Мы ему припарки и другое подобное. И так двое суток напролет,— он с усилием развел слипающиеся веки.— Но ты меня неправильно понял. Я не против энтузиазма!— сказал он, встрепенувшись.

— Я не сказал и слова. Давай-ка ложись на кровать. Отсыпайся. Нет ничего лучше, чем спать под дождик, когда тот шумит за окном,— предложил я уставшему коллеге.

— А по коже бегут мурашки,— мечтательно подхватил режиссер.

— Ну и спи. Когда еще подвернется случай? Чтобы капли стучали по крыше, а в окно запах листьев. Лови мгновенье, режиссер!

— Разве что в самом деле?— произнес он неуверенно и тут же запротестовал, будто посягали на его честь:— Ни в коем случае! Я приехал работать! Вот именно! Я придумал новый поворот.

— Оставь его пока при себе. Не сбивай! Вот закончу сценарий, и тогда будем вертеть туда-сюда, куда и как угодно,— отверг я тотчас и наотрез. День спустя ему будет другое видение, полярное этому — он типичный режиссер. И ты сиди, перешивай сценарий заново.

— Поворот интересный.— Голос его стал медовым, словно он рекламировал конфетку.— Фельетон позовет! Поведет за собой!

— Я туп и упрям.

— Ты был прав: у тебя не развита потребность в очень важном. В коллективном творчестве!.. Кстати, я обещал рассказать, как трудились Ильф и Петров.— Он зажегся вдохновением.

— Погоди. Прав не я. Права Мурашева: почему бы тебе и в самом деле на ней не жениться? С мужем у нее по сути все кончено давно. Она — личность тоже творческая. У вас будет не семья — коллектив. Творческий.

Выложив это, я едва не прикусил язык. Ай-яй, так проговориться! И другой бы тут же нахмурил брови: а ты, мол, откуда знаешь, сидя на отшибе? А ему и в голову не пришло.

— Да, да, ты прав. Надо бы соснуть часишко,— сразу заторопился мой гость и начал разуваться.

Но, уже сидя на постели, он что-то вспомнил, хлопнул себя по лбу:

— Я почему приехал? Поворот, это было потом, придумался в электричке. Сараев! Представь себе, зачастил к нам, в твою редакцию, к Леве. Что ни день, он у нас. Ближе, говорит, к живому делу! Ну как, говорит, товарищи, работа? Славим, говорим, труд, боремся с пороками! Давайте, говорит, товарищи, не жалейте талантов и сил, а мы вас поддержим! А взгляд так и бегает,

так и шарит по столам. До чего, мол, они успели докопаться? Каково?!

Лично я много от Сараева и не ждал, однако счел нужным удивиться:

— По-тря-сающе!

— Это только присказка. Сказка впереди,— посулил Николай, очень собой довольный.— Знаешь, где до нас работал Сараев?

— Будто бы в исполкоме, городском.

О! Теперь соображаешь? Ну, разумеется! Въехал вытрезвитель в жилой дом по инициативе товарища Сараева! Волюнтаризм чистой воды! Указал — и все! К нему воспитатели, папы и мамы, а он им: не ваше дело, значит, так надо. Это он трудящимся! Позор!.. Да, о чем я?.. Вот почему наш фельетон ему поперек горла. Начнут искать виновных, а это, оказывается, он, Сараев! Представляешь, какой стыд?— В конце своей тирады Николай не выдержал, забегал по комнате в стираных и чиненых носках. Оберегая свою независимость от женщин, он научился стирать, штопать и варить супы.

«Ах, Коля, Коля,— подумал я, глядя на его носки,— а зашил ты дырку коричневой ниткой. На зеленых-то в белую полоску носках. И сказка твоя, доморощенный сыщик, тоже присказка — не боле, а сама сказка вот именно впереди».

Есть в этой сказке и злодеи, и жертвы, и даже домотшельник, с которым происходят чудеса, хотя по правде-то никакая она не сказка, а суровая криминальная быль. И началась история вполне житейски.

Однажды вызвал начальник РСУ прораба Квасова, тогда человека малопьющего — по праздникам и более ни-ни, вызвал и приказал: «Вот тебе дом, перестроишь под вытрезвитель. Знаешь, с чем его едят?»— «Не пробовал»,— признался Квасов. Начальник объяснил и закончил словами: «Смотри, дело новое. Не испорти. Вот тебе проект». Пришел Квасов к дому и видит: место словно создано для вытрезвителя, если он то, что о нем говорят. Дом в тихом переулке, вокруг бурьян да складские бараки, особняк и есть в прямом смысле слова. Случится что, ненароком напьешься, попадешь — не узнает ни одна знакомая душа. Завез Квасов стройматериалы, лихую стройдружину привел, и тут-то завертелись они, чудеса. Для начала случился пожар, потом, что ни ночь, исчезали цемент и кирпич. И кровля. Словно нечистая сила ставила в колеса палки, тормозила капремонт.

И дело кончилось вселением вытрезвителя в жилой многоквартирный дом. Мероприятие важное, оно ждать не могло, когда он, Квасов, управится с работой. «Что ж, виноват, хотя и нет моей вины. Сплошное колдовство»,— подумал Квасов и собрался было перевести дух, но не успел, вручили ему новый проект, сказали: «Перестрой особняк для некоего Бобылева. Распоряжение подписал сам товарищ Сараев». И снова полились чудеса, только теперь обратного рода. Везут все, только затребуй, и стройматериал при том наивысшего сорта. «Волшебство! И кто он такой, Бобылев? И кто ради него так щедро колдует?»— гадал прораб. Гадал, гадал и нащупал: этот Бобылев кем-то приходился самому товарищу Сараеву: не то шурином, не то свояком. Отгадка была близка, да Сараев к ней не подпустил, задержал на пороге. Приписал он прорабу и былой пожар, и краденые стройматериалы, и поехал Квасов в исправительный лагерь.

Но всего этого Николай не знает, а если и узнает, то, во всяком случае, не из моих уст.

— Ну, стыд — не велика для Сараева ноша. Его-то он как-нибудь переживет. Не стал бы зампред ради этого бить в барабаны, седлать боевого коня. Тебе не кажется, что за его паникой стоит нечто более весомое, чем стыд?— Это все, чем я мог поделиться с режиссером.

— Ты недооцениваешь роли совести в жизни человека,— напыщенно возразил Николай.— И вообще: я приехал работать, не спать. Ты должен был строго, невзирая на дружбу, меня одернуть. А ты потрафляешь моей минуте слабости.— Он с отвращением взглянул на свои разутые ноги.— Василий, я такого от тебя не ожидал. Ты это учти. А теперь дай новое, что ты за это время сделал. Я почитаю.

— Не дам!— отрезал я.— Пока не закончу! Вот напишу, как все это вижу, и тогда читайте, марайте, добавляйте на свой вкус.

— Василий, что с тобой?— опешил режиссер.

— Со мной-то, наконец, все в порядке,— заверил я и, подтверждая свое духовное здоровье, запел: «Я люблю тебя, жизнь...»

— Я знаю, ты склонен к индивидуализму, келейному творчеству. Но не до такой степени, Василий?

— Все равно я не дам и надеюсь, что это взаимно,— непреклонно пропел я, переиначивая текст песни на свой лад.

Мы еще некоторое время пособачились, и Николай, удостоверившись в моей твердости, которую он упорно именовал «детским упрямством», вернулся в город, а я снова сел за письменный стол.

Пожалуй, впервые я почувствовал к сценарию подлинный, несиюминутный интерес и даже увлекся. Это было похоже на плетение головоломки — и высказать правду, и вместе с тем ее упрятать, запутать, сбить со следа. И кто-то виновен, и в то же время, пойди угадай, кто. Я писал целыми днями, лишь меняя орудия труда — машинку на поршневое стило и наоборот. И только вечерами выбирался на местную почту.

Я шел вначале по тропинке, стараясь не касаться высокой травы. На широких лентах осоки крупными прозрачными гроздьями лежали холодные капли. Они сверкали, словно ртуть, еле держались на листьях. Их тронь, потом спасай туфли и брюки,— суши целый день, потом утюжь под матрацем, как в давние холостяцкие времена. Но гораздо опасней были деревья. С веток падали плоды емкостью в полстакана воды, они так и норовили попасть за шиворот, в твое тепло. Каждый их меткий удар пробивал до пяток.

Потом я выбирался на простор, проходил вдоль веранды. Там сидел Андрюша на скамеечке для ног, а рядом вязали его молодая жена и старая балерина. В руках он держал раскрытую книгу, но взор его витал где-то за горами, за долами. Он смотрел куда-то прямо сквозь меня, и я немного терял веру в материальную суть своего тела.

Тогда я обеспокоенно кричал:

— Добрый вечер!

Женщины отвечали вразброд. Андрюша вздрагивал, лицо его делалось жалобным. Он рвался действовать, но его стерегли, не смыкая глаз.

Я убедился в этом, когда забрел однажды на платформу. Моя голова в тот день разболелась от долгого сидения за столом и от сырой погоды, я шмыгал носом, и таблетка аспирина из аптечного киоска была бы в самый раз.

Киоск встретил меня закрытыми бездушными ставнями, на дверях висел огромный замок. Я уныло повернул назад и наткнулся на Женю. Она стояла под навесом, прижавшись к стене, а капли дождя катились с крыши на ее лицо, падали с кончика носа.

— Пережидаю ливень,— сказала Женя, и я не поверил.

Она была в прочном голубом плаще, лей на него цистернами воду — не промокнет. Да и дождик убавил прыть, сквозь тучи впервые блеснуло солнце. Но она сказала так, и бог с ней. Она караулит мужа, и без этого ясно. Я поругал аптечную торговлю и оставил свою слушательницу дожидаться прекрасной погоды. Это сугубо интимный ритуал, человек предпочитает встречаться с солнцем наедине. А ночью с луной.

Между тем, голова разбухала от боли. Появилось дикое желание избавиться от нее, отвинтить и выбросить в кусты.

И когда я уже не знал, куда деться, подоспело спасение в лице хозяйского гонца с тройчаткой. Он, видно, основательно вымок сегодня. Рыжие патлы торчали пучками, будто его протащили через орудийный ствол с остатками смазки.

— Таблетки — ерунда, химикаты и всего-то. Вот у нас лечатся все монтеры — это средство,— сказал Андрюша, с сочувствием глядя, как я глотаю таблетку без воды.

— Спасибо и на том, что есть таблетки,— ответил я свободно, уже морально возвращенный к жизни.— Слава таблеткам! И тем, кто их выдумал. Фармацевтическому производству слава!— пропел я от всего сердца.

Андрюша сосредоточенно пощупал ухо и сказал как бы невзначай:

— Ты не видел Наташу?

— Кого?— переспросил я рассеянно.

Голова обретала ясность, меня тихо и настойчиво потянуло за стол, будто кто-то трогал за рукав. Я подошел к столу и невольно взялся за авторучку. Это было бестактно, ибо гость еще не ушел и притворно разглядывал ногти, дожидаясь ответа. А уши его даже слегка подались в мою сторону.

— Наташу,— повторил он с нажимом.

— Ах да, Наташу! Извини. Кажется, видел. Я шел с обеда, и она стояла за своей оградой, и мы еще что-то сказали, но я не помню точно что,— ответил я исчерпывающе, стараясь спровадить его поскорей.

Бог ты мой, это стучался ко мне мой рассказ. Он был так же неуловим, но его неясные звуки и смутные запахи осторожно тревожили мозг. Они звали за собой, вот в чем было дело.

— Она там и вчера стояла. Она там каждый день стоит, наверное? На этом самом месте?— заметил он будто невзначай.

— Вполне возможно, каждый день,— согласился я торопливо.

— Как ты думаешь, почему она торчит за оградой?— Андрюша добивался от меня чего-то непонятного.

— Почему бы ей не торчать? Так, между прочим? И что здесь особенного такого, если человек торчит? Разве это должно быть связано с целью? А просто торчать нельзя? Без всякой цели?

— А если она ждет кого-то? Кто-то мимо пройдет, а она на него посмотрит и, дай бог, перекинется словом?

— Вполне возможно,— и я с намеком посмотрел на часы.— Уже семь вечера,— сказал я, словно между прочим.

— А как ты думаешь, кого она ждет подолгу?

— Ума не приложу. Мало ли кого носит мимо?— ответил я, разведя руками, впрочем без каких-либо интонаций, и снова подчеркнул:— Семь часов вечера, а работы пропасть!

— Я имею в виду другое,— сказал Андрюша торопливо.— Отца можно ждать так, подругу этак. Но нет ли у тебя впечатления, будто она караулит третье лицо?

— Мне бы не пришло и в голову, что она... и вообще...

— Тогда так,— прервал Андрюша,— тогда переиграем следующим образом: не сложилось ли у тебя впечатление, будто она ждет мужчину, который ходит мимо и к которому она неравнодушна? Что ты думаешь об этом?

— Ну и ну. Этого бы не сказал. То, что она может быть неравнодушной. И вообще, семь часов, а я...

Я начинал испытывать злость к Андрюше. У меня было чувство, будто я совершаю преступление перед собой. Но он был точно слеп.

— Значит, ты ничего не заметил,— пробормотал он с сожалением.

— Ни йоты! Ни грана! Ни капли!— едва сдержался я.

— Жаль. Ну ладно,— сказал он озабоченно под нос и оставил меня в покое, ушел, глядя в землю под ноги, будто искал там ответ.

Я как бы опрометью бросился вовнутрь себя. Но все было кончено. Душа моя уже остыла, будто осталась кучка серой золы. И вокруг меня было спокойно — исчезли запахи, и звуки растаяли где-то.

На другой вечер виновник как бы случайно мне попался на тропе.

— А сегодня? Видел?— спросил он, озираясь.

Мысли мои уже витали вокруг работы, и разговор вчерашний начисто вылетел из головы. Поэтому я вначале не понял, кого он имеет в виду.

— Наташу. Кого же еще,— сказал он с досадой, такой я был недотепа с его точки зрения.

— Ах, Наташу? Ну, само собой разумеется. Каждый божий день в гамаке, а мне в столовую мимо.

— И ты просто прошел? Кивнул и дальше?

— Кивнул и дальше своей дорогой.

— И она ничего не сказала?

— Да нет, спросила, как погода. Нравится или как?

— А ты?

— Сказал: ничего себе.

— А она?

— Ей этого было достаточно.

— А она не попросила передать? Кому-нибудь и что-нибудь такое. Ну так между прочим? Вскользь?

— Да нет как будто.

Он заволновался.

— А если точней? Ну, припомни,— сказал Андрей.

— Точно помню — нет. Ей вряд ли кто-то нужен. Ей побоку все.

— Но, может, речь зашла о ком-то мимоходом? Она сказала будто невзначай. Девицы — такие скромняжки. Упаси их бог сказать что-то впрямую, они начинают финтить, и все намеки, намеки.

Он напряженно следил за моим лицом, ловил каждое слово и прощупывал его.

— Для нее это слишком мудрено.

— Подожди. Ты сказал «ничего себе», кивнул, прощаясь, и ушел. А в промежутке между этим? Что было тут? По-моему, ты что-то забыл.

Пытал Андрей натужно и нудно. И этому не было конца.

— А в промежутке вот что было,— сказал я, опять начиная выходить из себя.— В промежутке диктор крикнул: «Братцы, внимание, поезд!» А потом я пошел. Мне было некогда. Впрочем, как всегда.

— Да я не о том,— возразил Андрюша.— При чем здесь диктор и поезд?

— Я думал, ты наблюдательный. Как и подобает пытливому писателю,— заметил он сокрушенно.

— Какой уж я писатель,— сказал я с сожалением.

— Все равно. Что-нибудь упустишь, того и гляди. Начальство не погладит.

— Ну, это наше с начальством семейное дело,— сказал я твердо.— Это во-первых. Но зачем тебе все это понадобилось, кого она ждет и прочее? Ну-ка, во-вторых?

— Да мне-то что... Подумаешь... Хоть она там...— начал он, сразу тушуясь.

— Ой ли, так уж и что?

— Провались я на этом месте!

Он начал боком отступать, сдав инициативу. Я тут же ее подхватил и крепко взял в руки. Теперь осталось не зевать и напрочь закрепить победу.

— Она торчит и, может быть, вправду кого-то караулит, а тебе-то какое дело? Маленький распутник,— заладил я без пауз.

— Конечно, никакое! Вот и говорю.

— Ах ты, желторотый потаскун. Выкладывай как на духу. Немедля!

— Тсс,— сказал он,— услышат!

— Еще бы!— ответил я, понижая голос.

— Да нет же.

Он загнанно пятился, кривил лицо и плечи, стараясь этим убедить в своем полнейшем безразличии, и постепенно боком-боком улепетнул за кусты.

У входа на дачу залаял Пират. Он не был молчуном и раньше и гонял с участка блудливых котов, гавкая притворно, спровадит до забора и молчок. Но сегодня с ним творилось что-то неладное. Пес лаял зло и неистово. Его душило от дикой ярости.

Вначале этот бешеный лай был слышен точно через вату. Потом он проник ко мне под звуконепроницаемый колпак, сотканный из увлечения и долга, и стал капля за каплей подтачивать нервы.

Я отложил авторучку и подождал, пока утихомирят пса. Это было долгом балерины. Но та почему-то мешкала, и пес свирепел пуще прежнего. Наверное, она отправилась в поход по ларькам. В одном — одно. В другом — другое. И приструнить пса было просто некому.

Тогда я встал из-за стола и пошел разобраться, в чем дело. И мое появление оказалось кстати.

Я вышел по тропе к калитке и тут не поверил глазам. Добряк Пират загнал под яблоню девчонку-поч-

тальона, готовясь разорвать на части. Он выбирал места поуязвимей, припал на передние лапы и подталкивал тазом себя вперед, давясь заранее клочьями служебного сукна и капрона.

Девчонка в форме Министерства связи слабо отбивалась сумкой, писклявый голос ее утонул безнадежно в собачьем реве.

— А ну-ка, кишь!— крикнул я Пирату.— А ну-ка, прочь, паршивая собака!

Пират отступил, глухо рыча, мое вмешательство вызвало у него недовольство. Он косил кровавым оком, в косматой груди грозно клокотало. И еще от него разило валерьянкой.

Я шикнул для пущей острастки, и Пират нехотя затрусил между деревьями, пристраиваясь на бегу задней лапой чуть ли не к каждому стволу. Такое было впечатление, будто пес изрядно пьян.

— Посылка Ходаковой для Пономарева,— сказала наконец девчонка, немного придя в себя.

— Пономарев — это я. И я у Ходаковой. Но вы имеете в виду письмо? Письмо, а не посылку,— поправил я почтальона.

— Господи,— вздохнула она, поглядывая на выход.— Я имею в виду то, что есть. Посылку! И если вы — Пономарев, получайте поскорее извещение, и до свидания. Только не забудьте подпись и число.

Она протянула бланк, но я спрятал руки за спину.

— Посылка? Это точно? А может, все-таки письмо? Ну, ценное, или бандероль? Бывает, путают на почте.

— Какая разница? Посылка, бандероль, письмо,— быстро сказала она, посматривая в ту сторону, куда ушел Пират.

— Для меня это весьма существенно.

— Ну так вот. Я видела собственными глазами. Белый ящичек, обшитый полотном.

Я не торопился, хотел все твердо выяснить сначала.

— Тогда другой вариант,— сказал я предположительно,— есть еще одна в поселке Ходакова, а при ней другой Пономарев. Случаются такие совпадения?

— Такие нет,— произнесла почтальон уверенно.— Другую такую Ходакову больше не найдешь. Пономаревых хоть пруд пруди. А такую Ходакову не сыскать с миллионом ламп. Она единственная в своем роде. Вот что!

— Ну, если... разве...

Почтальон всучила извещение и, переходя на рысь и боязливо оглядываясь, засеменила на улицу. Там она влезла на мужской тяжелый велосипед и, виляя от спешки, сверкнув худыми коленками, проехала за оградой.

Я здесь же осмотрел во все глаза это извещение, с тщетой рассчитывая на ошибку. Но все совпало точно. А почерк отправителя убил во мне последнюю надежду. Он был неповторим, аккуратно закрученный в спираль червяк. И к тому же в эпоху НТР только один человек пользуется древним химическим карандашом, пишет им письма и адреса, как и на этом почтовом бланке.

То, кто отправитель, я тотчас сообразил, едва сказали про посылку. Это и встревожило меня,— достаточно знать э т о г о отправителя, а уж угадать содержимое посылки не стоит труда.

Ну все-таки, чем черт не шутит, а вдруг в ней что-нибудь другое? Могло же такое быть, нашло минутное затмение и сунули не то.

Но мне-то посылку не дадут. И пока балерина в отлучке, я могу спокойно поработать за столом. На том все и было построено, будто на тоненьких сваях.

Я выглянул на улицу на всякий случай. Ее перспектива упиралась в парк и на всем протяжении до соснового бора была пуста. То есть не было балерины. Проходили дачники с авоськами, мальчишки пинали рваный мяч, и коза щипала листья жасмина сквозь штакетник, а балерина пребывала в других краях.

Я наткнулся на нее, переходя поляну. Я шел к себе, нес извещение, словно гадюку, держал кончиками пальцев и смотрел под ноги. И вдруг, подняв невзначай глаза, увидел ее перед самым носом.

— Стоп!— произнесла балерина игриво.— Еще собьете с ног. У вас такая масса. Ни дать, ни взять крупный астероид!

— Извините.

— Не слышу,— сказала балерина.

Она разгуливала по поляне с игрушечной лейкой как ни в чем не бывало. Точно не свалилась с неба, а прошла обычным способом, открыв калитку, возле которой я бдел.

— Позвольте,— сказал я, мучительно соображая.— Значит, вы...

— Я что-то вас не слышу,— повторила старуха.

Я закричал:

— Значит, вы...

— Ах да, минуточку,— спохватилась она и вынула что-то из ушей.

— Склероз! Совсем забыла. Пират чертовски лаял,— сказала балерина.

— Так вот оно что? Значит, вы, когда Пират...

Я начал медленно распутывать клубок.

— ...писала мемуары,— помогла балерина.— Мой первый муж был известным баритоном, и некий журнал попросил...

— Но с Пиратом творилось такое. Он озверел, и еле...

— Пустяки,— сказала она.— Ему временами полезно встряхнуться. Собаке это невдомек, понятно. Ну, плеснешь ей разок...

— Ай-яй-яй,— спохватилась она.— Вам-то он мешал. А ваткой вы не догадались. Ах ты, боже мой! Надо было уши заткнуть. Этакий несмышленыш!

Она покачала головой и полила из детской лейки одинокую ромашку, стоя в полный рост.

Я протянул извещение.

— Это мы сейчас. В два счета,— сказала старуха с готовностью, вытряхивая из лейки последние капли воды.— Искусственная роса,— произнесла она сентиментально.

Она стучала тростью о землю, будто боярским посохом, по дороге на почту. Мы проходили мимо дачи художника, где Наташа сидела на своем месте, в гамаке.

Ее анемичное лицо, как всегда, не подавало признаков жизни. И гамак висел, не шелохнувшись, вроде окаменел между деревьями от долгого общения с Наташей.

Я приветствовал, но девушка не повела и бровью.

— Мумия,— коротко определила старуха.

Она имела на это право — ее кожу дубили в течение восьмидесяти лет, но и в той сохранилось поболее сока. Даже тут Наташа проиграла вчистую.

Затем мы поравнялись с дачей Зарытьева. Хозяин стоял у калитки босой, в одних пижамных штанах. Вид у него был сердитый и заспанный.

По ночам он бегал от ружья к ружью, а днем забирался в берлогу и храпел, завесив окна плотной тканью. Видно, его подняли с постели, он походил на медведя-шатуна, которому прервали сон задолго до срока.

— Федоровна!— позвал он балерину угрюмо.— Ты, Федоровна, передай своему отпрыску или кем он тебе.

А передай вот что: если будет ошиваться по моим заборам, залеплю. Выскочу — и крупной солью впрок!

— А,— отмахнулась балерина.— Ты его спутал, Андрея. Что он не видел здесь? Впотьмах?

— Уж это я не знаю. И не моя забота. Но если он опять... носить ему по два заряда в ягодицах. На каждую по одному! Так и передай,— завел Зарытьев свое.

— Ишь, что! Уж не метит ли Андрей к твоей соседке-мумии? Не это ли хочешь сказать?

Балерина уперла руки в боки. Речь Зарытьева ей пришлась не по нраву. Она сощурила глаза, подбодрила с иронией:

— Ну, договаривай. До конца.

— На это мне плевать: мумия или еще кто там. Разбирайтесь сами. А я говорю одно, так и передай ему,— не уступал Зарытьев.

— Разуй глаза, кусошник!— произнесла балерина сварливо, на миг из лоска Мариинки выглянула базарная халда.— Не слушайте его, идемте!— она потянула меня за рукав.

— Что? Не по вкусу? Но я предупредил!— гаркнул Зарытьев вслед.

— Спекулянт гадкий! Дерет за клубнику. У самого под ногтями грязь,— пробормотала старуха, она была растеряна.— Вот выдумщик. Фантаст.

И заглянула мне в глаза,— не придал ли я всему этому серьезного значения.

— Ну да, он выдумал спросонья. Что только не взбредет спросонья, если бегать по ночам от ружья к ружью. Ошалеешь поневоле,— прикинулся я этаким недотепой.

— Вы-то умничка,— вздохнула балерина.

Весь оставшийся путь она была сосредоточена, молча стучала тростью и разошлась только на почте.

Здесь-то ее растормошило. Ей протянули посылку, и она насторожилась, почуяла какой-то звук, встрепенулась, сбросив неприятные мысли, точно покрывало, навела на посылку ухо. Потом она потрясла эту коробку, обшитую серым полотном. Как там булькало, было слышно даже в трех шагах.

Чуда не было.

Адрес и здесь был начертан химическим карандашом. Жена его обычно слюнявила, а потом ходила с фиолетовым языком, маленькая, смешная, словно первоклас-

сница. Ей бы только косицы и форменное платье вдобавок.

— Ах вы, шалунишка-подпольщик,— лукаво пожурила балерина.— Ну и ну. А я-то голову ломаю, как он терпит. Это же хобби у него. Но сунешься в ларек, там отвечают: «не брал, с тех пор завязал, мол, наверное». А он-то что устроил, шутник! Она развеселилась вконец. Для нее разошлись тучи, выглянуло солнце. Мои небеса затянула серая хмарь.

— Помните женщину?— спросил я балерину.— Она еще как бы искала какого-то Иванова, когда я... ну, словом ушел в работу с головой.

— С запоем? Ну, как же. Такое не забыть.

— Речь о другом. О женщине. Как она выглядела... примерно?

— Вы хотите от меня многого,— и хозяйка игриво прищурилась.

— А все-таки, если подумать?

— Это уже бестактно, молодой человек,— пожурила балерина,— дырявая память — больное место у женщины моего возраста. Еще немного, и я рассержусь, честное слово.

Она хватила лишку, это быстро поняла и сказала следом:

— Только не вешайте нос. У вас-то все идет как надо.

И тут мне в голову пришла шальная мысль.

— Итак, закуска ваша,— сказал я быстро.— Ну, еще за мной бутылка угличской воды. И тяпнем по стакашке для начала.

— По сто пятьдесят!— подхватила балерина.

— По двести для ровного счета! Потом затянем песенку.

— «Хаз-Булат молодой»,— предложила она с азартом.

— «Золотою казной я осыплю тебя». Подходит. Теперь засучим рукава. Готовьте два стакана.

— Один стакан. Для вас,— сказала вкрадчиво она.— Если нет партнера. Я бы прислала Андрея, но вы-то знаете сами. От него не дождешься толка.

— А вы? Не выйдет номер. В одиночку я еще не пил,— соврал я, маневрируя.

— Привыкайте постепенно. В одиночку самый результат! А мне нельзя. Я женщина,— сказала она.— Это вам, мужчинам, суждено на роду. А нам заказано. За-

притесь у себя покрепче. В порядке дебюта, что ли,— добавила старуха.— А там пойдет как по маслу. Важно сделать почин. Но что я вас учу? У вас таких починов тьма!

Она выходила довольная, а следом я нес коробку, точно урну с собственным прахом.

Там, под кипой носовых платков, лежали две бутылки «Горного дубняка», дремали два младенца-близнеца, невинно поблескивая коричневыми боками в коробке из-под женских туфель.

«Высылаю партию платков. Носи их, дорогой, сморкайся,— писала жена.— И еще раздобыла редкий напиток под названием «Горный дубняк». Закупила про запас чуть ли не целый ящик. Выпей за мое здоровье. В тот раз мне помогло. Прошла зубная боль. Целую. Тося». Затем она приписала: «Ты не велел брать водку. А это же не водка? Правда? Видишь, какая я у тебя умница!» Ну что ей после этого скажешь?

Я посмотрел на лоснящихся близнят, эта дрянь на каждом прилавке. А она-то, Тося, вообразила бог знает что, когда ей вдруг бросилась в глаза дубняковая этикетка, и тут же позаботилась обо мне.

Она окружает меня заботой прямо с нашей первой встречи, когда мы поулыбались друг другу в трамвае и я проводил ее домой. Впрочем, первой ее считает Тося. По моему твердому убеждению, это была наша вторая встреча. Да что там убеждение, я знаю, это было, это факт!

Впервые мы встретились на городской танцевальной площадке. Я пришел туда с другом, который тотчас бросил меня, ринувшись в мир страстей. Его голова временами мелькала в толпе танцующих, он делал мне знаки: хватай, мол, дам и пляши! Но я подпирал забор, стесняясь своей массивной фигуры и больших ног, с нетерпением ожидая конца этой вакханалии. Но время будто не двигалось, замерло на месте. На самом же деле остановились мои часы, выяснив это, я спросил у стоявшей рядом барышни:

— Вы не скажете, который час?

— Пожалуйста. Только уговор: без влияния Запада,— равнодушно ответила она и положила ладонь на мое плечо.

Я кое-как поводил ее на пятачке, который нам достался в толчее, попытался выдавить несколько вежливых слов, но она меня отановила, сказав:

— Я забыла предупредить: я с незнакомыми мужчинами не поддерживаю беседы.

Когда закончился танец, я взял ее под руку, собираясь вернуть на место, но она тут же освободила локоть.

— Меня ждет подруга.

— Куда вас отвести?

— Я сама,— отрезала она и пропала в толпе.

У меня появилось чувство долга перед своей партнершей — потанцевал, все равно что поухаживал,— я искал ее на площадке, но она будто растворилась в водовороте лиц и костюмов.

И вот мы встретились в трамвае. Я сидел у входа, а она вошла на одной из остановок, в шортах, кедах и мужской рубашке в клетку и еле втащила туристский рюкзак, который превосходил ее размером. Видать, она катила из туристского похода, так подумал я тогда. А на самом деле все обстояло прозаичней. Она везла посуду с дачи, это выяснилось потом. Во всяком случае, Тося очень устала под своим рюкзаком, набитым кастрюлями и прочей утварью кухонной. Она рухнула на сиденье напротив и утомленно улыбнулась, вытирая лоб.

Ее улыбка повитала по вагону в поисках сочувствия и случайно угодила ко мне. Я принял ее и отослал обратно, сочувствуя в полной мере. Такая кроха, а волочит гигантский рюкзак. После этого она улыбнулась непосредственно мне. У нее было красное от солнца лицо, нос начинал шелушиться, а волосы выгорели добела.

Мы улыбались несколько остановок, проехав мою, точно играли в волейбол, пасуя мячик через проход. Потом рядом с ней освободилось место, и я, пересев к Тосе, сказал, выполняя свой долг до конца.

— Я вас искал в тот вечер.

— Вы? Меня?— поразилась Тося.

— Ну да. На городской танцплощадке.

— Вы меня с кем-то спутали. Я на танцы не хожу. Никогда!— подчеркнула она.— Там, знаете, случайные знакомства. А я этого не люблю.

Я вышел на ее остановке и нес рюкзак до самой ее квартиры.

Уже тогда она сделала первую попытку, желая облегчить мне ношу. Я повесил рюкзак на плечо, а она ухватила ремень и шагала рядом, подстраивая шаг. По сути Тося мешала — я как бы на себе тащил и хозяйку вдобавок, но не хотел ее обижать, щадя такое беско-

рыстное побуждение, помалкивал, терпел. Мы шли бок о бок, гремя кастрюлями на весь город.

Она поднимала временами обгоревшее круглое личико и вопрошала, беспокоясь, широко открыв синие глаза:

— Вам не тяжело?

— Что вы,— отвечал я, конечно,— с вами мне легко. Хоть ступай вокруг экватора. Пешком да с этаким приятным грузом.

Она оттягивала ремень с удвоенным рвением, совсем меня накренив набок, и пот бежал с меня ручьями.

Так она заложила краеугольный камень, а потом построила сложную систему внимания и забот. И неудобство было только в том, что часто ее хлопоты выходили как-то невпопад, напоминая медвежьи услуги...

Под окном сухо зашуршало. Кто-то шелестел травой, стараясь ступать осторожно, но дышал шумно, как старый маневровый паровоз. Я привстал, подкрался ко второму окну и заметил острые лопатки балерины. Она стояла ко мне спиной и подглядывала в окно. Стекла бликовали, в комнате был полумрак, и ей приходилось трудно.

— Не стесняйтесь. Милости просим,— сказал я, пошире распахивая рамы.— А, хотите, можно и в двери,— разрешил я хлебосольно.

— Не стоит, не буду мешать. Я только предложить огурчик,— ответила она.

Она перешла к моему окну.

— Пожалуй, обойдусь, спасибо.

Я загородил стол. Она шагнула влево, но я опять сменил позицию.

— В общем, если что, смотрите. Огурчики высший сорт! Корнишоны,— похвалила она, отступая за кусты.

— Я примитивен. Закусываю сырой водой!— крикнул я, вылезая из окна по пояс.

— Вода тоже неплохая закуска. Содержит минералы. Но огурчики под водку загляденье!— отозвалась она откуда-то из недр участка.

Я поднял бутылки за горлышко и вынес, как щенят за шкирку. Они покорно висели по сторонам в ожидании судьбы.

Я поискал подходящее место и набрел на зловещий овраг. Он зиял за тыльным ограждением участка и окончательно вымер. Только редкие бледные стебли крапивы росли на теле этого покойника. Да торчали скрючен-

ные щупальца из ржавой проволоки, будто застыли в агонии. Словом, не сыскать могилы надежней, чем эта.

Я твердо расставил ноги, притоптав подошвами траву и, когда все было готово, сделал мощный замах.

Но стоп, сказал я себе. Стоит ли колоть бутылки? К тому же битое стекло опасно для детей. Куда их только не заносит, пострелят, и уж тем более в овраг. Овраг для ребятни заманчив как цирки на Луне.

Тогда я принес из хозяйского сарая совковую лопатку и вырыл ямку поодаль от человеческих дорог, под тем же тыльным забором. Она была прохладной и уютной. Бутылки уместились рядышком, прощально смотрели в небо. Их бока затаенно мерцали, и я залюбовался. Будь его поменьше, дубняка, еще можно было бы что-то придумать, и рюмочка б сейчас в конце концов не помешала, особенно под огурцы из маринада, но...

— Спите, орлы, безмятежно. Что ли вечным сном,— произнес я вместо панихиды и торопливо бросил первый ком, пока не поздно.

— Сейчас вы ни к чему. В неудачное, детки, попали время,— сказал я, уходя и оглядываясь на свежее пятно земли, точно запоминая.

— Вот если наступит повод. Разве что,— сказал я, встал как вкопанный и пошарил глазами по сторонам.

Под старым пнем валялся приметный прутик.

— Разве что тогда найду вам применение, малютки. Подобающе сану,— пообещал я, втыкая прутик для памяти.

Он был заметен издали, мимо не пройдешь, если не сослепу.

Нет худа без добра, вот уж сказано точно. Это даже кстати, то, что они теперь в земле. Будут в меру холодны, когда и подоспеет время,— подумал я, закончив дело.

Поселок судачил на все лады, а я ничего не ведал, закопавшись в свой сценарий. Рыл в нем извилистый ход на манер крота, пробиваясь к белому свету, а надо мной кипело и бурлило. И когда я высунул голову за глотком чистого воздуха, события были в самом разгаре.

Я прихватил пол-литровую банку, пошел в ларек за молоком, влился в очередь за дамой с бидоном из мельхиора, и тут меня огорошили. Кое-что я предвидел зара-

нее. Но то, что это обретет такие темпы и размах, меня порядком удивило и поставило в тупик.

Очередь походила на гусеницу, медленно перебирала десятками ножек и словно вползала в окошко ларька,— такое было впечатление. Я шел в затылок за дамой с бидоном, готовя банку и деньги.

Дама молча плыла передо мной, поводя узлом темных блестящих волос перед моим носом.

— Балеринчихин зятек,— вырвалось вдруг из нее, как выстрел,— зятек Ходаковой каков? Губа не дура! Художник знаменит, да и всего поболе. Дача хоть куда, к тому же машина, что и говорить. Да и денег прорва.

Она считала, загибая пальцы, и на руке их не хватило, хоть сбрасывай туфли,— таковы были преимущества Наташи перед Женей, на ее взгляд.

— Отец его по заду шлангом и долой в калитку, а он через забор, Андрюша этот,— сказала дама, кипятясь.

— Я знала это, чем он кончит. Синяки не к добру, а он их носил беспрерывно, Точно ордена!— поддержала другая, та, что тащила кастрюлю в авоське.

Она получила свое и тронулась было восвояси, но тут затеяли этот разговор, и ее притянуло, словно магнитом. Она стояла, потихоньку проливая молоко, и горячо обсуждала то да се насчет Андрея.

И Транзистор, конечно, была в самой гуще, очутилась тут как тут.

— Я говорила соседям. Предупреждала вовсю: за ним только глаз да глаз. Но они жили спустя рукава, и все проходило мимо ушей,— сообщила она, гордясь своей прозорливостью.

Она так и пыжилась от зазнайства...

А над дачей распростерлась тишина, я это заметил раньше, сидя в четырех стенах, но не придал тогда значения. И даже было на руку: сиди себе да спокойно работай. Но тишине предшествовал большой скандал, она была его последствием, вроде бы после бури. Только я не придал ей значения, копаясь в своих делах, и когда вылез наверх, застал то там, то сям обломки.

Так были обнаружены следы терзаний на лице Андрея, когда мы столкнулись на подходах к умывальнику.

— Как поживаем?— спросил я у Андрюши.

Но он безнадежно махнул рукой, повесил полотенце на шею и пошел по тропинке, не сказав ничего.

У Жени стал неподвижным взгляд. Она так и ходила, будто поломался механизм, управляющий глазами,

Я невольно уступал дорогу, смотрел ей вслед с опасением: наткнется на дерево, а там острые ветки, и потом вызывай врача. Но она шла точно по курсу, огибая препятствия вовремя. Ее водило подобие автопилота, храня от увечий.

Лишь старая балерина устояла над напором девятых валов. Ее нервы и крепкий каркас выдержали все семейные потрясения. И когда балерину переполнило все же, она выплеснула на меня вредные излишки.

Я бродил в глуши участка, где буйствовали лопухи и крапива, и яро пахло бузиной, и охотился за точной мыслью, но она ускользала, мушкой вилась вокруг головы и никак не давалась в руки. Здесь были дремучие заросли, но старуха разыскала меня и тут. Наконец я изловчился и схватил мушку-мысль на лету, она отчаянно зазудела в моем кулаке, но в этот момент, шумно шелестя травой, появилась старая балерина.

Она сказала без вступления:

— Ну где благодарность? Вы подумайте: подобрали бездомного котенка. Заставили кончить вечернюю школу, прямо ткнули в парту носом, а потом в техникум, учись, мол, идол, учись, и вот тебе за все! Какой позор! Об этом знает весь поселок, а он все шастает туда. Я бы выгнала вон, да внучку жаль. Не повезло ей, что и говорить. Я замужем была пятижды, и каждый муж — типичный ангел. А тут всего один, и на тебе — черт!

Она сердито стучала тростью. Гнев довел ее прямой стан до совершенства линии железного прута и по-гвардейски развернул ее плечи. Но выдержка ее не убывала. Балерина только стала собранней, скандал пошел ей на пользу, она мобилизовала все свои психические ресурсы и теперь протянет за сотню лет.

Старуха переколола тростью весь лопух, только тогда удалилась прочь. И я подумал: не вмешаться ли мне? Распустить этот узел, поставив все на места.

Я подозревал кое-что, вернее, в чем-то был твердо уверен. А это давало мне право на один вопрос Наташе. Мне только спросить у нее, затем будет проще.

Я долго стоял у калитки, стучал кулаком, покрикивал:

— Эй! Есть ли живы?

За калиткой бегала сердитая собака-колли, глухо рычала и не хотела признавать во мне своего. Потом на веранде появился старик в новеньких туфлях большого размера, и я воспрял духом. Но он проковылял в убор-

ную, туда и обратно. Было слышно, как скрипят его туфли, но он меня не заметил. Я забарабанил опять.

— Он же старый и почти глухой,— сказала Наташа.

Она вошла в кадр неслышно, буквально на цыпочках. Она резвилась, это не было похоже на нее. Я был озадачен. И вообще в ней появилось что-то новое, неуловимое. Какой-то непонятный нюансик. Я не сразу понял в чем дело. Мне сейчас было не до загадок.

— Вы любите его? Это верно?— спросил я напрямик и добавил:— Он в этом глубоко убежден, и от этого все его беды.

Я знал, каков последует ответ. Но мне он нужен был из первых рук, от нее самой.

— Андрюшу?— переспросила она и удивленно вскинула тонкие бровки.— За что? У него совсем другие интересы!

Наташа засмеялась освобожденно и весело. Такой я ее не видел. Выходит, у нее ослепительные зубы и ямочка на левой щеке. Но чтобы показать такое бесценное богатство, ей надо было рассмеяться от души. И вот еще что — она намазала губы помадой, бесцветной, но все же помадой!

— Если на то пошло, я была влюблена в вас,— сказала она загадочно.— Вы возникли тогда из воды большой, этакий беломраморный. И шли вначале по пояс, потом по колени, сверкая на солнце брызгами. Ни дать ни взять, морской витязь. Правда, оплывший жиром. Но потом оказались женатым. Я почему-то представила вас на кухне, в пижаме. Входит ваша жена... Конечно, в халате, на голове бигуди... входит и говорит: «Нынче картофель на рынке стоит полтинник». «Килограмм?»— произносите вы, будто речь идет о «Лунной сонате»... Словом, я думала, вы Посейдон, а вы-то всего-навсего Посейдоныч.

Она... кокетничала и, даю голову на отсечение, делала это умело, играла голосом, глазами... А будь у меня, как у Змея-Горыныча, целая обойма голов, я бы мог поклясться и второй. Ее флирт задел меня за живое. Поначалу мне польстил образ морского богатыря, а затем покоробил — да что там!— унизил двойник в пижаме. Я и сам не терплю пижамы... А я-то считал, будто уже стал глухим к женским чарам.

— Я имела в виду вас, сказав тогда про акробатов. Вот, подумала, настоящий нижний. Ловкий и силач. Но

Андрюша принял на собственный счет,— пояснила Наташа, и ей снова стало смешно.

Она тоненько хихикнула раз-другой и прямо-таки зашлась от смеха, согнулась пополам, схватилась за живот, точно от колик. Я ждал, когда у нее кончится этот приступ.

— Но он-то старался ради вашего блага. Он любит жену, это бесспорно. Но тут подвернулись вы со своей бедой, даже сменили старую дачу на эту, приехали сюда, конечно же, неспроста. И Андрюша хотел вам помочь. Он думал, любовь вас спасет. Ведь в самом деле у вас было несчастье? В этом-то он не ошибся?— спросил я, едва она утихла.

— В самом деле. Во всяком случае, нам так казалось. Мы с мамой пошли на рентген, и врачиха в белом чепце нас ошарашила. У вас, говорит, на легких очажки. И это перепугало всех. Мы думали — конец. Вдобавок на старой даче было сыро, а здесь песок и сосны. Тогда мы махнули сюда. Словом, была несусветная паника... И чем бы он помог?.. Бедняга!

Затем последовал третий тур веселья. Я снова ждал, когда она утихнет, потом сказал:

— Может, это и в самом деле смешно. Со стороны. Но для него все скорей трагично. Ведь надо же, он решил, будто бы вы в него влюбились, вообразил бог знает что, а теперь у него большие неприятности в семье. Из-за вас — учтите это.

— Я лично ему повода не давала,— и она небрежно повела плечами.— Он сам затеял все это. Пусть и расхлебывает тоже сам. Да и как только ему могло прийти в голову: Я влюбилась в него?! Какой абсурд! Ну представьте, о чем мне с ним говорить, если он не слышал, кто такой Матисс?!.. Вот с вами мы бы нашли общую тему.— Она лукаво стрельнула глазами и спохватилась:— Я, конечно, уважаю ручной труд... Но он не в моем вкусе... ну и как мужчина.

— Но ему-то сие неизвестно. Он-то убежден в обратном. Андрюше кажется, будто он настолько неотразим, что у вас не было иного выхода, как влюбиться по уши, до гроба. Как еще там?.. Не смейтесь! Это свойственно многим мужчинам.

— Вам тоже?— спросила она с искренним любопытством.

— Мне нет.

— Говорить о себе вы не желаете никак! А мне со-

вершенно не интересен Андрей. Ну и как нам быть дальше?

— Выручать Андрея! Он вам хотел помочь! Вам! Поймите же в конце концов! — я вбивал каждое слово в ее неблагодарный мозг.

— Что я должна сделать по-вашему? — спросила она капризно.

— Я его подготовлю. Ну, так, чтобы не сразу, не по голове обухом что ли. А потом за вами слово. Теперь спасайте вы. Ваша очередь. Скажите правду.

— А, вы об этом? Тогда все в порядке. Он ее знает, правду — вчера мы объяснились. А что с ним церемониться? И папа каждый раз хватается за шланг. А мама, сами понимаете, — сказала Наташа жалобно, наткнувшись на мой укоризненный взгляд.

— Оправдываетесь? И это уже кое-что. До свидания, — сказал я, начиная торопиться, и пошел на платформу.

— Учтите, вы сказали «до свидания». А это намек, — никак сегодня в нее вселился бес, наверстывая свое.

Я спешил, время подходило к вечеру, и еще немного — электричка привезет Андрюшу, которому нужен друг. Поэтому я шел навстречу другу.

Я должен молча дать ему понять, что мое плечо рядом с ним. Остальное он знает сам, ну то, что не так уж напрасно он заварил все это, если сумел расшевелить полумертвую девицу, и она показала свои белые зубы и ямочку на левой щеке — не сдержалась. Ради этого стоило стараться.

Я встретил его у выхода с платформы. Он брел сосредоточенный, устремленный во внутрь себя, как будто его разобрали по частям, а потом их перемешали — устроили винегрет и теперь он собирает себя по крупице, тщательно, к детали деталь.

Мы пожали руки, не сказав ни слова. Он еще приходил в себя, и ему необходимо время укрепиться. Я не мешал, шагал рядом, наступая на упругие сосновые шишки.

— Настрочили письмо в комитет комсомола. Разлагаюсь в быту, — вдруг сказал Андрюша мрачно.

— Но... — начал я, но он перебил.

— Невезучий я. Неудачник, — произнес он и замолк.

Мы прошли половину парка и тут повстречали женщину-гнома. Судя по пустой кошелке, она держала путь в гастроном, а нас угораздило попасться ей на дороге.

Никто из нас не знал в смятении, что делать. Мы стояли первую минуту, переступая с ноги на ногу, все трое — Андрюша, я и она.

— Добрый вечер. Как там ваша редиска?— сказал я первым.

Вдруг женщину взорвало, она хотела что-то сказать, открыла рот, там заклокотало, но вырваться на волю не смогло — мешали какие-то клапаны. Тогда она неловко, по-женски размахнулась и хлопнула Андрюшу кулачком. Шлепок был мягким, но для привычной Андрюшиной кожи хватило этого с достатком. Под глазом моментально возникли контуры нарождающегося синяка. Он обещал быть крупным и густым по оттенку, и кожа для него служила вроде промокашки, на которой он проступал.

Женщина-гном была огорошена собственной прытью не меньше нашего. Она резко повернулась и почти бегом засеменила прочь между соснами, в неопределенную сторону и наверняка уперлась где-то в забор.

А на лице Андрюши застыла последняя степень отчаяния. Он осторожно, еще не веря, щупал под глазом. Но явь давала знать себя, она горела, пульсировала под его пальцами.

— Довольно! Хватит с меня! Я сыт по горло. Этот синяк последний. Все! Счет закрыт, и баста!— прошептал он неистово, будто давая клятву, его тянуло на колени, так и гнуло к земле.

— Я стану блестящим, раскрасивым эгоистом. Буду думать только о себе. А кожу мазать на ночь лучшим кремом — «Красная Москва»!— сказал он истерически.

А я ничего не мог поделать. Наступил тот момент, когда человек остается в середине круга один на один, и ему предстоит борьба с самим собой. Это кровавое побоище, когда человек вступает в поединок с собою. Тут он и Пересвет, и Челебей — во едином лице. Он не стихает ни днем, ни ночью, поединок, и поражение тогда равносильно концу света по своей трагедии. Но выигрыш дороже самых блистательных военных побед. И здесь не поможет никто, хоть собери все человечество вокруг. И люди будут толпиться за кругом и подбадривать: «Давай жми!»— на всем разноязычье мира.

Все зависит от того, в какой мере ты успел накопить в себе доброго, и сумеет ли оно перевесить зло. Это и решит исход единоборства.

С этого дня Андрюша притих. Синяки исчезли, а кожа в самом деле стала нежной и чистой, будто он мазал ее кремом на ночь. По вечерам он приходил с коробкой шахмат, мы их ставили на скамье под яблоней и, развесив лампу-переноску, гоняли партию за партией без особого азарта. Это был матч с лунатиком за место под луной. У лампы вилось мошкарье, отбрасывая гигантские тени. Тени кружили по доске, стирая четкие границы между белым и черным.

— Куда ты дел короля?— говорил, например, я Андрею,— Ну да. Ясно все. Ты сбил его, спутав со слоном.

— Ну и что?— отвечал равнодушно противник.— Разве это имеет значение? Есть король или нет короля?

— Конечно, значение не велико, не бог весть какое. Только вот ума не приложу как быть, когда придется ставить мат? Кому его ставить? Уж не ферзю ли?

— А, ставь кому угодно. Выбирай и ставь.

— Ты сделал два хода подряд, леший с тобой, но при этом снял мою ладью!

— Пожалуйста, возьми хоть все мои ладьи.

— Слушай,— сказал он однажды капризно,— я буду играть сам по себе. И ты что хочешь делай, только не мешай. Ходи как душе угодно.

Я не упрямился: пусть. Пусть он играет, как ему полегче. У него других забот полно, и дай ему бог с ними разобраться до конца.

О прежнем не было ни слова. Я следил за ним исподтишка, но глаза его стали вялыми, скрывая все, что творится внутри, там, за этими потускневшими окнами. Как ни таращь глаза, напрягая зрение, за окнами ничего не разберешь: кто-то дышит и шевелится в полумраке, а кто, поди догадайся.

Как-то утром я открыл глаза с ощущением маленького события. Сегодня тридцатый день с тех пор, как я вошел в поселок, кренясь от тяжести, а диктор крикнул: «Внимание, идет...»

Он был, этот день, перевалом, с которого все покатилось под гору, обрастая, точно снежный ком. Много было всякого, и я принял как само собой разумеющееся, когда на пороге моего домика вырос наш лучший недруг Сараев.

Он примчался ко мне сломя голову. За оградой, еще дрожа, остывала новенькая «Волга», а живой неприятель собственной персоной слонялся по моей комнате, не зная, чем объяснить свой визит. Он внимательно раз-

глядывал потолок, стены и дверные косяки. Человек несведущий принял бы его за техника из жилищной конторы.

Я привалился к подоконнику, наблюдал за ним с любопытством. Будто по моей комнате ходило и скрипело половицами редкое ископаемое существо, вроде знаменитого дракона с острова Комодо, точно оно сошло с экрана «Хроники» и вдруг запросто завалилось ко мне в гости. Такое вот было странное ощущение.

И не мудрено. Нас всегда разделяло пространство, равное расстоянию от стула в зале до председательского стола на сцене. А теперь до Сараева подать рукой. И, наверное, можно потрогать пальцем, какой он на ощупь: из мяса или костей? Или специальной субстанции?

В общем-то в нем не было ничего такого особенного — смертный человек, как и мы все. Раньше его мускулистый голый череп, лохматые брови-кусты и пронзительные точки-зрачки под ними и твердо сжатый рот, тонкий, как лезвие ножа, производили на меня впечатление физической силы, воли и проницательности. Сейчас в Сараеве все это будто расхлябалось, потускнело, казалось, еще немного, и с каждым шагом внутри у него начнут дребезжать ослабленные гайки.

Мы оба молчали. Я выжидал, он подбирал подходящие слова.

— Значит, вы здесь и живешь,— сказал Сараев и почему-то подмигнул при этом. У него была странная манера: он обращался к тебе на «вы», как и принято между людьми, которые вместе детей не крестили, однако, подобравшись к сказуемому, Сараев не выдерживал и переходил на «ты».

— Здесь и живу,— ответил я охотно.

Да и к чему было отрицать очевидное? Если этот факт для него что-нибудь значил, я готов был подтвердить. Ну то, что я живу именно здесь. И, набравшись смелости, тоже подмигнул.

— А здесь довольно приятно. Природа, в общем,— добавил он и подмигнул опять.

Возражать было глупо — птицы чирикали, и сосны стояли, словно напоказ. Поэтому я просто подмигнул в знак согласия, обошелся без слов.

— Небось тут и сочиняется само собой? Только стучи на машинке?— спросил он многозначительно и не забыл подмигнуть.

Я подмигнул почти синхронно и возразил:

— Не само. Приходится шевелить мозгами. Синтез, анализ и наоборот. Но работать здесь и вправду удобно. Если пишешь важное. И для себя, и для людей. А если так, лишь бы отписаться... Как говорят, для проформы... Тогда неважно, где это делать. Но у меня уж так получилось.— Я выразительно посмотрел ему в глаза.

Ну не рубить же открытым текстом: я вас не трону, а вы оставите меня в покое, идет? Не маленький, должен дотумкать!

— Иногда мы воображаем, будто людям это нужно. Именно это. А им это совсем ни к чему. Вот в чем вопрос!— произнес он, не заметив намека.

— Я с этим согласен,— отпечатал я четко, едва ли не по слогам.

И мы перемигнулись еще разок. Но он-то так ничего и не понял.

— У меня тик на нервной почве,— пояснил Сараев.

Он испытал ногами пол, подавил, потопал, и, убедившись в надежности крашеных досок, сел было на стул и тут же снова подскочил, будто его нечто осенило. Вот такое он изобразил.

— Ба! Надо же нашу встречу отметить! А я сижу тютя тютей.— Посмеиваясь над собой, Сараев полез в объемистый портфель из желтой кожи, вытащил бутылку «Двина» и торжественно установил посреди стола, точно ось воткнул, от которой у нас с ним все пойдет, расходясь от центра кругами. Он выложил на стол лимон, банку лосося, шоколад и сыр. Но прежде чем расставить свое богатство, Сараев осторожно прикоснулся к рукописи, спросил глазами: «Она?»— отодвинул ее подальше, будто начиненную взрывчаткой.

— А где кидало?— спросил он, пропел это слово со смаком и завертел головой.— Вот оно, кидало!— Сараев поднялся и взял с тумбочки граненый стакан.

Я завороженно следил за его приготовлениями, но потом опомнился и, стряхивая чары, предупредил:

— Учтите: лично я не пью.— И переставил коньяк на его угол.

— Аллергия? Печень?— спросил он, снова смеясь и возвращая бутылку на прежнее место.— Со мной можешь без маски. Я все знаю о вас. Вот ваше, можно сказать, второе личное дело.— Он достал из внутреннего кармана пиджака блокнот в черной плотной обложке.

«Бежать! Прямо сегодня... Ну завтра.. За тридевять

земель! К черту сценарий! Все равно теперь он его прикроет, я у него в руках. Без меня у коллег, может, что-то и выйдет. Да, да без меня будет лучше... Но именно сейчас он своего не получит. Придется ему подождать»,— сказал я себе.

— Вы запираешься дома. Верно? И керосинишь. Говорят, потолок в вашей квартире черен от копоти,— продолжал он, читая свои записи.

— Было когда-то. Да на сем поставлен крест. Год, а может, полтора,— сказал я, скрывая отчаяние, и передвинул коньяк поближе к Сараеву.

— Свой я, свой,— заверил меня незваный гость и переставил бутылку. Мы точно в шахматы играли, только вот фигура у нас была на двоих одна.

— Я мог вас выгнать с работы, да, видишь, не выгнал. Впрочем и сейчас не поздно.— Он словно бы шутил, но в голосе его прозвучала угроза.

— Сейчас поздно. Я же говорю: на этом крест! Лотарингский, мальтийский. Крест католический, крест православный. Какой еще? Деревянный! Из осины.

Этот перечень произвел на него впечатление.

— Как же так? Выходит, мне дали старую информацию?— растерялся Сараев.

— Кто именно?— спросил я, не давая ему прийти в себя.

— Зипунов. Предложил за десять рублей. Я заплатил,— пожаловался он, будто обиженный ребенок.

Меня купили за десять рублей! Кажется, сценарий я все-таки допишу сам.

— Уходите! Мне пора работать. И не забудьте это дерьмо!— Сдерживая ярость, я взял бутылку и поставил ему под нос, объявляя мат.

Он уже опомнился и, сделав вид, будто ничего не случилось, развел типичную застольную канитель.

— Больше разговоров! Выпьем по стопке и дело с концом,— сказал он тоном бывалого гуляки,— здоровый мужик, а ломаешься, как девица.

Я молча сорвал с бутылки фольгу, ударом ладони по дну вышиб из горлышка пробку и наполнил кидало коньяком, до краев.

— Давно бы так!— обрадовался Сараев.— А на закуску...— он лихорадочно принялся сдирать обертку с шоколада.

— Пейте!— Я резко придвинул к нему стакан.

— Я не пью!— испугался Сараев.— У меня язва!

— Ну тогда...— Я поднял стакан и посмотрел через него на свет: дитя винограда и солнца, взлелеянное в старинной волшебной бочке. Бутылка пятнадцать рублей! Прости меня, господи! Я подошел к окну и выплеснул нектар на куст жасмина. И на его ветвях, наверно, завязалась борьба ароматов.

Сараев был ошеломлен. Мой образ стоимостью в десять рублей рассыпался, точно песочный. Теперь он мне поверил и молча следил за моими руками.

А я собирал его в обратную дорогу. Заткнул пробкой остатки коньяка и сунул в желтый портфель, убрал туда же закуску.

Сараев потер свой голый череп. Говорят, у него от природы приличные густые волосы, но Сараев их сбрил, стараясь избавить от всего лишнего свою истинную суть. Он как бы редактировал себя. Но теперь Сараев вышел из-под собственного присмотра, голова его поросла жесткой щетиной. Она, казалось, тихонько трещала, когда он гладил темя ладонью. И вдруг Сараев встрепенулся, спросил с надеждой:

— Пономарев, может, вы любишь баб?— И подмигнул уже с собственного ведома.

— Я — однолюб.

— А карьера? Я бы что-нибудь придумал.

— Я сам ушел из центральной газеты.

— Может, картишки?

— Вы, наверно, будете смеяться, но я не отличу червонную даму от трефовой.

— Черт возьми, вы что — стерильный?

— Я новоиспеченный ангел. Я неуязвим.

Он нехотя поднялся, взял со стола портфель. Лицо его медленно налилось ненавистью, точно дурной кровью.

— Было бы нам лет по восемнадцать, ох бы и врезал я вам. Все бы, наверно, отдал: должность, оклад. Только бы вернуть то время,— признался Сараев.

— Можно было бы и стыкнуться. Но вы не жалейте. Толковище осталось бы за мной.

— Ну да, вы занимался боксом,— уныло согласился Сараев.

Досье все-таки было неточным. Если уж говорить о моих спортивных успехах, я имел первый разряд по прыжкам в высоту. Ну и акробатика разве...

Я не стал его разочаровывать, пусть ему будет от это-

го легче, от мысли, что со мной может справиться не так-то просто.

— Да, мне всегда нравился и бокс,— сказал я несколько широко.

Тут Сараев спохватился, как бы ни сложился наш первый раунд, начальник-то он, а я его подчиненный.

— Ничего, Пономарев, вы не ангел. Я вас еще зацеплю! За живое!.. И кстати... Как я сразу не подумал об этом?!. Почему вы здесь? В рабочее время?

— Отпуск за свой счет,— сказал я и подумал: «Бедный наш директор».

— Ну с этим я разберусь! Распустили, понимаешь! Баловень, понимаешь!

Он гневно протопал по участку, потом взвыл мотор, будто машину огрели хлыстом, и Сараев умчался, зло проскрежетав тормозами где-то вдали, перед выездом на шоссе. А может, мне показалось...

«Все испортил, болван!» — обругал я Сараева. Не мог промолчать про эти десять рублей. Нельзя же говорить человеку такое, дьявол разрази! Коньяк и тот стоит дороже. Марочный, правда, сорт. Тут и самый кроткий закусит удила! А может, он думал, будто я и сам ценю себя в червонец?.. Тем хуже для него. И для меня.

Проклиная его вельможное хамство и свою разночинную гордость, я располосовал в клочья все, что написал, и начал сценарий заново. То-то будет доволен режиссер!

Но и Сараев не сидел сложа руки и шел к цели с упорством бульдозера. Он решил взять меня разом, охватив со всех флангов.

Дня через два после его наезда я отправился в здешний уже облысевший лес. Проветрюсь, думаю, пошевелю мозгами, ну а если при сем добуду промеж трех сосен с полдюжины сыроежек, и вовсе будет хорошо. Взял у хозяйки корзину, подобрал на улице палку и отправился в ближайший лесок. И мне тотчас повезло: под нижней веткой орешника пыжился крепенький толстяк-боровик. Рядом с ним поблескивала четвертинка «Московской». Я опрометью бросился домой.

Свернув на свою улицу, я увидел молодую блондинку. Она шла навстречу с другого конца улицы, несла чемодан. Даже издали было заметно, какая это красотка,— рязанский вариант Брижит Бардо. Огромные голубые глаза, большой крашенный малиновой помадой пухлый рот и между ними крошечный вздернутый нос,—

вот и все лицо. Душа моя бурлила от возмущения, и все же в ней нашлось местечко и для здоровой мужской зависти. «Она несомненно приехала к мужчине,— сказал я себе,— к какому-то счастливчику». Наши пути сблизились возле нашей калитки. Блондинка поставила чемодан у ноги и близоруко сощурилась на жестянку с номером дачи.

— Вы к Ирине Федоровне?— спросил я, стоя сбоку.

Она окинула равнодушным взглядом мое лицо, старую спортивную куртку и корзину и сказала:

— Я к Пономареву. Василию Степановичу.

— Его нет,— сказал я, опережая собственную мысль.

— Ничего. Я там подожду,— блондинка беззаботно махнула в сторону дачи.— Помогите дотащить. Он тяжелый.

Я посмотрел на чемодан. С таким багажом приезжают основательно, надолго.

— Он уехал совсем,— сказал я, надеюсь, взор мой при сем был чист и невинен.

— Как же так?— растерялась незваная гостья.— Мне сказали, что он здесь надолго.

— Собирался. Да, знаете, обстоятельства. А кто сказал?

— Ну, это не ваше дело,— рассердилась она и подняла чемодан.

— Я вас провожу.

— Спасибо. Обойдусь.— И блондинка, кренясь набок, поволокла чемодан к электричке.

Но и это еще не все. На другое утро, когда я, как обычно, поехал на завтрак, ко мне сквозь толпу пассажиров протолкался вихрастый мальчуган. Он лавировал, словно струйка воды, обтекая взрослых, и не сводил с меня глаз, шел точно на цель.

— Дяденька,— прошептал он и для верности подергал за полы пиджака.

— Чего тебе?— спросил я.

— Есть марка острова Маврикий.

Я наклонился к его оттопыренному раструбом уху и тоже прошептал:

— Я не собираю марки. Так и передай этому дяде.— И на всякий случай вышел на первой же остановке.

Потерпев неудачу, Сараев затаился, готовя, наверно, новое искушение, и моя дачная жизнь, казалось, вернулась в привычное русло. Как и прежде, за окном чирикали птицы, лениво полаивал Пират. С веранды

доносилось привычное ворчание старухи, напоминавшее уходящий гром. Она методично давила на Андрюшу. Но потом было покончено и с этим. Я услышал, сидя в своем закутке, яростный Женин голос:

— Да оставь ты его в покое! В конце концов!

Потом зазвенела ложка о пол, и старуха пресыщенно умолкла.

Но что-то все-таки случилось с механизмом событий, что-то нарушило их привычный ход. И я неожиданно ощутил эти перемены в себе.

Этим вечером я без колебаний взял листок чистой бумаги и написал первые страницы будущего рассказа. Отныне мне было точно известно, кто мой главный герой. У меня появилось то, чего до сих пор не хватало — одна незатейливая история о том, как человек пытался помочь больной девушке. Девушка потеряла веру в жизнь, а человек был самонадеян и воображал, будто девушка в него влюблена едва ли не по уши. Но сам-то он... нет, нет, я не собирался описывать то, что произошло у меня на глазах, и вовсе не Андрюша-герой. А некто иной, может, я сам.

Неутомимый Зарытьев остервенел вконец, точно задумал перебить все живое, попадавшееся на его участке, вплоть до летучих мышей и ночных бабочек. Все ночи напролет он бегал от ружья к ружью, забивая снаряды, палил без умолку, хотя по сути защищать уже было нечего. Дача пришла в упадок, и сад его порос бурьяном без присмотра. А на деревьях бражничали всяческие паразиты,— пир у них шел горой. Деревья воздели обглоданные ветки к небу, белели рваной корой, взывая о помощи. Но Зарытьев теперь абстрагировал идею, очистив от материальной шелухи, отделив ее от дачи и, точно факел, поднял высоко над головой. Для него отныне важно было палить во все, что лезет живое.

Слабонервные дачники сдали, и наступила эра протестов. Вначале не выдержал самый психованный дачник — артист-неврастеник, пошел к Зарытьеву потолковать, за ним потянулись остальные, и так сходили все поодиночке, корили его, «ай-ай-ай»,— сначала, по-доброму, проникновенно, потом повышая голос. Но частные подходы кончались провалом.

Разбуженный Зарытьев только свирепел — участок его, он тут делает, что хочет, и никто не имеет права

совать в его святая святых свой длинный хобот. А если кто все-таки сунет, тому придется худо. Пусть каждый намотает это на ус в десяток оборотов. Он намекал на ружья, заряд из соли в зад правдоискателя, после чего начиналось осторожное с оглядкой отступление, переходящее в бегство. Правдоискателям мерещились каленые стволы и жестоко смотрящие в цель мушки, а Зарытьев уползал в свой дом и опять погружался в прерванный сон.

Он крепок, с мощной багровой шеей, и свалить его можно только сообща, взяв общей массой, собрав воедино все силы, которые доселе орудовали вразнобой. За это благородное дело принялись две строгие учительницы в очках. Они трудолюбиво попыхтели за столом, сочинили письмо в поселковый совет и пошли по дачам, собирая подписи.

Я сидел вечерком над финалом сценария, когда меня окликнули с хозяйской веранды. Я допечатал фразу, и пошел на зов. Застал на веранде строгих женщин со свитком исписанной бумаги. Их тонкие губы были сурово сжаты, а выразительный взгляд призывал, не медля, подписаться под письмом. Мы знали, что к чему, и все оставили свой автограф. Только Андрей остался в стороне. Он сидел на ступеньках крыльца, разматывая леску, и даже не повел головой.

— А вы?— сказала первая учительница, та, что была поближе к нему, и вопросительно подняла брови.

— Разве вас на касается?— раздраженно спросила вторая.

— Андрюша!— окликнула Женя, виновато суетясь перед гостями.

— Меня не волнует это всемирное движение за тишину. Вы заметили точно. Я крепко сплю по ночам. Эта забота для тех, кто глотает снотворное, а я здоров и обхожусь без люминала,— ответил Андрюша, сосредоточенно роясь в клубке из капронового волоса.

— А если он кого-нибудь убьет?— испытующе спросила одна из активисток.

— Солью-то? В зад?— усмехнулся парень.

— Знаете, в жизни случаются непредсказуемые явления. Можно и солью убить человека. Да, да солью,— полемически возразила активистка вторая.

— Ну, для этого есть милиция. Я-то что?— снова отмахнулся Андрюша.

— Андрей, так нельзя! Это общее дело. Он — безо-

бразник, Зарытьев! Встань сейчас же и подпиши,— возмутилась Ирина Федоровна, но глаза ее были довольны. Не этого ли и добивалась она? Может, одумался зять, взялся за ум?

— Андрей, сейчас же встань и подпишись!— потребовала Женя, краснея за мужа.

— Мы не собираем подачки. Наше дело правое, а барское сочувствие нам ни к чему,— сказали педагоги, оскорбясь.

Андрюша побледнел, но еще глубже ушел в занятие свое, даже насвистывать стал — мол, чтобы ни говорили, а мне нет дела до других. Оставьте, мол, меня в покое.

Вожди нового движения гадливо обошли его стороной и удалились, вдавливая тонкие каблучки в песок, демонстративно прямые, полные презрения к черствым людям.

Мы проводили их глазами до калитки и, спохватившись, дружно посмотрели на Андрея. Он сидел, понурив голову, опустив руки между колен. Леска свободно вилась серебристой змеей у него под ногами. Не было сомнений: он потерпел поражение, оставшись наедине с самим собой.

Старая балерина отвернулась первой, принялась собирать посуду, замурлыкала под нос. У Жени задрожал подбородок, она закусила губы и убежала в дом. Я скорбно постоял в молчании, присел рядышком на крыльцо и похлопал его по плечу, не зная чем помочь.

Солнце опускалось, цепляясь за верхушки сосен, в свое гнездо, ядреный багровый шар размером с тарелку. Он отбрасывал алые тревожные блики на наши лица. Такое жалкое зрелище могло растрогать кого угодно. Это испытание было не под силу даже закаленной балерине. Старуха спустилась к нам и взъерошила прическу у Андрея. Потом она слазила в передник и раскрыла перед нами свою сухую глянцевитую ладонь, на ней лежала мятая трешница.

— Сходил бы в кафе да выпил. И смотришь — полегчает. Это самый подходящий выход. Для мужчины. Один полновесный глоток, и появится желание сказать: «черт побери все»,— объяснила балерина.

— С какой интонацией: «черт побери все»? Что-то здесь не ясно,— вмешался я со смутным беспокойством.

— Интонация одна,— сказала старуха и впервые взглянула на меня с неприязнью.

— Пойду. Похожу,— сказал Андрей, занятый своими мыслями, и поднялся на ноги.

— Деньги-то возьми,— напомнила балерина, протягивая трешку.

— Что?— рассеянно спросил Андрей.

— Деньги, говорю, не забудь,— повторила она, слегка раздражаясь.— Даром никто не поит.

— А он и не собирается пить,— возразил я.— Он погуляет и вернется. Правда, Андрей?

Он неопределенно пожал плечами, взял трешник и побрел к калитке. Я сверлил его в спину зрачками, буравил насквозь, внушал ему: не поддавайся, не пей. Но он не обернулся, ушел.

— Все равно по-вашему не выйдет. Временный слом,— сказал я балерине, а сам не очень-то твердо был в этом убежден.

— Выйдет! Вот увидите,— откликнулась она, но ее голосу, как мне показалось, тоже не хватало уверенности.

— И вам не мешает выпить,— сказала старуха, усаживаясь рядом.— Что-то вы запостились. По-моему сейчас в самый раз. В жилу, как говорят, контрабасисты.

Вот-вот порой и от других слышишь такое... Помнится, командировали меня в один небольшой подмосковный город, днем я занимался делами, а вечером зашел в гостиничный ресторан с неизбежными пальмами в кадках и оркестром из пенсионеров. Сначала я пребывал за столом в единственном числе, потом ко мне подсел странный кутила. Он перебрался из-за соседнего столика, где коротал в одиночестве время.

— Сижу, как пень на опушке,— посетовал мой застольник и вдруг грустно пошутил:— А ведь на самом-то деле царевич Дмитрий — это я. Не смешно? Знаю.

Он пил только «Угличскую минеральную», которую прихватил с собой, переселяясь за мой стол.

Я посмотрел на его пористое лицо, будто вырезанное из губки, и спросил:

— Вшили торпеду?

Он покачал головой, мол, не угадал.

— Не та обстановка. Для любителей место. Сюда я зашел поесть, а выпью дома. Вы меня не узнаете?— добавил он вдруг.

Лицо его действительно было знакомо, но кто он, я

бы так и не припомнил сам. Он понял меня и пришел на помощь.

— Я — Карасев,— сообщил мой собеседник, печально улыбаясь.

Теперь я узнал. Когда-то Карасев был известным футболистом, но потом постепенно сошел с арены и по слухам поигрывал где-то во второй лиге.

— Водка все,— пояснил Карасев.— Кому-то понадобилось, и споили. Дескать, звездная болезнь, нос дерет, установку на игру не выполняет. Выбивается из схемы, в общем. Вот и уравняли!.. Началось с четвертинки, а там под гору поехало само. Хотели малость понизить мой класс. Да кончилось вон чем.

Ну что я мог сказать? Не вернешь и здоровье, и годы. А уж класс и подавно.

— А помните мой дриблинг?— спросил Карасев, затрепетав.

Его дриблинг был незабываем: Карасев, как молния, пронзал все линии защиты, и его атаки частенько завершались голом. Он прочитал это в моих глазах и благодарно кивнул.

— Да, бывало я финтил. Мяч защитнику за спину и... А теперь никому не нужен. Даже в зачуханной команде. Бывает, откроешься на краю,— ну, ребята, дайте пас!— а тебе уже не доверяют. Вся игра мимо тебя. А ты стоишь один, как в тайге... хоть аукай... Или я говорю не то? Так вы оборвите. Мол, хватит.

— Продолжайте.

— Нет, если не то, вы не стесняйтесь. Чего там?

— Я слушаю, слушаю.

— Тогда, может, поедем ко мне?— предложил он вдруг.— Прихватим банок пять и врежем под дых! Чего насухо-то?!

В командировках я сдерживал себя особо, избегая застолий, притворялся больным, хитрил, наживал репутацию столичного сноба, а тут профессиональное любопытство и что-то еще, похожее на солидарность, перевесили благоразумие, повлекли в гости к футболисту.

Он привел меня в скудно обставленную однокомнатную квартиру. Стол, кровать, два стула,— вот и вся мебель. Дух у нее был нежилой, у этой квартиры. Чем-то она напоминала мастерскую — простотой обстановки, что ли. Фото женщины и девочки на блеклых полосатых обоях воспринималось как пришелец из другого мира.

— Жена. Была. Слиняла в другую команду, но я ей

не судья,— сказал футболист.— Разливайте, а я подготовлю рабочее место.

Я откупорил бутылку и налил в мытые до новизны стаканы портвейн. Ему полный, себе граммов сто.

Хозяин между тем принес ведро с водой, вытянул из-под кровати деревянную раскладушку,— для гостя на всякий случай.

Он хлопотал деловито, что-то напевал под нос, готовясь к смертельной попойке.

Меня передернуло от затылка до пят, будто прошили ниткой. Уже заранее к горлу подкатила рвота.

— Склероз!— Не знаю, насколько естественно я хлопнул себя по лбу.— Совсем вылетело из головы: должны звонить из дома! Жаль, но придется бежать в свой номер. Иначе жена сойдет с ума.

— Дело семейное. А я тут как-нибудь управлюсь,— заверил футболист.

Он держал в руках чистую сорочку, точно собирался в гроб.

Тошнота унялась на улице, но еще месяца два меня воротило только при виде наклейки...

...«Что же получается?— подумал я.— Если человек пьян, значит, это кому-то нужно? Он бредет, хватаясь за стены и падая, беспомощный, аки былинка, мускулы и мозг его, точно вареное волокно, делай с ним все, что угодно. А если он не пьет, найдется нечто другое. Слабость! Ищите у человека слабое место, и он ваш!.. Вот так-то. Мы-то мечтаем, ищем, а исподтишка плетется против нас тихий заговор. Змея ползет украдкой по икрам и бицепсам, обвивает шею железной петлей. И мы уже Лаокооны!»

Мои мысли перебил вопль:

— Андрей! Где Андрей?

Это крикнула Женя, высунувшись в окно со спицами и клубком шерсти — кукушкой в старинных часах.

— Он пошел в кабак. Он решил посидеть над ромашкой,— известила балерина голосом шталмейстера. Она воспряла духом.

Я торопливо вмешался:

— Женечка, не бойтесь! Андрей пошел погулять. Разомнет немного мышцы и вернется домой, трезвый, как стеклышко.

— Ну, ну, знаем мы эти разминки,— сказала балерина и улыбнулась мне, будто мы с ней снова были сообщниками. Прикрикнула на Женю:

— А ты чего ждешь? Не знаешь, что делают бабы, когда пьют их мужики? Ступай за своим пьянчугой. Небось он уже спит под забором. Нарезался в лоскуты!

Женя исчезла, вынырнула на веранде и, сбежав по ступенькам, заторопилась по Андрюшиным следам, гулко стукнула калиткой.

Я приподнялся, решив пересесть ступенькой выше.

— Это нечестно!— заволновалась старуха, неверно истолковав мое движение.— Он должен выбрать сам! Он не маленький!

Она права: человек такое решает сам, без нянек.

— Хотите знать, с чем вернется Андрей? Могу поведать,— предложил я вдруг даже для себя.

— Ага, вы оракул? Ну, ну, выкладывайте. С чем?— иронически поощрила старуха.

— Он принесет провод. Распахнется калитка, и перед нами предстанет ваш зять! Еще не остывший от борьбы. А в руке он будет сжимать конец проводки, как удавленную гадюку. Андрей направится к нам, а провод поползет за ним в калитку, и хвост его так и останется там, где-то на улице.

— Какой еще провод?— забеспокоилась балерина.— И зачем ему провод? У нас этого барахла полон сарай.

— Этот провод особый. Андрей сорвет его с зарытьевской ограды. Если уже не содрал... Зять подойдет и молча бросит к вашим ногам и провод, и целехонький трешник!

— Выдумали все. Это, видать, страницы из ваших рассказов.— Балерина с облегчением вздохнула, точно сбросила с возраста груз лет в десять.

Вот это новость! О моих неуклюжих занятиях высокой прозой известно только жене. Но между Тосей и балериной десятки километров железной дороги плюс тысячи верст незнакомства. Значит, хозяйка в мое отсутствие шарит на столе. Я представил, как она хмыкает, пробегая взглядом то, что и сам иногда перечитывать стесняюсь, и мне стало не по себе.

— Я не роюсь в чужих бумагах.— Она высокомерно усмехнулась, каким-то образом проникнув в мои мысли.— Меня просветила ваша жена. Милая, между прочим, женщина. Так и гордится вами. «Мой муж и рассказы, между прочим, сочиняет»,— это ее почти доподлинные слова.— Встретив мой недоуменный взгляд, балерина молодо засмеялась.— Откуда я знаю Тосю? Так

вроде бы ее зовут? Не буду мучить вас загадками, хотя есть соблазн. Но сейчас не до этой роскоши. Короче: помните, вы спросили: не появлялся ли кто, пока вы работали... запоем? Я сказала о женщине, которая искала какого-то Иванова. Это и была ваша Тося. На самом деле ей нужны были вы. Когда я ее увидела, она уже стояла вон там.— Балерина указала на яблони, росшие посреди участка.— «Я, говорит, ищу Иванова». А сама на ваши окна зырк-зырк! «Вы бы фамилию придумали другую,— говорю.— Что-нибудь пооригинальней. Ну, скажем: «Не здесь ли случайно живет Петин?» Она молодец, не обиделась. «Я, говорит, такой вас и представляла». Уу, негодник, что вы обо мне наговорили?

Если б я помнил!

— Так и быть. Я тоже не в обиде... Словом, мы поболтали всласть!— закончила балерина.— Так что, пишите свои рассказы, романы, а в жизни все равно выйдет по-моему.

— Да. Пятерых вы споили, добились своего. Хотя не пойму: ради чего? Пьяница — тип малоприятный, даже если он и добрый малый. Или у вас слабость к алкоголикам?

— У вас злой язык.— Она якобы благодушно погрозила пальцем.— А сначала, признаюсь, я не поверила... Ну будто вы писали сатиру... Пьяный муж, конечно, доставляет много хлопот. Но что-то мы всегда приносим в жертву. Я — женщина, и, как все женщины, слаба. А мой отец, скромный капельдинер, которого мог обидеть всякий кому не лень... Мой маленький тщедушненький папочка любил говорить: «Если ты слабей, бей первым. Разбираться, кто прав, виноват, будешь потом». Говорил он это не мне, девчонке, учил мужчин, таких же бедолаг, как сам. Но я запомнила его урок... Была прилежной ученицей. И в юности, говорят, подавала некоторые надежды, танцевала в «Дон Кихоте» одну из дриад и имела будто бы смазливую мордашку. Словом, обращала на себя внимание. Ну и, как водилось в таких случаях, упоминания в газетных отчетах... мол, «и была мила юная такая-то», и букеты цветов в гримерную... не в свою персональную, в коллективную... до персональной я так и не доросла. Мой первый супруг — баритон — был добрым, но чрезвычайно вспыльчивым. Ревновал меня к каждому присланному цветку, к третьеразрядному репортеру в засаленном пиджаке. Однажды

он не сдержался, хлестнул меня ладонью по щеке, и от этого ему, видать, полегчало. С тех пор муж занимался психотерапией, срывал на мне настроение. Бил даже, если ему в этот день не удавалось взять верхнее соль... Тогда-то я и вспомнила слова бедного папы и стала бить первой... Не кулаками, конечно. Вы понимаете... С тех пор мой баритон стал безобиден, как пудель... Да разве я одна?.. Вспомните посылку от вашей жены.

— Жена-то здесь с какого бока?— ощерился я, чувствуя неладное.

— Верно. Тося с не того бока. Она вас не боится. Она боится вас потерять.

— Извините, Ирина Федоровна, но вы не понимаете, что говорите. Это же полная чушь.

— Я «не понимаю». Я знаю. Человеку иногда хочется излить душу, а некому. Вы с Тосей живете без друзей, как англичане: мой дом — крепость, и в нее посторонним ни-ни. Вот она и выложила мне все, словно своей бывшей дуэнье.

— И что же еще она могла вам открыть? Такого-этакого?— спросил я, может, с преждевременной усмешкой.— От меня-то у нее секретов нет. Во всяком случае до сих пор не было,— произнес я, может, чересчур самодовольно.

— Выходит, были,— усмехнулась старуха, отражая мой выпад. Мы скрестили свои усмешки, точно шпаги.— Ваша Тося, чуткий Василий Степанович, трясется от страха. И уже какой год! Боится, как бы вы ни удрали к даме, способной одарить вас дитем. Мол, ваша жизнь без ребенка пуста. По мнению Тоси все женщины мира, включая наш поселок, только и мечтают, как бы сделать ее Васеньку, Василька или еще как там... счастливым папашей.— Она задержала взгляд на подушке моего живота.— Скажете нелепость? Я тоже так думаю. Но для Тоси вы первый красавец! Дуглас Фербенкс!.. Она и поит вас отворотным зельем. Потому что ни одна баба не позарится на пьянчугу. А ей вы годитесь любой! Так-то, Василий Степанович, вы рвались к правде, а она вон какая!

Я взлетел с крыльца и, ничего не говоря, ринулся по тропинке, в глубины участка.

— Не дождались? А как же ваше предсказанье?— насмешливо крикнула старуха.— Она праздновала победу.

— Сбудется, сбудется!— отпарировал я, не сбавляя шага.

Я спешил, прокладывая дорогу покороче, проломился сквозь колючий шиповник, раздирая штаны и рубаху, и вышел прямо на прутик — на поставленный мною знак,— налетел на него со слоновой яростью, растоптал, поднял с земли и разломил на мелкие кусочки, а потом развеял по ветру.

Но место и без него было приметным: пенек и клен, а между ними, посреди, характерный холмик,— маленький, так и кидается в глаза. Тогда я опустился на колени и начал, словно терьер, копать руками, обдирая ногти, вырыл ямку вдвое больше, чем следовало, а «Горный дубняк» будто растворился в почве вместе с бутылочным стеклом.

«Ах, Тося, бедная Тося! Такой ценой!— произнес я, стоя на коленях.— Почему не открылась мне? Что ей мешало?— спросил я себя.— Гордость? Боязнь? Мол, вдруг надоумишь сама. Она — слабенький человечек, моя жена, маленький зверек, который отчаянно дерется за свое маленькое счастье. То-то она легко рассталась с Москвой — увезла меня от породистых столичных самок. Но мне ли ее осуждать? Мне — виновнику и Тосиного, и своего несчастья? Это о нас потом напишут в сказке: «Жили-были старик со старухой. Детей у них не было...»

Я с усилием поднялся на затекшие ноги, вытер пот рукавом и направился было к душевой, туда, где висел умывальник, но потом передумал и свернул к балерине, осторожно оттопырив руки: земля подсохла, сводила пальцы в крючья.

Старуха переместилась к калитке, вцепившись по-птичьи сухими длинными пальцами в штакетник, вглядывалась в даль улицы.

— Вы обещали, наговорили всякого, а его даже и не видать,— известила она, не оборачиваясь.

— Вы тоже ему насулили немало. А то, что его до сих пор нет, это к лучшему. Значит, прав я. Иначе он давно бы вернулся, много ли нагуляешь на три рубля?

— Да, тут я малость не рассчитала. Но все равно будет по-моему,— упрямо повторила старуха и повернула ко мне лицо.

— Я утверждаю: будет по-моему! Спорим!— завелся я, как в лучшие мальчишеские времена.

— Пари я избегала всегда.— Ее взгляд остановился

на моих грязных руках, в глазах промелькнуло удовлетворение.— Копали землицу?

— Вспахал вам дюжину грядок. Под редиску и морковь.

— С дюжину грядок?— хмыкнула она.— А бутылочки-то я перенесла, спасла, выходит. Вы еще отблагодарите меня, в ножки поклонитесь, когда вас прижмет,— добавила балерина.— Впрочем, вы, кажется, скоро покидаете наш город и будто бы насовсем? Я правильно поняла Тосю?

— Не совсем. Небольшая вылазка в Подмосковье, на уборку капусты,— и всего. Признаюсь по секрету: под увесистым качаном нас ждет ма-а-аленький сын. Или дочка. Мы возьмем его... или ее за ручку и вернемся.

— По-о-онимаю,— протянула старуха.— Хотите успокоить Тосю? Вы самоотверженны. Браво!

— Не стоит. Я тщеславен! Уж очень хочется, чтобы меня звали папой. «Па-па, па-па!» Звучит?

— Ну это надо еще заслужить. Тут и родные-то порой зовут тебя сквозь зубы...— Перескочив с одной мысли на другую, она, видимо, задела собственную давнюю болячку и умолкла.

Но я-то понял, что́ она предназначала мне, и заверил:

— Я постараюсь! Я буду очень любить!

— Дай вам бог.— Балерина вздохнула грустно.

Я спохватился: да что я все о себе да о себе?! Сейчас решается судьба другого человека. И может, вместе с ней и... моя.

— Становитесь рядом. Будем ждать!— предложила старуха, снова хватаясь за планки ограды. От ее минутной расслабленности не осталось и следа. Прямая осанка, сухой твердый взгляд, она была готова к продолжению поединка.

Я принял приглашение, тоже взялся за штакетник и повернул голову в ту сторону, куда смотрела балерина.

Перед нами тянулась пыльная поселковая улица. В двух шагах от нас паслась невесть откуда взявшаяся белая шелковая коза, щипала одуванчики под забором. Пушистые шары взрывались перед ее носом, коза вздрагивала. Чуть дальше, вихляя влево-вправо, катил мальчик велосипедист. За его красным велосипедом бежала орава малышей. Наши взоры летели поверх козы, над

головами ребят, упирались в конец улицы. Там, в тупике, на фоне белой складской стены появится Андрей.

Солнце упало за горизонт, из кустов, подвалов и чердачных окон, из иных потаенных убежищ выползали на ощупь осторожные сумерки. Нас окутала густая напряженная тишина. Что-то, широко раскрыв рты, кричали дети, и блеяла коза, но мы не слышали их, точно невидимый оператор вывел звук. И только на станции, как всегда, голос диктора твердил одно и тоже: «Внимание, идет поезд!» На этот раз в его голосе пробивались ожидание, тревога. Или мне показалось?

Кратово — 1963 г.

Рассказы



СКВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР

За этим доцентом следи и следи. Беседу он проводит блестяще — уши распускаются, как бутоны, когда он говорит. Но вот сказано последнее слово, и тут жди от него фокусов. В прошлый раз, вместо того чтобы уйти из студии, как положено — тихонько, не спеша, он затеял прощание с оператором и помрежами. Ему было сказано русским языком: «Погас красный глазок камеры — встань без шума и на цыпочках выйди». Так нет, он еще сунулся к диктору с рукопожатием. Диктор сидит перед включенной камерой, объявляя следующую передачу, а тот лезет к нему в кадр с протянутой ладонью и бормочет:

— Благодарю вас. Всего доброго. До свидания и прочее.

Диктор, бывавший в разных передрягах, делает вид, будто и нет этого непутевого доцента в кадре, и старается легонько отпихнуть его. И при этом, разумеется, продолжает говорить зрителям, что и положено.

— Наш кинооператор побывал в гостях у водолазов,— говорит диктор, с самым невинным видом смотрит в глаза телезрителям, а правой рукой исподтишка борется с доцентом.

А доцент совсем ошалел, прет напролом прямо на экран, еле вытянули из кадра за полы пиджака. Сбежались все свободные постановщики и тянули его, словно сказочную репку. Зрители, конечно, в это время покатывались со смеху, а потом слали ехидные письма: мол, чем вы там занимаетесь, милые товарищи из телевидения, такие вы, сякие. Директор наложил визу: «Корневу! Разобраться!!!»— и передал письма мне, то есть

редактору этой передачи. А в чем разбираться? И так ясно: доцент растяпа, и с этим ничего не поделаешь. А заменить его некем. Он командует станцией, наблюдающей за спутниками Земли, знает свое дело лучше всех в городе, и голос у него, как у мифической сирены.

Сегодня запустили очередной спутник, и доцент опять за столиком в нашей студии. Перед ним ворох бумаг. Он потрясает записями и рассказывает, нет, поет о том, что происходит сейчас в космосе. Ему мало миллионов зрителей. Он простирает руки к осветителям, и те кивают ему головами, запряженными в дуги наушников.

Я тоже в это время торчу за пультом. Сижу на круглом кожаном табурете и маюсь. Когда тот доцент в студии, мне становится не по себе. Недоброе предчувствие изводило меня еще с утра. В конце дня я не выдержал и остался дежурить за редактора кинопередач. Доцент прибежал за полчаса до выступления. Не пришел, не явился и не прибыл, а именно прибежал в расстегнутом пальто.

Я поднялся в аппаратную и сел возле режиссера. Режиссер, высокий и черный, навис над кнопками пульта. Он внимательно посмотрел на меня темными, отражающими неяркий свет приборов глазами и промолчал. Зато его ассистент счел нужным высказаться:

— Василий Петрович, шли бы домой. Не морочьте голову себе. И нам. Все равно, что случится, то случится и вы ничего не измените.

Я одернул его. Я сказал:

— Занимайтесь своим делом,— и посмотрел через стекло в студию. Там, в ослепительном сиянии ламп, усаживали доцента.

Итак, мы вышли в эфир. Проиграли позывные, диктор поздоровался и стал читать программу вечерних передач. В левом углу студии ворошил свои записи мой ненаглядный доцент, он открывал программу. Я наклонился к режиссеру:

— Будь добр, пусть помреж напомнит ему еще раз, как вести себя после лекции.

Режиссер невольно скривился, но я смотрел ему прямо в глаза. Тогда он нехотя нажал кнопку тихой связи и сказал, что следовало. Я видел, как помреж затряс головой, точно хотел стряхнуть назойливые наушники, однако наклонился над ухом доцента и пошевелил губами. Доцент вздрогнул, его лицо сделалось испуган-

ным. Он сложил руки на груди — клялся, что все будет в порядке.

Но я будто смотрел в воду. Доцент все-таки подвел нас. Передачу он вел, как всегда. Я следил за его крупным изображением на мониторе и даже забылся. Минуты за три до конца он взглянул на часы и скис.

— Не узнаю нашего доцента. Будто губы смазали клеем,— сказал режиссер.

— Сейчас узнаете.

От нехорошего предчувствия у меня заныло в груди. Теперь глаза доцента, налитые тревогой, то и дело скатывались к часам. Вот он произнес задубевшим голосом последнее слово. Я замер. Доцент неожиданно встал и, пригнувшись, начал красться на цыпочках через экран. Мы глазели на это представление, словно под гипнозом. Наконец ассистент режиссера пришел в себя и резко нажал кнопку — изображение исчезло. Я отшвырнул ногой табурет и побежал вниз.

— Полегче!— крикнули за спиной.

Доцент уже был в фойе. Он по плечи ушел в кресло и оттуда с ужасом следил за моим приближением.

— Вас поздравить?— спросил я, останавливаясь над ним.

Он умоляюще улыбнулся.

— Прекрасная передача,— сказал я.— Пожалуй, непревзойденная за всю историю телевидения. Куда там московским передачам!

Ему было стыдно, и жалкая улыбка не сходила с губ. А я говорил, наливаясь ядом. Я чувствовал, как от слепой ярости натянулась кожа на моих висках, а уши съехали куда-то к затылку. И вместе с тем я понимал, что хватил через край, но не мог себя остановить.

— Я больше не буду выступать,— пролепетал доцент через силу.

О, нет, он не шантажировал, он обещал. Но мне почему-то приспичило истолковать его слова по-другому.

— Ну, это нескромно! Это уже, батенька, зазнайство. Нехорошо так. Просто неблагородно. Родная студия, а вы этак свысока.

— Будет вам, Василий Петрович. Не так уж все трагично,— мягко сказал режиссер за моей спиной.— Товарищ доцент исправится и станет паинькой. Верно, товарищ доцент?

Режиссер хотел обратить происшедшее в шутку,

Я понимал, зачем он это делает, но тем не менее бросил через плечо:

— Не суйтесь не в свое дело!

— Это и мое дело,— миролюбиво заметил режиссер.

— Я отвечаю за передачу!

— И я отвечаю.

Я повернулся к режиссеру и стал ругать его, обвиняя в попустительстве и халтуре. Это было уже совсем глупо. Нас окружали люди, пока еще незанятые в передаче. Я не знал куда деться.

— А вы собираете спичечные коробки. Думаете, мне неизвестно?— сказал я режиссеру ни с того ни с сего.

Режиссер сконфуженно заалел, и на щеках у него образовались детские ямочки. Он скрывал свое увлечение коробками. Я понял: мне нужно немедленно уйти, иначе произойдет еще что-нибудь безобразное.

— Черт бы вас побрал, беспринципный человек!— выпалил я в адрес режиссера и пошел в комнату дежурного редактора.

Едва я сел перед контрольным телевизором, как позвонил директор и забалабонил в трубку:

— Василий Петрович, вы уж там поспокойнее...

Я прервал его, не церемонясь:

— Ага, успели пожаловаться? Просили: «Уймите этого, сами знаете, кого. Спасу нет». Не так ли?

— Так, но... Вы прекрасный редактор, но... Вы уж там не дергайте людей.

— Итак, я не нравлюсь? Что ж, могу уйти. Мне ведь это недолго. И потом на вашей студии свет клином не сошелся. Кстати, мы имеем приглашение и в Казань, и в Барнаул. Вот оно, в кармане,— выпалил я со злорадством и сразу пожалел об этом.

Что скажет директор? Я ждал, а по спине бегали мурашки. Я не врал, меня в самом деле звали и в Казань, и в Барнаул, после того как мой киноочерк о местных изобретателях обошел страну. Но мне было жаль уходить из нашей студии. Народ здесь отличный, не люди, а золото, и без них мне будет совсем трудно. Так что же ответит директор?

Пока он озабоченно дышал в трубку. Потом внезапно произнес:

— Сегодня очень интересная программа. Передачи как на подбор. Запишите это в журнал. Спокойной ночи, Василий Петрович!

Я не успел и рта раскрыть, а директор бросил труб-

ку. Тогда я вытащил из стола лист бумаги и одним махом настрочил заявление. Просил уволить из студии. «В связи с тем, что мной развалена работа»,— приписал я отчаянно. Это была ложь, кокетство, спекуляция, шантаж и другая разная дрянь.

Я зашел в незапиравшийся директорский кабинет, положил заявление на стол и тихо просидел в дежурке до конца программы.

Поздним вечером я отрешенно брел к трамвайной остановке намеренно поодаль от всех и выбирал дорогу так, чтобы моя скорбная фигура маячила у них перед глазами. Если попадались неосвещенные места, я быстро пересекал их и выходил под зажженные фонари. Усилия мои были тщетны.

Я уже подумывал изменить тактику, как вдруг режиссер воскликнул, страдая:

— Василий Петрович, ну что вы в самом деле? Идите к нам!

— Спасибо,— сказал я мстительно.— Не беспокойтесь, не буду вам мешать. Я уж как-нибудь один. Привык, знаете.

Они взяли штурмом первый вагон трамвая, кто-то протянул мне руку, но я демонстративно вошел в другой вагон.

Постепенно я остывал. Прильнув к стенке вагона, я радовался себе: какой я сейчас хороший — вот еду и не мешаю никому. Но мир не в моей привычке. Я начал искать повод для скандала. Устроить полноценный скандал в полупустом вагоне не так-то просто. Я приглядывался к пассажирам, но среди них не было ничего обнадеживающего — клюют носами и безвольно мотаются вместе с вагоном.

Так бы и ехать мне до самой своей остановки смирным человеком, если бы в вагон не вошел этот пьяненький толстяк. Он заявился с передней площадки и жизнерадостно возвестил:

— Веселые ребята у нас на телевидении! Очень веселые. Люблю их.

Он цветисто прокомментировал выступление моего доцента. Не полагаясь на словесный эффект, толстяк героически согнулся в дугу (мешал живот) и прошел по вагону, изобразив, как было. Кое-кто хмыкнул: захмелел человек, что с такого возьмешь.

Но мне только его и недоставало. Не мешкая, я выра-

зил сомнение в его способностях соображать здраво. Выпей он больше, ему бы примерещилось и не такое.

— А ты меня поил? Ты меня поил?— и толстяк торжествующе оглядел вагон, считая это наиболее убедительным аргументом.

— Оставьте его в покое. Человек немного выпил. И к тому же он кое в чем прав. Я смотрел сегодняшнюю передачу.

Это произнес один из очнувшихся пассажиров, но врасплох он меня не застал. Я ответил ему подобающе. И тут началось.

Через три минуты я воевал со всем вагоном, в том числе и с кондукторшей. Она пыталась меня утихомирить, и ей это даром не прошло. Я сказал ей кое-что неприятное. Насчет базара, бабьих привычек и прочего. Я ругался и представлял, насколько пакостно выгляжу со стороны.

На своей остановке я вылез под невообразимый гомон всего вагона. Я еще постоял на подножке и крикнул назад:

— Я видел таких умников тысячами! В одном желтеньком доме. На Форштадской, пятнадцать. Не забудьте адрес. Эй вы, умники!— и спрыгнул на землю.

— Тут я столкнулся с режиссером и осветителем Лешей. Мы живем в одном доме, и они решили меня подождать. Просто им было неудобно уйти без меня.

— Древняя развалина,— сказал я вслед уходящему трамваю.

Они выслушали это терпеливо, и режиссер предложил:

— Ну, потопали.

По дороге он завел речь о преимуществах трансфакатора перед прочими объективами, затем перескочил на минувшую телевизионную постановку о шахтерах, а юный осветитель Леша загорячился и начал возражать. Я слушал их урывками, а сам прикидывал, что следовало сказать противникам. Итоги получались неутешительные. Самые остроумные слова так и остались непроизнесенными, я додумался до них только сейчас, а там порол глупую бессвязную серятину, и ее с отвращением слушали умные люди.

На подходах к дому режиссер пригласил нас к себе на чай.

— Время детское. Только двенадцать часов ночи,— добавил он.— Покалякаем о том о сем.

Юного Лешу эта в сущности банальная идея привела в восторг: ему лишь бы ночью пошляться. А спать он будет до средины следующего дня и, разумеется, опоздает на работу.

— Батя уже спит. Теперь ему все равно, когда открывать: в двенадцать или под утро,— профилософствовал он вслух, убеждая себя и нас на всякий случай.

— Ну до утра-то, пожалуй, у тебя не выйдет. Выгоню через час,— охладил его режиссер и посмотрел на меня.— Ну, как?

— Ладно,— сказал я машинально.

Мы поднялись на пятый этаж и сняли в прихожей плащи. Режиссерова жена выдала нам шлепанцы, мы скользнули на сияющий паркет и докатились до круглого стола. Затем хозяйка захлопотала на кухне, а режиссер достал из буфета графинчик с желтоватой водкой. Юный Леша, на котором был свитер, связанный из веревок, плотоядно потер ладони и сказал:

— Итак, первая остановка Рига. Далее — везде.

— Только попробуй. Отниму,— предупредил режиссер.

— Ваше здоровье,— сказал мне хозяин и поднял рюмку.

Не успели мы выпить, как двери квартиры подверглись целой серии атак. Вначале заявился один журналист с дежурства в областной газете. Он молча водрузил на стол бутылку сухого вина, рухнул в кресло и некоторое время блаженно смотрел оттуда, не отвечая на вопросы.

Потом прикатили известный хирург и его жена. За ними сразу прискакала орава артистов, и тут квартира заходила ходуном. Поначалу я не отставал и показал им фокус со спичками. Мне дали кусочек фольги, и я запустил крохотную ракету, после чего подошел режиссер, понимающе пожал мою руку.

Но меня хватило ненадолго. Я забрался в угол, смотрел на веселые лица и думал, как сложно устроен человек. Он для всех, и он для себя. Он может быть счастлив там, где он для всех, и несчастен там, где он для себя. Такая он сложная штука. И уж совсем плохо, когда у него при этом скверный характер.

Настроение стало падать. Я чувствовал, как во мне нарастает глухое раздражение. Тогда я тихонько оделся и вышел. Мне стало очень тоскливо. Безнадежно тоскливо. А помочь бы мне могла только мать. Я шел по узкой

лестнице и старался представить ее, мою мать. Я был еще на лестнице, а она уже стояла перед моими глазами...

Вот я стучу в дверь, и мать открывает мне. Я медлю входить. Прислонившись к дверному косяку, смотрю на нее. Она в моем любимом синем платье. Чуть сгорбилась. Под глазами и около губ морщины.

— Ты старенькая, мама. Совсем старенькая.

— Да и ты не молод, парень. Сорок лет — далеко не детский возраст,— говорит она и немножко грустно смеется.

Мы молчим, просто глядим друг на друга, затем я прохожу в комнату. Бросаю на стол кожаную папку и мою руки. Мылю чернильное пятно на указательном пальце и все время чувствую на спине взгляд матери. Сейчас она скажет:

— Опять ругался?

А я отвечу вопросом:

— Разве заметно? И откуда ты все знаешь, мать? Ты все буквально знаешь про меня.

— Если я не буду знать, то кто же будет знать?

— Да, к сожалению, никто. Могла бы...

Можно не произносить ее имени. Мать всегда догадывается, о ком идет речь. И это хорошо. Так легче.

— Но ее нет,— говорит мать.— Ты очень часто скандалишь, сынок. Даже чересчур. Почему бы это? У тебя интересная работа, ты делаешь большое дело. Я горжусь тобой. И директор гордится.

— Человеку необходимо и другое. Кроме работы. Мать, ты знаешь что.

— Если имеешь в виду Лену, то виноват ты сам.

— Я понимаю.

— И много думаешь о ней?

— Всегда. Почти все время.

— Зачем держишь это в себе? Такое горит.

— Мать, не узнаю тебя. Не идти же к директору? Так не бывает. Ведь у человека есть и то, что он носит глубоко в себе и не может открыть никому. Разве что тебе, матери, своему первоначалу. Если тебя нет, то и некому. И тогда он остается на орбите один. У него много орбит, но на этой он совсем один.

— Собачий у тебя характер,— укоризненно выговаривает она. Директор так не скажет никогда. Он скажет иначе:

— Василий Петрович, прошу не забываться и быть вежливым.

Я хитро прищуриваюсь:

— У тебя-то, мамаша, характер какой? Я только твоя копия. Не ты ли любила поскандалить, а потом соседи писали жалобы?

— Приходилось, но это было давно,— смеется мать.— Очень давно. Четверть века назад. Тогда погиб твой отец и я осталась совсем одна. Тебе стукнуло пятнадцать лет, когда я поскандалила последний раз. А потом я затихла навсегда.

— Да, мать, навсегда, и поэтому я остался один.

Я сажусь за сценарий передачи о Горьком, а мать продолжает шить,— в общем, занимается чем-то своим. Не важно чем, лишь бы она была рядом.

— Тебе трудно с таким характером.

— Угадала.

Мать загадочно поджимает губы, озирается на стены, точно кто слушает нас, и шепчет:

— Почему бы не черкнуть Елене?

— Ну уж дудки. Писать я не буду.

— Но ты был кругом виноват.

— Не был. Кто угодно был виноват, только не я.

— Здрасьте. Ты извел ее своими выкрутасами.

— Выдумки. Я любил ее.

— Но это не мешало тебе методично изводить ее. Она не знала, чего от тебя ждать. Если хлестал дождь, ты к ней придирался: «Почему идет дождь?» Она сносила от тебя все, имея глупость любить такую зануду.

— Однако... тю-тю... уехала.

— После того как ты сообщил о рыжей врачихе. И Лена решила не мешать.

— Это был экспромт. Врачиху я видел единожды, когда она лазила мне в рот своей противной ложкой.

— Вот я и говорю: виноват был ты.

— Ладно, был. Что из этого? А сегодня я попросил уволить меня из студии и оставил заявление у директора. Не попросил, а потребовал.

— Из-за чего?

— Так, захотел и написал. Есть бумага и чернила. Почему бы, думаю, не сочинить такое заявление?

— Поздравляю! Впрочем, ты и в детстве не блистал умом.

— Мать, где твое родительское достоинство? Ты вскормила кретина? Так ли это? Нет. Просто ты одари-

ла меня богатым воображением. Ты сидишь на стуле и мило беседуешь со своим чадом. Это ведь благодаря моему воображению. Не забывай! Но я не тщеславен. Я слушаю тебя и жду совета.

— Заберись на телевизионную вышку и бросайся головой вниз. Это остроумнее твоих дурацких заявлений.

— Видишь, мать, какой у тебя характер. По идее ты должна быть мягкой и нежной,— говорю я печально.

У матери лицо, будто ее застали за предосудительным занятием.

— Уж пошутить нельзя,— неуверенно оправдывается она, и нас в комнате опутывает неловкая, сковывающая движения тишина, потому что мы нечаянно тронули слабую и тонкую нить, которая еще соединяет нас и позволяет встречаться.

Я делаю вид, что работаю. Пишу сверху листа: «Сценарий передачи «Буревестник революции», а сам жду, что она скажет. Я знаю что.

— Ступай рано утром и порви заявление, пока не видел никто.

— Я поступил глупо, но теперь не вернешь.

— Ступай и порви.

— А самолюбие?

— Ну, как знаешь. Только мне горько.

Мы возвращаемся каждый к своему. Я думаю, как начать сценарий. Но мысли уходят к матери.

— Мать, спроси меня: устал ли я? Очень прошу.

Мать смотрит с раскаянием.

— Прости, сынок. Я завертелась совсем. Ты очень устал?

Так больше не спросит никто. Не спросят и близкие друзья — по законам дружбы это не принято. И соваться с такими вопросами считается просто не по-мужски. Язык дружбы — это молчание.

Но у других спросит жена. У меня нет жены. Нет ее и у многих. Они в таком положении, как и я,— одни на этой орбите. Витки следуют за витками, а мы по-прежнему одни, у нас нет радиостанции, которая приняла бы наши сигналы. Какое счастье, если найдется радист, который сумеет поймать нашу волну. Каждому нужен свой радист. А пока мы в одиночестве.

Я слишком увлекаюсь абстрактной философией и упускаю нить, соединяющую нас с матерью. Ошибку исправить нелегко.

— Мать, отзовись!

Бесполезно. Всякой фантазии есть предел. Мозг устал, и я снова один в комнате. Матери нет. Она погибла четверть века назад, когда мне исполнилось пятнадцать лет.

Я взглянул на стопку чистой бумаги, на заголовок: «Сценарий передачи «Буревестник революции», отложил авторучку в сторону и поднялся из-за стола.

Надел толстый, на подкладке, плащ и вышел на улицу.

Мой город полон людей. Говорят, их здесь полмиллиона. Но я вышел в то время, когда они расходятся по домам и никто не знает, чем сейчас занят каждый из них, о чем думает каждый. В этом их счастье и несчастье, и, право, чтобы никто не знал.

Я остановился, закурил и бросил спичку под ноги. Сторожиха, сидевшая на фанерном ящике возле ворот, сердито приказала:

— Поднимикося спичку! Ушлый какой. Для тебя подметали?

Я засунул руки в карманы и вызывающе посмотрел на бабу. Понизу раскатился глухой гром: из-за колоннады сторожихиных ног взирала слишком серьезная морда дворняги.

— Р-р-р-р!— ответил я.

— Ну, петухи!— осуждающе буркнула баба.

Мне стало смешно. Я поднял спичку и заткнул под днище коробки. Бабка заворошилась.

Ходишь на страх сторожам. Или не спится? Не думай, когда лягешь. Чтоб в голове пусто было. Как лягешь, представь себя со стороны. Будто спишь уже. Мол, лежишь, такой светлый, и сопишь сладенько. И тогда провалишься сам.

— Что это, результат собственного опыта?

— Кабы помогало, не сидела б в сторожах. У меня возраст,— пожаловалась баба.— Жмурю глаза, жмурю, и не выходит. Много мыслей получается. Чем так, думаю, ночкам пропадать зря, пойду в сторожа.

Наши орбиты пересеклись в точке взаимного доверия. Мне стало теплее и совсем не одиноко.

— Спокойной ночи,— сказал я как можно добрее.

— Будь здоров,— ответила она, сидя в своем корабле.

Я еще долго шел по безлюдной улице, и долго мне сияло замирающее зарево с чужой орбиты. Потом я залез в будку автомата. Я набирал номера студийных

телефонов — они отвечали редкими протяжными гудками. Я терпеливо ждал, пока не откликнулся один из них. Этот аппарат стоял в редакции детских передач. Я узнал хриплый голос вахтера. Вахтеры входили в отряд военизированной охраны и нам не подчинялись. Поэтому я сказал очень вежливо, насколько смог:

— На столе у директора мое заявление. Прошу вас, порвите его в клочья.

Вахтер замялся.

— Вам трудно? Руки отсохнут? — спросил я, может, немного грубо.

Вахтер пояснил, что заявление теперь документ и он, вахтер, наоборот, должен сделать все, чтобы этот документ остался в сохранности.

— Тогда я приеду сейчас и разорву сам!

— А я не дам. Не имеете права. Это государственный документ.

— О каком праве речь? Я писал заявление, и я хочу его порвать! Уничтожить! Развеять в пепел! Я, понимаете, я — автор заявления! — заорал я в трубку раздражаясь.

Ну вот и новый скандал.

СТАРИНА ВАДИК

Прежде чем взяться за свое, он осторожно выглянул из комнаты, прислушался к голосам, долетавшим из кухни, и разведка подтвердила его расчеты. Кроме него и матери, все домашние сидели на кухне. Воскресный завтрак прошел давно, но они там увязли в семейном споре, и сейчас им было не до него.

Получив драгоценную фору, он не стал тратить времени даром, стянул пижаму и засунул ее за диван, суетясь, точно на экране, перед матерью. Он подмигнул ей, ее губы медленно растянулись в улыбке. Когда она улыбалась, у нее счастливо сияли глаза.

Она понимала его. Мать следила за его торопливыми сборами через открытую дверь. У нее отказали ноги, и теперь она сидела на балконе, куда ее вывезли в кресле на велосипедном ходу, дышала свежим воздухом и провожала взглядом каждое его движение.

Он открыл шифоньер заранее подобранным ключом и вытащил свой новенький костюм и белую сорочку. От

костюма несло нафталином, а затвердевшим воротом сорочки он, торопясь, оцарапал шею. Он поправил этот проклятый воротник и поискал на полках галстук. Залез в шифоньер с головой, но его собственные галстуки будто растворились в запахе нафталина. Ну что ж, сказал он домашним мысленно, у меня еще есть чувство юмора. И запустил руки в коллекцию Василия. Строя хитрые рожи, он отобрал самый лучший галстук и повязал тонким узлом.

Высунув кончик языка и поглядывая на дверь, он надел пиджак и покрутился перед зеркалом.

— Ты куда?— спросила мать.— На вернисаж?

— Пройдусь по проспекту. Посмотрю что и как,— признался он откровенно: лгать ей не было смысла, она была его союзником.

— На вернисаж. Я так и знала,— согласилась мать с удовлетворением, ей отказывал слух, и она трактовала чужую речь по своему вкусу.

Он поднес палец к губам, призывая ее помолчать, потом выглянул за двери и, ступая на носки, прошел по коридору. Петли двери он еще вчера смазал подсолнечным маслом, они повернулись бесшумно, открыв дорогу к бегству.

И сейчас же в соответствии с законами приключенческого жанра из кухни выбежал его трехлетний внук Саша. Он изображал реактивный истребитель, летящий курсом прямо на беглеца. Пришлось застыть в дверях, покорно ожидая исхода. «Дед, ты куда? На улицу?»— сейчас спросит Саша, и из кухни появятся домашние, и впереди непреклонный Василий.

Но у малыша родились новые навигационные соображения. Он круто повернул в комнату, даровав беглецу еще один благоприятный шанс. И беглец, не мешкая, выскользнул на лестничную площадку.

Сентябрьское солнце еще припекало, и когда он вышел из сумрака подъезда, ему почудилось, будто на улице все побелено: и стены, и асфальт, и деревья.

Он по-хозяйски огляделся и увидел сверстника Колю. Сверстник сидел на самом солнцепеке на скамеечке для ног и, сгорбившись, читал книгу. Он нахлобучил по уши свою вечную кепку, и тень от козырька казалась почти черной. Она закрыла его лицо до подбородка, делая сверстника Колю похожим на мулата.

— Коля, привет!

Бурно радуясь, он хлопнул сверстника по нагревшей-

ся спине. Коля вздрогнул и выпустил книгу, книга сползла на асфальт.

— Здравствуй, Вадим,— ответил Коля, нагибаясь за книгой и одновременно приподнимая кепку для приветствия.

— Что за церемонии?— упрекнул Вадим, ощущая в мышцах избыток силы, ему захотелось хорошенько размяться.

— Это же книга. Лев Николаевич Толстой,— упрекнул Коля в свою очередь и потер обложку рукавом.

— Извини,— сказал Вадим, жадно озираясь, и вдруг заорал, сам не ожидая этого:— Колька, а ну!..

Он ухватил сверстника под мышки, поставил на ноги и начал бороться с ним. Козырек у Коли съехал на темя, и тень, будто после лунного затмения, открыла свету его белое лицо.

— Ты что это? Спятил? Люди вокруг,— засмущался Коля. Он вяло вырывался, пугливо хихикал.

— Ну и что люди?— удивился Вадим, продолжая тискать Колю.

— Неудобно. Возраст уже не тот.

— Фу ты важный какой!— засмеялся Вадим.— А ну-ка держись, почтеннейший! Так тебя, так — и, стараясь растормошить сверстника, оторвал его от земли.

— Сдаюсь, сдаюсь. Отпусти, ради бога,— бормотал покрасневший Коля, суча длинными ногами.— Вся улица смотрит.

Коля не был застенчивым от рождения, и доказательства этого, может, и теперь хранятся в милицейских архивах. Но сейчас присутствие зрителей убивало его волю.

— Ну хотя бы сделай болевой прием. Я не возражаю,— сказал Вадим, едва не умоляя.

— Сейчас же отпусти. Сию минуту,— зашипел партнер.

Он выпустил Колю и пошел по улице, довольный собой. А сверстник, старик этакий, бурчал за спиной, мол, пора уже ему, Вадиму... и оправдывался перед зрителями.

Вадим зашагал к центру города. Его тень весело бежала возле ноги, точно преданная собачка. Когда до главной улицы оставалось квартала два, им овладело лихорадящее возбуждение. Словно он после долгой разлуки возвращался в родные края.

— Ну, ну,— сказал Вадим, еще более будоража себя.

В городе лишь одна улица считалась центральной. Была она намного краше других и даже называлась Красным проспектом. А может, город и нуждался только в одной главной улице. Здесь собрались лучшие магазины и кинотеатры, так для горожан было удобней — все под рукой, все в куче.

А по вечерам и в воскресные дни проспект становился местом гулянья. Тогда по его тротуарам текли две сплошные толпы, переливаясь из конца в конец.

Он не был здесь, кажется, столетие. Такое у него возникло чувство, едва только вышел на угол, где его улица пересекала проспект. Отныне каждой последующей минуте полагалось быть исполненной особого смысла. Для начала он полез во внутренний карман пиджака и достал сигарету, утащенную тайком из запасов Василия. А спички лежали на газовой плите, когда он заглянул на кухню и там никого не было...

Вадим закурил, затягиваясь с наслаждением. Он долго выпускал очередную струю, внимательно наблюдая, как табачный дым постепенно расплывается в воздухе. Его задели плечом, потом ударили по ноге тяжелой твердой сумкой, кто-то произнес всполошенным сопрано:

— Ах, простите.

Потом сказал баритон:

— Ну что, будто столб на дороге?

А он словно был нечувствителен ко всему, словно оглох, только машинально отступил к стене. Его еще не было на проспекте, он пока находился в преддверии.

Докурив, он поискал глазами урну. Она оказалась на противоположном углу. Тогда он перенес окурок через улицу, бросил его и подождал, пока окурок исчез в темном раструбе урны. И сразу его уши наполнил шум проспекта, точно до этого проспект с прохожими и сворой летящих машин отделяло от него толстым звуконепроницаемым стеклом.

Наконец он, трепеща от смутных надежд, пошел по проспекту. Дома расходились перед ним, точно проспект открывал один за другими свои каменные ворота. Он заманивал Вадима дальше и дальше, сам уходя ровным коридором в неизвестное. И он брел в потоке людей, вертел головой, стараясь объять своим взглядом все.

Над его головой шевелилась опаленная еще летним зноем листва деревьев. Было безветрено, и листву шевелил поток, возникший из горячего дыхания людей.

Когда он поравнялся с магазинчиком местных вин, от витрины отделился мужчина со строгим бритым лицом и загородил дорогу. Он официально держал у бедра пухлую канцелярскую папку.

— Т... Третьим бу-удешь?— спросил он, запинаясь и прикрывая в невольных паузах глаза, будто собирался с мыслями.

Вадиму стало смешно и вместе с тем где-то было приятно. Столько шло по улице людей, да из всех выбрали именно его. Видно, он вызвал такое доверие.

— А где второй?— спросил Вадим на всякий случай.

— Есть и второй. Интересный собеседник, между прочим художник-м-маринист,— сказал мужчина деловито и показал через плечо большим пальцем.

Около стены ожидал коренастый человек в пиджаке из серого букле. Он понял, что говорят о нем, и вежливо наклонил коротко остриженную голову.

— Не могу,— сказал Вадим неуверенно.

Ему хотелось выпить с хорошими людьми и поболтать о том о сем. Он заколебался. Это заметил коренастый и не торопясь подошел.

— Во-первых, вы имеете дело с порядочными людьми. И мы предлагаем вам не где-то в подворотне. Заглянем, понимаете, в кафе,— произнес второй рассудительно.

— Нет, не могу,— произнес Вадим и полез в карманы, нашарил четыре монетки, и всего-то.

Он извинился и пошел дальше, досадуя на то, что не смог посудачить в компании с такими вот общительными людьми. Он бы расстроился здорово, да в противовес сожалению в нем сидело другое чувство,— сегодняшний день был еще весь впереди.

Он вышел на угол, где проспект пересекала улица Иванова. В этой точке он в былые времена встречался с Борисом. Они сближались по лучам. Сам он шагал по проспекту, а Борис приходил по улице Иванова. Еще издали он видел большеротую, до ушей улыбку Бориса, черные блестящие угольки его глаз. В такую пору закадычный друг приходил в белоснежной сорочке, еще пахнувшей утюгом. Его кожа хранила холод водопроводной воды, влажные черные волосы — ровный след расчески. После работы Борис любил поспать часок-полтора и потому смотрелся точно новенький. Сойдясь, они размашисто били по рукам, и Борис говорил что-нибудь в этаком роде:

— Ну что, старичок? Сегодня танго в Доме учителя?

— Информация принята,— отвечал Вадим в таком случае.

Некоторое время они еще куролесили здесь же на углу, точно им тут было особо уютно, потом пускались в путь по проспекту, обживая каждый метр, потому что их то и дело останавливали знакомые или они сами останавливались. Так они продвигались долго и блаженно, и дорога эта казалась такой увлекательной, что уж вроде бы ничего увлекательней не могло и быть. Но вот среди прохожих проплывало прекрасное лицо, все ранее происходившее становилось менее значительным.

— Вадик!— восклицал Борис отчаянно, и они затевали погоню.

— Вадик, это Она, с большой буквы! Это ее мы ждали целую жизнь,— бормотал Борис.

А Она, каким-то десятым чутьем обнаружив погоню, панически семенила впереди, взглядом моля дома, деревья и прохожих о пощаде. Отдышавшись, Борис начинал за ее спиной плести роковую сеть. Нес он обычную чепуху, но у него все эти банальные штучки типа «девушка, девушка, какой теплый день» обретали свежую окраску, что ли. Или он внушал интуитивное доверие, или еще черт знает что. Девушка сбавляла шаг и теперь поглядывала назад, будто отыскивая кого-то. И было ей еще невдомек, что на самом деле это она выбрасывала белый флаг, признаваясь в полной капитуляции.

— Я где-то вас видел?— восклицал Борис, поравнявшись с девушкой.

— Может, на озере Рица?— наивно помогала девушка.

— О, озеро Рица! Роскошная флора! Ходили вы на Лаго-Наки?— горячо вопрошал Борис.

Нет, ей не приходилось, к сожалению. До сих пор ее возили на известные курорты, туда, где белые здания, пальмы или хотя бы голубые ели на худой конец.

— Жаль,— твердо говорил Борис,— Лаго-Наки — славное местечко.

Проводив ее до дома, они начинали прощаться. Вернее, прощался Борис, а Вадим только невольно повторял за ним то же самое.

— Ну, счастливенько,— как-то вдруг равнодушно говорил Борис.

Девушка дивилась такому обороту и ждала еще чего-то. Вадим дивился тоже и тихонько толкал Бориса в

бок, надеясь напомнить кое-что. Но физиономия друга становилась непроницаемой.

Потом, когда они возвращались на проспект, Вадим спрашивал:

— Что же ты, олух царя небесного? Надо было назначить свиданку. Я уж тебя толкал, толкал.

— Зачем? Банальная девица, мещаночка серая. Не знать о Лаго-Наки — это ужасно!— отвечал Борис, морщась.

И они отправлялись на танцы...

Уже давно Борис не приходит сюда, он знал это точно. Но выждал пятнадцать минут, положенные по этикету, и пошагал на поиски приключений в одиночку.

Он вышел к старинным каштанам. Их раскидистая крона накрывала собой половину квартала. В дебрях этого зеленого полога расселилось воробьиное государство. С утра до темноты листва пронзительно звенела и шевелилась даже в безветренные дни. Сверху из листвы на голову прохожих белым дождем сыпался птичий помет, и прохожие обходили старинные каштаны стороной, отдав эту часть проспекта в полное владение птицам.

Но городские власти не могли смириться с тем, что у них отторгли кусок подведомственной территории. Сколько помнит Вадим, они вели суровую борьбу с маленькими оккупантами. И сейчас из-под кроны с паническим ревом удирала пожарная машина, окрашенная птицами под бронетранспортер.

Вадим примкнул к зевакам, что окружили деревья подковой, и посмотрел наверх. Там отряхивались мокрые, взъерошенные и оттого кажущиеся тощими воробьи. Они возбужденно галдели, будто обсуждали перипетии минувшего боя.

— Когда те ударили из кишки, эти поначалу прижухли,— сказал кто-то из очевидцев.

— Ясно,— произнес сосед Вадима и, поджав губы, окинул внимательным взглядом общую картину; он был высок, дороден, с глубокой складкой на переносице, делавшей его очень строгим.

— Ага, а когда эти решили, что тем конец, и выключили воду, тут и началось,— сказал сосед задумчиво, сопровождая свои рассуждения жестами.

— Сперва их пугали ястребом. Во-он чучело ястреба. Вот оно. А внизу поставили магнитофон и ну гонять его крик. А птичкам хоть бы хны,— с восторгом сообщил все тот же очевидец, скрытый от Вадима спинами зевак.

— Понимаете?— спросил у Вадима сосед, загадочно улыбаясь.

— Что именно?

— Воробьи — городские жители. Го-род-ские!

— Разумеется,— сказал Вадим приветливо.

— Все еще не понимаете?— спросил сосед, радуясь этому.— Так вот, они не знают, кто и что такое ястреб. И с чем его едят. Ни малейшего представления! Поэтому им на ястреба ровным счетом наплевать.

Он смотрел на Вадима улыбаясь, словно говоря: видите, как это оригинально и вместе с тем просто.

— Ну, конечно. Откуда им знать,— согласился Вадим охотно.

И как-то получилось так, что они далее пошли вместе. Спутник вызывал у него почтение, он был польщен и, шагая рядом, чувствовал себя как ученик, отмеченный частным доверием учителя.

— Так вот, надо сказать: в каждом из нас что-то заложено,— говорил собеседник, доверительно беря Вадима за локоть.— Или инстинкт, или вечное стремление. И тут мы должны контролировать... Себя!.. Ежеминутно! Вы согласны со мной?

Он снял шляпу и на ходу раскланялся с кем-то.

— Что вы скажете?— спросил он, надевая шляпу.

— Может быть, это и так,— уклонился, робея Вадим,— я об этом не думал. Видите, я просто живу. Живу, наверное, естественно.

— Нет! Нет! Только не так!— запротестовал собеседник, бурно замахал руками и добавил с горькой иронией:— Знаем мы это: «Живет, как поет птица или растет трава».

— Да нет же. Я, возможно, не так объяснил,— сказал Вадим, конфузясь.— Это не совсем биологически. Это по-человечески... Ну, как бы сказать в одном слове... Это непринужденно, что ли...

Но спутник вдруг засмеялся ни к месту и встал посреди тротуара.

— Кого я вижу!— воскликнул он и загородил дорогу встречной женщине.

— Ба, сколько лет... зим,— сказала женщина, улыбаясь только губами.

Вадим отошел деликатно в сторону, не зная, ждать или самому следовать дальше. Но было вроде неудобно уйти, не попрощавшись. А спутник болтал со знакомой, забыв о его существовании. Он стоял спиной к Вадиму, и

Вадим смотрел, как шея спутника временами наливалась кровью. Кровь потом отходила, и шея принимала свой обычный цвет. Будто кровь собеседника подгоняли в сосудах по уровням.

Лета его знакомой были умело спрятаны под слоем великолепной косметики. Свежая бледно-розовая кожа туго обтягивала ее узкое лицо, овалы скул ее еще были нежны, а полные губы достаточно чувственны, и под приподнятой верхней губой белели крепкие зубы. И красиво уложенная прическа чернела до синевы. Но глаза ее молчали, затаив страх позднего возраста. И Вадиму казалось, что вот-вот ему откроется какая-то ее личная тайна. Но женщина еще сама не подозревала о существовании своей довольно грустной тайны. И считая, что глаза ее до сих пор блестящи и маняще дерзки, исподтишка пускала в Вадима изучающий взгляд. А он, стоящий у порога ее тайны, неожиданно поймал себя на стремлении приосаниться, подобрать живот и вообще, черт возьми, казаться бравым мужчиной. Спина его неестественно напряглась, а плечи он расправить не успел, и было очень неудобно в такой неуклюжей позе.

Спутник Вадима выставил кренделем локоть, женщина, поколебавшись, взяла его под руку, и они ушли, даже не обернувшись.

— До свидания!— сказал Вадим шепотом им обоим вслед.

Он отряхнулся от чар, стал опять самим собой. У него не так-то много оставалось времени, поэтому он заспешил, засуетился, побежал по проспекту, натыкаясь на прохожих. У него зарябило в глазах оттого, что он то и дело вертел головой. Как будто кого-то искал.

По дороге ему попадались группы парней, стоявших вдоль стен или по краям тротуара в непринужденных позах. Заглядевшись, он врезался в одну из них, прошил ее насквозь, наступая на ноги. Ребята, косматые под битлзов, расступились, и кто-то крикнул насмешливо вдогонку:

— Алле, разобьете глаза! Осторожней!

Он высмотрел тройку ребят и пристроился по соседству. Ребята сидели рядышком на металлических перилах, разделявших тротуар и улицу, и шутили наперебой. Может быть, у них не всегда удачно это выходило, но зато уж смеялись они с аппетитом, до слез. Кто-то из них еще говорил, а другие были готовы взорваться хохотом. И глаза их заранее сходились в щелки.

Вадим долго подыскивал повод и наконец попросил закурить. Тот, что сидел поближе, протянул пачку «Шипки», не очень-то отвлекаясь при этом. Только скользнул взглядом слегка и, едва Вадим прихватил сигарету, отвернулся опять. У него был сломанный нос боксера, глаза сидели глубоко в темноте и весело поблескивали оттуда, из-под могучих крутых надбровий.

Тогда Вадим схитрил, зажал сигарету зубами и демонстративно начал хлопать себя по карманам.

— Нос, обеспечь человека огнем,— сказал парень с яркой асимметрией лица, отчего его улыбка казалась иронической; он сидел, этот ироничный тип, как уж прозвал его мысленно Вадим, третьим по счету.

Нос протянул зажигалку, даже не оглянувшись на этот раз. Но Вадим решил не отступать. Он прикинулся, будто в зажигалке заело, покрутил вхолостую колесико и повел недоуменно головой, стараясь вновь привлечь к себе внимание.

— Нос, помоги человеку,— сказал иронический тип, ухмыляясь.

Нос терпеливо взял зажигалку, высек огонь и поднес к сигарете Вадима, потом артистично щелкнул крышкой и убрал зажигалку в карман.

— Вот так-то,— сказал он, сверкая зубами.

— Ну-с, что тут новенького?— спросил Вадим, выпустив первое облако дыма.

— Смотря что. Кое-что из новенького уже состарилось,— добродушно ответил сидевший в середине верзила с длинным узким лицом, как бы продолжавшим шею, и большими круглыми ушами, которые он направлял то в одном, то в другом направлении, словно дежурил по воздуху.

Вадим сделал вид, будто шутка получилась в меру тонкой, и одобрительно кивнул.

— Вышел. Думаю, дай-ка пройдусь,— объяснил он свое появление.

— Занятие полезное. На улице кислород,— заметил тот, у которого улыбка казалась кривой, и хорошо, что Вадим уже знал про его асимметрию, не то принял бы за обидное.

— Да... мы и незнакомы. До сих пор,— виновато сказал Вадим и представился:— Вадим... Словом, Вадик.

— Очень приятно... Николай,— назвался парень с перебитым носом.

— Михаил,— произнес второй.
— Ипполит! Ипполит в самом деле,— произнес иронический тип.
Вадим поочередно пожал три руки, вскарабкался на перила и спросил:
— Ну, что делать будем?
Его новые друзья переглянулись, Николай сполз с перил и сказал, неловко переминаясь:
— Лично нам по домам. Мы еще маленькие. Мамы сердиться станут.
И как только он это произнес, слезли с перил и остальные двое.
— Строгие мамы. Что же они это?— спросил сочувственно Вадим.
— Старомодные,— ответил за всех Ипполит и развел руками.
— До свидания, Вадик,— попрощался Михаил.
— Вадик, до свидания,— добавил Николай.
— Прощай, старина Вадик,— добавил Ипполит.
— До свидания, ребята,— с добрым чувством сказал Вадим.
Они ушли, переговариваясь, а он погрустил минутку. «Какая распалась компания, так уж все складывалось хорошо»,— сказал он себе огорченно.
Он не заметил, как достиг конца проспекта. Проспект упирался в ворота городской больницы. У ворот сидел смуглый старик в железнодорожной гимнастерке с тусклыми пуговицами. Его голову покрывал густой серебристый ежик. Старик опирался на высокую корявую клюку и вместе с клюкой отбрасывал черную тень, словно чугунный памятник.
Солнце выбралось в зенит и оттуда жалило в темя. Вадим машинально прикрыл ладонью макушку и осмотрелся по сторонам. Тут было безлюдно, пустынно. Он да старик — вот и все живое.
— Торопись, браток,— сказал старик и требовательно постучал клюкой,— скоро обед, и тады не пускаем.
Он качнулся на своем табурете и открыл вид на веселенькую аллею из ракушечника. Аллея резвилась между широкими стволами белой акации, уходила к желтым корпусам лечебницы.
— Спасибо, спасибо,— ответил Вадим, щурясь на солнце.
— А потом тихий час еще, и опять не пускаем,— добавил старик.

— Его смуглое лицо резко контрастировало с белым ежиком. Старик походил на негатив.

— Спасибо, спасибо,— повторил Вадим.— У меня там, слава богу, никого нет. Мои, слава богу, все здоровы.

Теперь он пристально всматривался в стекло телефонной будки. Это ему только показалось, будто они здесь вдвоем. На самом деле их было трое. В будке стояла белокурая девушка. Стеклянные стены играли на солнце, и оттого он не заметил девушку вначале. А потом она точно материализовалась на его глазах из сверкающего нечто.

Из-за того же колдовского стекла она и сейчас временами растворялась и возникала вновь, светящаяся и зыбкая.

Девушка увидела его, состроила жалобную гримасу и подняла пальчик — просила минуту на разговор.

— Пожалуйста, пожалуйста. Мне телефон ни к чему,— заторопился Вадим, ткнул себя в грудь и энергично замахал руками.

Девушка приникла к телефонной трубке, ее губы шевелились беззвучно, будто она была в аквариуме.

Предчувствие подтолкнуло его, он опустил глаза к подножию будки, увидел сложенный веер из желтой пластмассы. Он нагнулся с неожиданной для себя прытью и поднял дамскую безделицу. Веер разошелся в его руках с электрическим треском, составил из планок японский пейзаж. Что-то в этой вещице тронуло сердце Вадима. Вероятно, простодушный вкус ее обладательницы.

Он показал веер девушке: что же ты, мол, раззява этакая, и обмахнулся, изображая негу. Но девушка смотрела через него, слушала, что ей там говорят с другого конца провода, временами она точно просыпалась, хихикала, кричала: «Только подумать!.. Скажите, пожалуйста!» Наконец, она повесила трубку. Еще некоторое время она торчала в этом прозрачном ящике, приходя в себя, потом открыла дверцу и выпорхнула вон, бледная от счастья.

Наяву она оказалась невзрачной, с коротким носом и редкими ресничками.

— Пожалуйста,— произнес Вадим и, лучась желанием обрадовать ее, протянул сложенный веер.

Девушка посмотрела на веер, ничего не понимая.

— Веер,— подсказал Вадим, смеясь над ее затянувшимся возвращением в реальный мир.

— Веер?— спросила она и вдруг сказала неожиданно хрипло:— Ну вот что, оставьте его жене, папаша,— и направилась прочь, высоко задрав остренький подбородок.

— Но позвольте! Это... это же веер! Ваш веер!— крикнул он вслед.

Его растерянность смягчила сердитую девушку, она обернулась и произнесла с укором:

— Зачем вы так говорите? Этот веер не мой. И вообще их давно не носят.

«В самом деле, глупая башка, не носят в самом деле,— спохватился Вадим.— Веера давно не в моде. Моя покойница Нина и та ходила с веером лет двадцать назад»...

Вдруг он осознал, как превратно истолкован девушкой его поступок, и ужаснулся. Надо было остановить ее и сказать ей: «Девочка, я гожусь тебе в отцы».

Но девушка повернула за угол, обиженный стук ее каблучков затихал, а он теперь не мог побежать за ней.

Он побрел назад пришибленно, к центру города и остановился напротив первой витрины. Посмотрел на свое отражение, стараясь увидеть себя глазами девушки. Голый череп с жалкой бахромой седых волос. Сетка морщин, густо обложившая глаза. Мягкие покатые плечи и выпуклое брюшко, которое сын Василий прозвал «морской грудью». И в довершение всего ему неожиданно вспомнилось знакомство с ребятами, и как он назвался Вадиком в свои-то лета. Теперь он понял, почему они ушли, будто ни с того ни с сего. Им было за него неловко.

Он пересек проспект и на ближайшей остановке сел в троллейбус.

Машина катила по узкой зеленой улице. Вадим безучастно смотрел перед собой и только однажды покосился в окно. Троллейбус пересекал улицу Иванова, на которой жил Борис. Теперь старый друг отлеживался в постели после второго инфаркта.

А сверстник Коля все еще посиживал возле подъезда, подремывал на скамеечке, скрипел зубами от наслаждения, и книжечка его по-прежнему лежала на коленях. Заметив Вадима, он очнулся и, прихватив книжечку, попробовал улизнуть.

— Сиди себе, сиди. Не буду,— сказал ему Вадим, проходя в подъезд, и махнул рукой, порывая с чем-то неизвестным Коле.

И все же Коля встревожился за него и пояснил на всякий случай:

— Я-то не против. Вот народ вокруг. Вроде как бы неудобно на глазах, если бы где-нибудь на пустыре, скажем...

Но Вадим уже ступал по лестнице. Он поднялся к себе на этаж и придавил кнопку звонка. Звонок загудел глухо и басовито, уходя в глубь квартиры. Потом торопливо зашлепали стоптанные тапочки снохи, и она открыла дверь.

— Явился, слава господи. А мы уж тут обегали все. Хотели звонить в милицию. Может, случилось что,— упрекнула сноха, пропуская его в прихожую.

Он снял пиджак и повесил его на вешалку среди плащей. Сноха не отходила от него, продолжая ворчать себе под нос:

— После болезни и гулять. Тоже мне, молодой человек.

— Чего там,— пробормотал он, стараясь не смотреть ей в глаза.

Из комнаты выбежал внук Саша и закричал пронзительно:

— Ура! Дедушка нашелся. Нашелся дедушка!

Из ванной вышел Василий с учебником грамматики в руках.

Он строго поправил очки на переносице и заявил почти официально:

— Ну, вот что, отец, мы решили. Поедешь в кисловодский санаторий. Годы, отец, годы. Пора отдохнуть.

Вадим поспешно кивнул. Они смотрели на него во все глаза. А он, избегая их взглядов, бочком продвинулся вдоль стены и нырнул в комнату матери. Мать уже перекочевала на диван. Она одобрительно смотрела на него, убежденная в том, что он не шлялся где-нибудь по пустякам, а был на вернисаже.

— Мама...— попросил он, приближаясь.

— Ничего, сынок, ничего,— сказала она и ласково погладила по голове.

КАРУСЕЛЬ

Закончив завтрак, Профессор поставил на стол чашку из-под выпитого чая и, как бы между прочим, сказал жене:

— Ну, пора на работу. Дай мне троячок, что ли.

Он старался придать своему голосу небрежность, будто упомянул вскользь о чем-то само собой разумеющемся и незначительном, проходящем между ними каждый день. Профессор норовил отвлечь бдительность жены, чтобы она и подумать не успела, на что нужны ему три рубля. Для этого он быстро сказал:

— Как там Сережа и Оля? Сошлись? Или все еще врозь?

По идее, мысли жены должны были сбиться в другое русло, а трояк механически перейти из ее сумки в его карман.

Тело Профессора по привычке напряглось под просторным поношенным пиджаком, каждая клеточка стала ухом и застыла в ожидании ответа. Но веры в успех не было. Уж слишком хорошо он знал жену, а она давно изучила его повадки.

Морщинистое лицо жены превратилось в холодный гранит, она положила вилку на стол и пронзительно вытянула палец в сторону буфета.

— Ты видишь эту сумку?— и острый, словно заточенный, палец указал на лежавшую на буфете дамскую сумку из красной искусственной кожи.

— Ну, вижу,— осторожно ответил Профессор.

— Так вот, отсюда ты не получишь ни копейки!

— А откуда?— спросил он, стараясь спасти свою затею с помощью простодушной наивности.

Жена полезла в кармашек сатинового фартука и достала нечто, похожее на кошелек. В сердце у Профессора неуверенно шевельнулась надежда. Он слабо протянул руку.

— У меня ты ниоткуда не получишь. Так и знай,— сказала она, потрясая коленкоровым предметом перед его носом.

Он горько расхохотался над собой в уме. Ну, разумеется, это был ее блокнот, гроссбух для семейных расчетов.

— Впрочем, ты это знаешь сам. Но если тебе мало, я не поленюсь, повторю и в сотый раз; я не позволю швырять деньги на ветер!— отчеканила она, поднимаясь.

Ее руки со вздувшимися венами по-борцовски топорщились по бокам сухого тела, преградившего подступы к сумке. Губы сжались в полоску, а зрачки превратились в бойницы. Она изображала неприступную крепость, а он за всю жизнь ее пальцем не тронул.

«Значит, ты уже так? Эх, Катя, Катя»,— с горечью подумал Профессор.

— Вот,— сказала она, листая блокнот,— за свет... за квартиру... на лекарство для мамы... и Петькины штаны. Да что с тобой говорить? Я уж молчу об обедах, которые тебе подавай каждый день.

Он даже прикрыл глаза, жена ударила его в незащищенное больное место. «Зачем ты об этом?— мысленно простонал Профессор.— Ведь когда придет то, что я жду, у Петьки будет десять штанов, а если надо, пятнадцать!»

— Это все, что осталось от твоей зарплаты,— сообщила жена и, вытянув из сумки тонкую пачку денег, пролистнула ее мигом. Она когда-то работала кассиром в сберкассе и потому проделала это почти мгновенно, он только услышал шорох упругой и жесткой гербовой бумаги.

— Забирай, палач! Грабь семью,— сказала жена.

Но это были слова, слова. Протяни он все-таки руку, она в один момент отдернет кошелек.

Так и вышло. Он сделал попытку, рассчитывая на авось, и протянул ладони, но кошелек юркнул в карман передника.

— Чтобы ты кобылам под хвост? Почти в прямом смысле?

Катя была неглупой бабой, умело выкручивала семейное хозяйство, если с зарплатой получался завал, и он сильно уважал ее за это. Но тут-то она крупно ошибалась, когда утверждала, будто он швыряет деньги кобылам под хвост. А он твердо верил в то, что когда-нибудь приедет домой на такси и войдет в дверь, потрясая толстыми пачками новеньких сотенных бумаг, которые будут трещать, словно их зарядили электричеством. И после этого у них начнется новая жизнь! Катю он снимет с работы,— пусть сидит дома и занимается своим любимым делом: стирает, готовит обед. Сыну он купит транзистор — пусть тоже знает: его папка не хуже остальных отцов. Самому же ему ничего не нужно. Ему бы только сидеть по вечерам за телевизором, не думая, где взять рубль-другой на очередной беговой день. Не думая, потому что тогда он и носа не сунет на ипподром. Пропади они пропадом, эти лошади, хотя и говорят, будто красивей их на свете животных не сыскать. Если это и так, пусть любуются на них без него... Только нужно набраться терпения. Удача — осторожный зверь. Правда, иногда

она чудила, поддавалась людям случайным, как это было два года назад. Тогда четыре бабуси, бог знает, каким ветром занесенные на ипподром, сложились по двадцать пять копеек, поставили по неведению на темных лошадей и, на тебе, загребли три тысячи рублей да еще с мелочью. Его-то удача пока обходит стороной, но он будет ждать ее в засаде, пока не придет его день. А он обязательно придет! Он грянет!

Катиной мысли не хватало полета. Знать, бабы и вправду ограниченный люд. В шахматы хуже играют. Он не однажды пытался растолковать жене про удачу, объясняя и так, и этак, и каждый раз будто упирался в бетонную стенку.

По заморгавшим глазам жены он понял, что она сейчас заплачет, и, жалея ее, сказал:

— Ну, ну. Не надо. Я больше туда не пойду. Клянусь!

— Да ну тебя!— отмахнулась жена и, спрятав блокнот в карман, занялась уборкой.

Профессор, довольный тем, что обошлось без слез и его вроде бы освободили от клятвы, вышел в коридор и посмотрел на ряды соседских дверей. Они уходили в полумрак, туда, где узкий коридор упирался в туалетную комнату. Тесно было в квартире от жильцов, а попросить взаймы не у кого было. Не дадут! Он уже давно потерял доверие у соседей. Да и Катя небось провела с ними работу.

Из кухни появилась врачиха Фогельсон, и он решил все же не отказываться от подвернувшегося случая. Если человек проходит мимо, отчего его не спросить. На то и дадена способность к речи.

Фогельсон держала за края дымящуюся миску с вареным картофелем и одним глазом смотрела под ноги, прокладывая маршрут среди соседского барахла, составленного вдоль стен. Как раз, когда она переступала через лыжи, он ее остановил знаками и шепнул, озираясь на дверь:

— Жена просила три рубля. Ступай, говорит, к Соломоновне. Попроси взаймы. Петьке надо б на туфли. А трех рублей не хватает. Всего только трех. Я скоро отдам. А, Соломоновна? Совсем обносился парень. Скоро уж будет жених. Ростом теперь с телеграфный столб, на такого разве напасешься?— добавил он, стараясь заманить самую строгую соседку в круг своих домашних забот.

Но врачиха — ух, острая баба,— прослушала его с серьезным вниманием и , бровью не поведя, сказала предательски громко:

— Хорошо, я занесу вашей жене.

Повернулась и посеменила дальше к себе в комнату, Он сделал вслед несколько нерешительных шагов и обескураженно остановился.

Из ванной в это время появился сын Петька и пошел навстречу, задевая дверные косяки широкими, но еще худыми и угловатыми плечами. На шее его висело банное полотенце. Он держал рот в улыбке, чтобы лучше было видно его ровные зубы, только что отдраенные добела.

— Батя, зачем суета?— спросил он, приближаясь.— Опять заело с монетой? Компрессор что ли не подает?

— Точно, такая история,— подтвердил Профессор, стараясь придать своему голосу оттенок легкости.— Дай-ка мне, пожалуй, пятак на троллейбусишко. Совсем издержался отец.

— Ладно, вот тебе сорок. Мамка дала на буфет,— сказал Петька.

— Ну, это ты брось, брат-сын. Голодным нельзя,— возразил Профессор, все же протягивая руку.

— Как-нибудь обойдусь. Я здоровый, брат-отец,— сказал Петька с деланной бодростью.

Он вытащил из кармана серебряную мелочь, две двугривенные монетки, и, отдавая, коснулся влажной ладонью руки отца. Глаза сына притухли от сострадания.

— Теперь твой папка — миллионер!— произнес Профессор, стараясь перевести происшедшее в область простых идиллистических отношений.

Он даже подмигнул и тут же отвел глаза. Смотреть на Петьку подольше у него не хватило силы.

— Пуще Рокфеллера!— в тон ему сказал Петька неловким голосом, а вид у него был такой, будто они оба что-то украли.

Вот с этим капиталом в сорок копеек он и дожидался пяти часов. Кое-что можно было предпринять и на эту ничтожную сумму. Скажем, купить входной билет за двадцать, на самую дешевую трибуну, а с остатком войти к кому-нибудь в долю. Но Удачу не возьмешь при такой игре. И он старался сделать что-нибудь еще, обошел весь лабораторный народ, и оказалось, без пользы. Наступил канун получки, и те, кто ему еще занимали, сами начинали сводить концы с концами. А может, это

было отговоркой, им он тоже осточертел. Словом, у него и здесь не вышло ничего.

Тогда он подумал о новом научном работнике. Этот молодой человек всегда носил аккуратненький галстук и тем самым производил впечатление материально обеспеченного человека. Профессор положил на стол напильник, которым доводил втулку «до ума», вымыл под краном руки и пошел к новому ученому, прихватив на всякий случай чертеж этой самой втулки. А по дороге напустил на себя озабоченный вид, будто ему что-то стало неясно.

Новый научный работник стоял перед стендом в окружении аспирантов и, наверное, учил их уму-разуму. Услышав, как скрипнула дверь, он повернул свою озабоченную голову и спросил:

— Вы ко мне?

— Я потом, потом,— ответил Профессор и закрыл за собой дверь.

Он совершил еще два захода, но каждый раз с научным работником говорили люди.

— У вас что, товарищ?— спрашивал у Профессора научный работник.

И ему приходилось, буркнув «я потом, потом», отступать назад, в коридор. И все же он в конце концов заинтриговал человека, и тот явился в мастерскую сам.

— Так что у вас, товарищ?— спросил научный работник, дотошный специалист.

— Мне бы денег взаймы. Сколько можно. Хотя бы рубль,— буркнул Профессор, краснея.

— Что?— переспросил ученый, прямо так и рухнув вниз из своих заоблачных умственных сфер.— Вы о деньгах?

— Мне хотя бы рублик,— повторил настойчиво Профессор.

Научный работник суетливо полез в карманы и вытащил два рубля. Рубли были измяты и уже мягки как тряпье, но это только лишний раз подтвердило их нужность людям. Профессор взял деньги и сунул в карман. Пока не опомнился человек.

— Только и всего. Жена дала на сигареты. На то, на се,— сказал, оправдываясь, сбитый с толку научный работник.

— Ну, я, как железо! В зарплату верну,— горячо пообещал Профессор.

А из угла мастерской на него уже выразительно смо-

трел один известный любитель выпить. Его так и прозвали Горынычем, потому что при каждом выдохе из его большого губастого рта вырывался огнеопасный пар. Чуткий глаз пьяницы засек эту маленькую денежную операцию, и Горыныч намекающе, прямо при научном работнике, подмигнул, проклятый.

Научный работник все еще топтался в мастерской.

— Может, что-нибудь еще?— спросил он, стараясь выйти из дурацкого положения.

— Да нет, это все,— ответил Профессор, готовый даже запеть.

Теперь оставалось одно: пораньше уйти, потолкаться возле конюшен, подслушать последние новости. Если пошевелишь ушами, узнаешь ценные тонкости насчет здоровья лошади, записанной в заезд. Про аппетит ее и сон. Конюхи народ прижимистый, но помоги ему прикурить сигаретку, понравишься, и тебе сделают скрытый намек. Между всякой болтовней о том о сем, невзначай как будто. Наездник, дескать, такой-то пришел небритым — значит, ехать горазд.

Он снова вышел в коридор, стал выглядывать заведующего лабораторией и, когда тот выбежал из кабинета, попридержал на минутку его.

— Ну, а что теперь?— спросил глуховатый завлаб, он сделал ладонями раковинку и поднял к уху ее, как раструб.

— Живот свело. Болит,— сказал Профессор и что-то в голосе у него не вышло опять.

Этот начальник был точно заколдован. Уж столько раз он пробовал его провести, но тот словно читал мысли. Так и сейчас в глазах завлаба появилась усмешка.

— И нога?— спросил он будто бы с участием.

— Тоже тянет,— сказал Профессор, не сумев остановиться,

Горыныч тоже оказался в коридоре, вытянул шею издалека, стараясь подслушать.

— И поясница?— добивался завлаб своего.

— Ломит,— произнес Профессор, точно падал в пропасть.

— Ну, это было раньше, минуту назад. А сейчас? Прошло?

— Прошло,— вынужденно признался Профессор.

— Ну и слава богу!— обрадовался завлаб.— Значит, можно надеяться? Подгоните втулку. Из-за такой мелочишки нужная аппаратура стоит! И вообще с ваши-

ми-то руками... Эх, да что говорить,— и, не досказав, пошел по своим делам. Старый образованный человек, как ему только не стыдно!

Едва закончился рабочий день, Горыныч был тут как тут, не дал уйти, загородил дорогу.

— Ну как? На троих? Есть приличная подворотня. Даже ни одной собаки. Глухомань,— сказал он, ядовито дохнув в лицо, а за ним столбом торчал детина из гаража.

Но мужчины промахнулись. Не для того он боролся за эти два рубля, терпел перед научным работником стыд.

— Спасибо за любезное приглашение, но у меня еще много дел разных,— ответил Профессор, стараясь выглядеть озабоченным.

— На конские соревнования что ли?— зло спросил Горыныч и сразу перестал казаться этаким радушным товарищем.

— Да вовсе нет,— уклончиво ответил Профессор.— У жениной сестры, у Дины, замок, понимаешь, барахлит. Вот и схожу, поправлю замок.

Раньше он открыто играл на бегах, но это сделало его посмешищем у всего лабораторного люда. Даже такие ничтожества, как Горыныч, и те глумливо говаривали порой: «Ну что? Кормим лошадок?» Лично он-то, Профессор, просаживает зарплату ради Удачи, а этот...

В семнадцать часов Профессор вышел на улицу и зашагал, уставясь взглядом в землю, на остановку троллейбуса. Эта манера ходить повелась у него с того дня детства, когда он нашел средь булыжника монетку в пятнадцать копеек. Как это произошло, он не помнит, может быть, судьба заставила его споткнуться на том самом месте, где она лежала. Но до сих пор в памяти жив тусклый серебристый блеск Орла и Решки. Это была удача, только еще маленькая и незрелая, как и он сам. Это была Удача-ребенок.

Еще не веря в нее, он долго не решался подойти к женщине в белом халате, торговавшей конфетами. Перед женщиной стоял лоток на тонких, словно спичечных, ножках, набитый разноцветными яркими леденцами. Наконец он поверил Удаче и протянул монетку. Продавщица взяла ее и, не поведя даже бровью, выдала взамен прекрасный леденец — зеленого петуха на палочке. Петух был прозрачен, будто его отлили из бутылочного стекла. Липкий и очень вкусный.

С тех пор Профессор всегда смотрел в землю, цепко шарил взглядом под ногами, молниеносно прикидывая значимость каждой бумажки. Он, может, оттого и стал сутулым, что ходил уставив в землю глаза.

Но земля велика, и обойти ее всю было не под силу. И он в те юные годы приходил в отчаяние от своей беспомощности. Теперь же Профессор точно знал, где прописалась Удача, где ее логово, черт побери. Однако привычка сохранилась навсегда, и мальчишки с ближайших улиц, завидев его, кричали:

— Геолог идет! Геолог!..

Небо подернулось тучами, но в воздухе было светло, точно при электросварке. И асфальт выглядел белым. Профессор знал каждую трещину на пути между лабораторией и троллейбусной остановкой, и дорога поэтому теперь представлялась неимоверно длинной. Было ощущение, словно он идет от вехи к вехе, и от этого время текло еще медленнее. Ему просто не было конца.

Троллейбус где-то задерживался, и Профессор начал нервничать, боясь пропустить первый заезд. Народ, накопившись в ожидании, зароптал тоже. Но всегда находятся вредные люди, которых даже хлебом не корми, дай только выступить против коллектива.

— А куда вам спешить? Еще успеете напиться и попасть в вытрезвитель. Отдохнули бы,— сказала тетка со злым принципиальным лицом.

Профессор увидел в ее руке сетку с картофелем, свисавшим тяжелой гроздью, и, прицелившись в слабое место на бабьем сердце, сказал:

— Ну и паршивый картофель! Горох! Не могла уж выбрать получше? Хозяйка!

И противница коллектива была сметена единым махом, она хватала воздух ртом, да краснела, и сказать в ответ ничего не могла, потому что в самом деле где-то на белом свете, а может и здесь же, в городе, существовал картофель крупнее, чем у нее.

В троллейбусе Профессор забился в угол на задней площадке и начал строить сегодняшний план, который бы помог поймать Удачу.

Собственно говоря, это был один давно задуманный и немудреный план, годный на каждый игровой день. Надо было дождаться, когда в смежных заездах выиграют две самые слабые лошади ипподрома, и в этот раз поставить на них билет. Вот тогда Удача и свалится прямо с неба.

Он стал перебирать в памяти самых слабых лошадей и опять остановился на том, что хуже Лебедки клячи не сыщешь. Разве что ей под стать Компостер. И лучшей пары, чем Компостер, для Лебедки не подобрать. Такой пары, наверное, еще не было за всю историю ипподрома. И приди Лебедка и Компостер первыми в своих заездах, случись такое двойное чудо, на электронном табло объявят сказочный выигрыш, какого еще не знал тотализатор. Другим такой не привезти. Это были самые безнадежные лошади, горе одно. И нет на ипподромных трибунах руки, которая осмелится поставить на черепах в лошадином обличии. Это может сделать только он, Профессор.

Комбинацию Лебедка — Компостер он вынашивал давным-давно, бережно хранил, как теплого и хрупкого птенца за пазухой. Но ему еще не хватало третьего чуда. То есть если говорить о времени, первым должно состояться третье чудо. Именно оно должно свести Компостера и Лебедку в соседние заезды, устроить такое случайное совпадение.

У входа на бега он купил билет и программку. Задержался немного перед дверью с билетерами, точно актер перед выходом на сцену. Одернул рукава, достал из кармана расческу и поправил жидкий венчик волос, окружавших лысую голову. Миновав контроль, он услышал чей-то молодой насмешливый возглас: «А вот и Профессор! Ну, ребята, держись! Сегодня он заберет всю кассу!» Когда-то, впервые узнав о своем прозвище, он решил, что причиной тому его работа,— коль трудишься в НИИ, значит, ты профессор. И подивился людской наивности. Но вскоре понял, что обидчики имели в виду его неудачную игру, и был возмущен. Но потом свыкся с кличкой. Вдобавок новички принимали его всерьез, думали, что он тонкий знаток на самом деле. И охотно шли в компаньоны, когда у него оставалась только денежная мелочь, и он уже не мог играть один.

Бега гудели. Это был сдержанный гул предвкушений, под пленкой которого скопились мощные силы нетерпения, готовые разом прорвать тонкую преграду с первым взмахом стартового флажка. А на дорожке разминали лошадей, запряженных в качалки, и они носились вдоль трибун, смешно выбрасывая по-куриному голенастые задние ноги.

Профессор открыл программку, наскоро посмотрел, кто записан в первые заезды и пробежал вдоль касс, по-

глядывая, на кого уже начали ставить. Потом он просто поторчал на бойком месте, навострив уши и вылавливая из гула голосов сведения, имеющие хотя бы какую-то ценность. Так, по крохам, он составил общую картину, из которой стало ясно, на какого играет большинство в первых двух заездах. Теперь дело было за послушным компаньоном, готовым внести свою половину ставки без разных там собственных мнений. Для этого лучше всего годились те, кто чувствует себя здесь неуверенно, теряясь от незнания лошадей. Конечно, делить выигрыш на двоих всегда неприятно, но в одиночку долго не протянуть. С капиталом в два рубля.

Он пристрелочно запустил в общий гул такую фразу, будто забросил удочку с наживкой:

— Видел я наездника Петухова. Он говорил...

Он не закончил фразу, будто размышляя, и покосился глазом в одну сторону, другую: не клюнул ли кто?

Но крючок остался без добычи. Только один незнакомый гражданин в поношенной фетровой шляпе поднял глаза от программки и сказал:

— А, Профессор. Я давно хочу с вами потолковать. Что вы здесь делаете, темный вы и невежественный человек? Игра бывает счастливой, шансовой и отъемной. Любая игра. Будь то бега или карты. Вы даже не знаете азбучных истин. И если вы ищете здесь свое счастье, то послушайте, что я скажу: счастье ищут не здесь!

— А вы-то сами, а? Сами-то что здесь потеряли?— рассердился Профессор, так не вовремя пристал к нему этот странный человек.

— И я, и они,— непрошеный собеседник писал пальцем круг,— мы ищем тут другое. Нас, так сказать, влечет драматургия событий. Мы ходим сюда, как в театр, поразвлечься. Понимаете?

И он завел что-то свое. Профессор не мог взять себе в толк, зачем его уговаривают уйти отсюда. Места здесь хватало всем.

— Поезжайте на Крайний Север, если на то пошло. На стройки,— сказал непонятный тип.— Там широкое поле деятельности. Вот и адресок вам пункта по набору. Спросите Трофимова. Трофимов — это я. А впрочем, мы это сделаем сейчас.

В руке у Трофимова очутился пузатый потертый портфель. Он извлек из портфеля пачку бланков и авторучку, пристроился у барьера и начал писать.

«Вот если бы сегодня бежали Компостер и Лебедка,

Да в соседних заездах. Уж я бы утер всем нос»,— подумал Профессор.

А Трофимов отодвинулся куда-то далеко вместе с протянутым листочком и беззвучно шевелил губами, что-то говоря.

— ...есть,— сказал советчик обиженно, скомкал бумажку и ушел в толпу.

— Эй! Друг! Сыграем Пролога!— спохватился Профессор и крикнул Трофимову в спину.

Рысаки потянулись на старт. И в это время один человек спросил:

— Что вы думаете об Оказии? Хороша кобылка?

Он смотрел на Профессора.

— Кляча. Дрянь,— ответил Профессор, поглядывая по сторонам.

— Вы так думаете?— произнес тот же человек с неуважительной ухмылкой.

— Сколько знаю, всегда в хвосте. И с проскачками,— огрызнулся Профессор. Этот человек ему мешал.

— Ловко они всех надули. Даже вас, Профессор,— и человек засмеялся довольно.— А между прочим, это знаменитая Роз Пранс,— добавил он, посерьезнев.

— Кто?— спросил Профессор, насторожившись, хотя иностранная кличка ему ничего не говорила.

— Да. Да. Роз Пранс. Оказия — псевдоним. Понимаете, ее недавно купили там, за океаном. Ну и по-нашему нарекли. Кому это нужно, чтобы по отечественной дорожке носилась кобыла с их именем? И потом, так сказать, тактический ход. Понимаете? Все подумают, что это Оказия, а она на самом деле Роз Пранс.

Но Профессор ничего не понял, и человек пояснил:

— Дело в том, что невестка директора ипподрома приходится мне двоюродной сестрой. И это кое-что значит, сами понимаете. Одним ухом: то да се. Тайны дирекции.

Это было другое дело. Это была информация. И внешность человека внушала доверие: модный костюм с разрезами и красивые носки. Вот только лицо у него было какое-то неуловимое. Словно у него не хватало лица.

— А что же она так? Еле тянет,— удивился Профессор.

— Еле?— брат невестки усмехнулся.— Это ветер. Если хотите: свист в ушах. Вы имеете в виду ее результаты? А период акклиматизации, а новый тренинг? Это

что, по-вашему, пустяки? Но сегодня... я имею сведение,— брат невестки огляделся и понизил голос до шепота.— Сегодня она пойдет в полную силу. Только между нами. Это конфиденциально.

— Прямо в этот самый день?

Брат невестки недоуменно посмотрел на Профессора. Ему не хотелось верить, что в нем сомневаются. Он-то с доброй душой.

— Да я ничего. Просто так уж,— сказал Профессор торопливо.

— Ладно. Итак на Оказию? То есть на Роз Пранс. Полтинничек с брата?

— Вступаю!— согласился Профессор, затрепетав.

Будто раскалываясь на части, ударил колокол. Он собирал на старт лошадей. Профессор и брат невестки скинулись по пятьдесят копеек и побежали в кассу.

— Свяжем с шестым из второго заезда,— бросил компаньон на ходу.

Профессор кивнул, не думая.

Когда они вернулись на трибуну, лошади уже пошли. Перед рысаками, сдерживая их страсти, катила «Волга» с растопыренными крыльями. У стартовой черты машина включила скорость и умчалась вперед, освободив борцам дорожку. И в Оказии сразу взыграла засекреченная иностранная кровь. Она вырвалась вперед на целую голову и побежала, трамбуя дорожку передними копытами.

— Ну, что я говорил?— заторжествовал брат невестки, пробираясь ближе к финишному столбу.

Но прыти у Оказии хватило только на первую четверть круга. Потом она устала, сбавила ход, и соперники промчались мимо нее, как мимо стоячей.

Профессор озадаченно взглянул на брата невестки.

— Значит, в следующий раз. Когда-нибудь,— сухо сказал бывший компаньон, и, запулив щелчком билет в небеса, ушел по лестнице на верхние ярусы. И Профессор понял, как легко его надули.

Вздохнув, он снова открыл программку. Долистав до девятого заезда, Профессор протер глаза. В восьмом заезде бежала Лебедка — в девятый был записан Компостер. Совершилось одно из трех чудес — Удача открывала ему возможность сыграть самых паршивых лошадок, каких когда-либо носили дорожки ипподрома. Словом, тех коняг, которые принесут сказочный выигрыш,

если миру явятся два чуда подряд, и Лебедка, и Компостер прибегут первыми в своих заездах.

Профессор оробел, получив вызов Удачи. Сколько он готовился к этому дню, и все равно она застала его врасплох. Было боязно испытывать судьбу, вот что. Она предоставила ему единственный шанс, и если он сейчас проиграет, то это уже будет конец. Исчезнет его надежда.

Прошли еще четыре заезда, но Профессор их видел, точно через туманную пелену. На дорожке мелькали силуэты лошадей, не то еще разминающихся, не то уже бегущих в заезде, и, точно на пожаре, то и дело трезвонил колокол. Перед седьмым заездом он принял решение не рисковать и сделал вид, будто сегодняшний день проходит как обычно. И в программке нет ничего такого, над чем бы стоило ломать себе голову.

Он начал отвлекать себя предстоящим заездом, приглядел рыжего жеребца с толстыми крепкими ногами и широкой мощной грудью. Остальные лошади мельтешили, а этот разминался перед заездом уверенной размашистой рысью,— видно, знал, что ему нужно.

Да и теперь будто бы все старались помочь ему, увести от искуса. Можно подумать, именно поэтому очередной компаньон прямо сам полез ему под руку.

Он сразу приметил белобрысого тщедушного паренька в темно-коричневом замшевом пиджаке, великом ему размера на два. Паренек, словно клещ, пристал к монументальному толстяку, жующему ириски. Толстяк стоял среди колонн, сонно поглядывал из-под тяжелых век на происходящее и методично набивал рот ирисками, черпал их горстями из пакета. Он казался еще одной неподвижной колонной среди этого столпотворения, и страсти только разбивались о него. К нему-то и прибило беспокойного паренька утлой лодчонкой. Толстяк прямо-таки загипнотизировал его своим невозмутимым видом.

Профессор услышал, как паренек добивался у толстяка:

— Вы, наверное, что-нибудь знаете? Знаете, да?

Толстяк молча полез короткой пятерней за очередной охапкой ирисок, словно и это не относилось к нему.

— Может, у вас каждое слово на деньги? Может, по гривеннику, да?— сказал паренек, сердясь.

Толстяк смотрел перед собой и жевал равномерно ириски, точно колбасу. Ну, прямо оглох человек.

— Получайте,— сказал паренек, горько усмехнувшись, и протянул монетку.

Толстяк, не глядя, взял ее, сунул в карман и буркнул, даже не повернув головы:

— Я ничего не знаю.

И тогда паренек заметил Профессора и в отчаянии спросил:

— А вы? Вы что-нибудь знаете?

— Кое-что,— загадочно произнес Профессор на всякий случай.— А что предлагаете вы?

— А мне все равно. Я тут в первый раз. Думал, здесь лошади дрессированные, как в цирке,— легко сообщил паренек, найдя покровителя.

— Тогда ставим на пятого. Гони полтинник,— скомандовал Профессор.

— Да чего мелочиться?

Паренек вытащил из-за пазухи ворох десяток. Деньги сухо, по-стрекозьи, зашуршали.

— Я играю по пятьдесят копеек,— пояснил Профессор.

— Не будем считаться. Я два года трубил на Чукотке,— загулял паренек, пытаясь всучить весь ворох Профессору.

«Вот с кем бы сыграть на Лебедку и Компостера»,— мелькнула мысль, но Профессор с негодованием погасил ее.

А вслух строго сказал:

— Бумажки убери. И гони полтинник.

Они поставили на рыжего, и Профессор повел паренька на лестницу. Отсюда, с двадцатой ступеньки, он уже в течение многих лет следил за ходом заезда. Тут толкали локтями в бок, наступали на ноги, но Профессор терпел, потому что первый ипподромный выигрыш когда-то застал его на этом са́мом месте и будто бы навсегда пригвоздил к двадцатой ступеньке. А традиции на Бегах считались фундаментом, на котором воздвигался успех. Профессор это знал и радовался, что ему еще повезло. Другим приходилось ждать на скользких перилах, от начала заезда до его конца.

Рыжий жеребец прибежал только четвертым, принеся Профессору привычное чувство проигрыша. А паренек вздохнул с облегчением. Он готовился к светопреставлению, к тому, что рухнут трибуны и померкнет белый свет. А тут и всего-то... Жив, здоров.

— Вот оно что. Вот она какая, значит, механика,—

задумчиво произнес паренек и широко улыбнулся.— Ну, а теперь я сумею и сам. Спасибо за ученье, дядя!

Паренек выгреб из кармана десятки и направился в кассовый зал.

— Погоди. Шел бы ты домой, а?— предложил ему Профессор неожиданно для себя.

— А мне здесь нравится, я играть желаю,— ответил паренек, тоже удивляясь совету Профессора, и удалился в зал.

Тем временем заиграла музыка и на дорожке появились участники восьмого заезда. Взгляд Профессора сам, помимо его воли, потянулся к низкорослой вороной лошадке, обозначенной цифрой шесть. Это и была Лебедка.

Профессор отвел глаза. «Кляча, ей богу, кляча»,— сказал он себе. Но некий плюгавенький старикашка набрал побольше воздуха в слабую грудь, потратив на это две-три минуты, и сказал веселясь:

— Эй, Профессор! А ты поставь на Лебедку. Возьми и поставь. А то и с Компостером вместе.

И поделом было вредному старикашке: он едва не задохнулся, истратив весь жалкий запас кислорода. Но своего-то он достиг, старый шут. Уж на что каждый был занят своим, так нет же — все вокруг засмеялись.

— А что Лебедка и Компостер? Ничего себе жеребята,— сказал Профессор, защищаясь, как будто уже в самом деле поставил на них.

— Тогда почему бы вам их не сыграть? Банк сорвете а-афигеннейший! На всю тотошку один билет!— спросил молодой, но уже лысый остряк и подмигнул окружающим.

— Еще бы, такая комбинация получается раз в сто лет,— добавил кто-то, стоявший за спиной.

«А ведь и правда,— спохватился Профессор.— Потом все равно нечего будет ждать».

Они растревожили беса, которого он уже было унял, раскочегарили его. Профессор решительно направился в кассовый зал и, протянув в окошко последний рубль, твердо, но так, чтобы не слышали лишние, произнес:

— Шесть — девять!

Нет, он уже не боялся насмешек. Он опасался, как бы какой соглядатай, подсмотрев его комбинацию, тоже не поставил на Лебедку и Компостера.

Но, слава богу, кажется, никто не заметил, никто не

шушукался, показывая на него странными глазами. Его ставка не вызвала на бегах нежелательной бури.

Стартовая «Волга» снова расправила крылья и поползла по дорожке, таща за собой вытянувшихся в линию лошадей. И тут Профессор молниеносно прошел через несколько стадий волнения. Точно его окунули в прорубь, выхватили вон и мигом сунули в котел с крутым кипятком. А затем он напрягся до ощущения, будто его кожу натянули на каркас.

Но едва отзвонил стартовый колокол, повод для волнений исчез. Все тотчас стало на свое место: вперед ушли фавориты, а Лебедка потащилась в хвосте, там, где ей и надлежало быть. Она вела свое скромное соревнование за предпоследнее место с Калькой, а табунок резвачей отдалялся все дальше и дальше, отрываясь. Профессор с безразличным видом следил за бегом, как будто не он играл в заезде, а кто-то другой.

Он даже почувствовал облегчение оттого, что все так быстро, так безболезненно оказалось позади. И Профессор с тайным злорадством оглядел стоявших вокруг людей. Им никогда и не узнать, что в его кармане лежит безумный билет «шесть — девять». Уж тут бы они посмеялись.

А заезд шел своим чередом. Пройдя треть круга, Лебедка прочно устроилась на предпоследнем месте. Для нее это был крупный успех. Он придал ей немного силенок, она осмелела и припустила вслед за остальными. Очевидно, сказав себе по-лошадиному: «Эх, где наша не пропадала!»

И вдруг Профессор обнаружил непостижимое: промежуток между мордой Лебедки и крупами ушедших вперед лошадей стал медленно сокращаться. Вначале он не заметил этого, настолько трудно удавался Лебедке каждый метр. А уж дальше произошло совсем смешное: за четверть круга до финишного столба Лебедка все-таки достала маячившие перед ней спины наездников, влезла в эту катящуюся массу из людских и лошадиных тел, и Профессор потерял из вида и Лебедку, и зеленый камзол наездника.

Потом от этой кучи отделился прославленный серый Печенег. Он высоко и легко вскидывал ноги, свои коленчатые валы. Он был нацелен на финишный столб стрелой. И ипподром закричал, приветствуя свою победу и победу любимца. И тут что-то вышло из строя в этой точно отрегулированной живой машине,— Печенег за-

скакал, высоко подбрасывая передние ноги. Сидевший истуканом наездник всполошился и потянул вожжи на себя, придерживая лошадь. Конфуз с фаворитом взбодрил отставших. Жеребцы и кобылы кинулись к финишному столбу, но, поравнявшись с Печенегом, не устояли перед стадным чувством и тоже заскакали, запрыгали. Всполошенные наездники задергали вожжами, и на подступах к финишу началась несусветная неразбериха. Из этой кутерьмы вынырнула вороная лошадка и как ни в чем не бывало затрусила к столбу. Печенег и его свита пришли в себя и кинулись следом, наездники заработали хлыстами по конячьим спинам, точно выколачивали пыль, но предприимчивая лошаденка уже прошмыгнула за финишный столб.

Над публикой поднялся обиженный свист. Он полетел из края в край и вдруг разом упал, как-то озадаченно. И вместе со всеми Профессор сообразил, что номер победительницы принадлежит Лебедке.

— Вы, разумеется, поговорили, а не сыграли,— сказал Профессору побледневший старик.

— Почему же? Я поставил,— небрежно ответил Профессор.

У Профессора было такое ощущение, будто его неожиданно вознесли куда-то наверх. Он нервно хихикал и никак не мог остановиться, что-то инородное билось в нем, словно курица крыльями, и покудахтывало. А те, кто недавно потешался, обступили его кольцом.

— Ай да Профессор,— сказал кто-то озадаченно.

— На этот раз он что-то знает,— произнес другой.

Один человек задрал голову к верхней галерее и крикнул:

— Иван! Слышь? Тут один поставил на Лебедку!

Пришел Трофимов со своим пузатым портфелем, внимательно посмотрел на Профессора, точно проверял себя, потом покачал головой и сказал:

— Это случайность. Чистая случайность.

— Интересно, с кем он связал в девятом?— произнесли за спиной Профессора.

Он стал вдруг маленькой точкой, в которой сошлось всеобщее внимание. Осью, вокруг которой заходило ходуном все живое. При каждом его движении в ту же сторону подавалось все окружающее, надеясь узнать, кого он ждет в девятом заезде.

Да, теперь он достоверно знал: в девятом придет

Компостер. Это было решенное дело. Судьба начала твердо гнуть свое, а ей, если она захочет, все по плечу. И он никому ни гу-гу, боялся вспугнуть Удачу. Хотя был соблазн похвастать, чтобы все поняли, что он не тот, за кого его принимали.

Профессор с любопытством следил за собой, как бы со стороны, как бы за новым человеком. Будто и вправду исчез тот, прежний Профессор, и вместо него родился другой, удачливый и сильный. Жаль, не было здесь ни соседей с Соломоновной во главе, ни завлаба с молодым ученым. То-то бы они посмотрели на него, то-то бы подивились ему! Вот уж, право, Профессор!

Из-за крыш нефтяного городка приползла угрюмая туча, и стало темно, точно ипподром накрыли кепкой. Но у Профессора был острый и цепкий глаз. Он видел четко и номер Компостера на его попоне, и крепкий выбритый подбородок наездника под малиновым шлемом. Шлем был похож на половину пасхального яйца.

Профессору казалось, что разминка перед началом заезда уже затянулась, что время почему-то убавило ход, и он корил себя за нетерпение. Поторапливать время было нехорошо, это смахивало на жадность.

Между тем все шло по заведенному порядку. Прокатив вдоль трибун, наездники разъехались в разные стороны и начали разминать лошадей. И каждый норовил блеснуть своей подопечной. И лошади смотрелись молодцами, кусали удила и стригли воздух острыми ушами. Только Компостер апатично мотал головой, роняя навоз на мягкую дорожку. И не было в нем игривости и азарта. А хозяин его в бордовом камзоле поглядывал по сторонам из своей коляски с таким видом, словно ему на все плевать.

Но сегодня рушились законы и логика. Профессор представил, какой поднимется переполох, когда это пугало оставит всех с носом, и лукаво взглянул на своих соседей.

Заезд начался будто по его указке. Наездник в бордовом камзоле поднял хлыст и на первых метрах выбил всю дурь из Компостера. Тот, как ошарашенный, пролетел сквозь ораву лошадей, обогнул поле ипподрома и выскочил первым на противоположную сторону круга.

«Что там приемник? Дешевка! Куплю я Петьке магнитофон,— сказал себе Профессор.— А Кате и кофту еще. И цветной телевизор куплю. Говорят, хоккей в в цветном — дело совсем другое». И тут же передумал:

«Ничего, и приемник сойдет. Петька и приемнику рад будет. И Катя поработает еще. И я сюда похожу. Раз Удача идет, пользоваться надо. Удача неблагодарных не любит». И сразу же снова передумал, вернулся к магнитофону и кофте, а затем передумал в четвертый раз. Мучился: боролись в нем разные точки зрения. А заезд между тем шел своим чередом.

Вдоль дорожки тянулся низкий пыльный кустарник, закрывший на той стороне ноги лошадей и колеса качалок. Поэтому их движение издали выглядело ровным и плавным. Словно неподвижные торсы наездников и животных вращала на себе гигантская карусель.

Так они ровно и плавно катились по той стороне ипподрома. Во главе Компостер — за ним весь табун. Заезд походил на мирную прогулку. Только наездник в бордовом камзоле поднимал временами свой хлыст и подбадривал Компостера по рыжему крупу. С трибуны казалось, будто это движение рассчитано на вечность, и кругу не будет конца. На то он и круг.

Но все же у круга был конец. Там, у финишного столба. И здесь-то карусель остановит свой ход, едва лошади докатят до столба. Он прекрасно знал об этом и следил за бегом, ухмыляясь про себя. Публика даже не подозревала, что ее ожидает. До конца половина дистанции, и таким началом здесь никого не смутишь. Бега уже перевидели на своем веку стольких авантюристов. Но стреляной публике невдомек, что Компостер свое не уступит. Что сегодня ему написано на роду быть победителем.

Когда серый жеребец обошел Компостера, Профессор принял это как недоразумение. Но за серым его обогнал вороной, за ним третий, четвертый, пятый, а Компостер будто встал, выпал из карусели, и она теперь катилась мимо него. Вот уже какую-то лошадь вихрем пронесло мимо столба, а Профессор недоуменно смотрел, как тащится усталый Компостер, и еще надеялся на что-то.

Словно на смех его лошадь пришла последней. Бока ее были такими, будто их кто-то намылил. И когда Компостер проволок мимо него коляску с успокоившимся наездником, в ушах Профессора прозвучал гром Он сел на свободную скамью и обмяк. Еще никогда над ним не шутили так больно и зло.

— Ну, как? В порядке?— спросил его кто-то, он видел только коричневые туфли, с облупившимся носком.

Потом к ним присоединились черные ботинки на толстой подошве.

— Наверное, не с тем играл,— сказал владелец черных ботинок.

И они отошли, о нем позабыли.

Профессор поднялся, пошарил в карманах, но там не было даже на дорогу. Он спросил у стоявшего рядом:

— Ждете?

— Шестого,— сказал тот с готовностью.

— Я болею за вас, а вы мне двадцать копеек, если придет,— предложил Профессор.

— Да я вам тогда хоть все,— обрадовался этот гражданин.— Понимаете,— сказал он живо,— я еще не выигрывал в жизни. Ни во что. Ни в лотерею... Ни во что еще. Даже соску на викторине в санатории. Да о чем разговор? Мне бы номер сошелся. Ну, понимаете, что бы я угадал. Мне сам факт, понимаете?

— Понятно,— произнес Профессор с безразличием.

Принципиальный гражданин сжал его локоть, выражая свою благодарность. Но тут пустили лошадей, и Профессор начал меланхолично подбаливать.

Шестой номер был матерым фаворитом и без труда прошел первым весь круг, от старта до финиша. Но принципиальный гражданин ни во что не верил. Он отчаянно жестикулировал, как будто помогая шестому,— тащил его за узду и делал другие символические жесты. При этом он подталкивал Профессора, призывая к активности. И Профессор вяло строил гримасы, изображая отчаянное боление.

Шестой прибежал в победном одиночестве, обставив соперников на четыре корпуса. Он привез своим приверженцам ничтожный выигрыш в копейках, но принципиальный гражданин едва не сошел от радости с ума. И тут же побежал в кассовый зал, потрясая билетом.

— Э-э!— окликнул его Профессор.

— Что?— спросил принципиальный, обернувшись.

Профессор смотрел на него молча, выжидательно. Говорить не было сил.

— Ах, извини,— спохватился принципиальный и, сунув руку в карман, вывалил в ладонь Профессора серебряную и медную мелочь.

Мелочи набралось копеек на сорок. Профессор отложил на дорогу и с остатком, уже по привычке, вступил в общество с тремя такими же неудачниками, как

сам. Их лошадь прибежала где-то в середине, и они разошлись, не сказав друг другу ни слова.

После того, как бега кончились, Профессор еще долго сидел на трибуне, точно у могилки. Словно кого-то или что-то только что похоронил. Потом он поднялся и прошел к выходу по ступеням, устланным картонными билетами. Они валялись, будто умершие. Будто были недавно совсем живыми, но после каждого заезда часть их отмирала, падая наземь осенними листьями. И теперь они валялись под ногами.

По улице гуляла тополиная метель. Пух лез в рот, в ноздри. Профессор отплевывался и чихал. За окнами, над головой, крутили пластинки, и беспечный веселый голос орал: «Адресованная другу, ходит песенка по кругу». Это действовало на нервы. В нем постепенно закипело раздражение.

Его злоба начала выискивать виновника, и он первым делом принялся за Компостера. Именно эта скотина испортила все. Кто же так делает,— подумал он в сердцах,— рвет во весь дух от самого старта. Ну ладно, это лошадь, бестолковое животное. Ей одна забота: отмахать свои метры и поскорее в стойло. Или куда там еще. Но о чем думал наездник? Где, спрашивается, была его голова в это время? За что он получает государственные деньги, этот бездельник в бордовом камзоле?

Память Профессора неистово разгребала ворох минувших событий, и ему припомнился один подозрительный факт. Ну да, конечно, все так и было. Еще на проводке наездник погнал Компостера в полную прыть, совсем не заботясь о запасе его силенок. Ему, видите ли, хотелось покрасоваться. Сукин сын! Прохвост эдакий!

— Ему бы ездить на Кальке!— сказал Профессор в сердцах.

Право, только на Кальке. Более никудышной кобылы еще не видел белый свет, такой уж тихоход, эта Калька, та самая завалящая кобыла, с которой Лебедка на первых порах боролась за предпоследнее место. Потом-то Лебедка ушла вперед и сделала свое дело, удивив ипподром. А Калька приползла после всех, как улитка.

И тут его ослепило! Не вправду, конечно, а мысленно. Калька слабее Лебедки, вот оно что! Если Лебедка пришла первой, значит она не с а м а я темная лошадь.

Вот в чем промах его! Он-то должен был поставить на самых темных лошадей. Двух самых темных, темней которых нет никого на бегах. Компостера надо было играть с Калькой,— вот в чем дело! И оттого Компостер не пришел, потому что его связали не с той лошадкой. Выходит, просто его случай еще не наступил, а он-то!..

Профессор засмеялся над собой. Его настроение резко подскочило вверх. Точно так взмывает вверх стрелка силометра, когда в него врежут кувалдой. Сам это видел в парке культуры и отдыха. И вот такое же происходило и с ним.

Так, безудержно смеясь, он незаметно для себя очутился в своем подъезде. В дверях лифта стояла полная дама.

— Вы едете?— спросила дама, будто подстегивая.

Она стояла, раскрыв двери лифта, точно во вратах, и выражала нетерпение. Ей было некогда, наверное... О чем это он?.. Нет, он не мог так: ехать в лифте и тут же думать. Что-нибудь одно. Он как раз ухватил коечто. Поймал, но еще не крепко взял в кулак. И очень сложно это соединить — езду в лифте и нелегкое занятие думать.

— Езжайте. Я потом,— скороговоркой произнес Профессор, стараясь удержать возникшие на лбу морщины.

В морщинах копошились мысли, и только открой им щелку, они мигом разбегутся кто куда, и потом собери их попробуй. Оттого-то он держал лоб гармошкой, пока говорил.

Дама пожала плечами, захлопнула за собой с железным грохотом двери и вознеслась.

И надо было ждать, подумал он, стараясь не отвлекаться. Вот в чем заковыка, он-то рано вылез, а надо было хорошенько потерпеть. И Лебедка здесь ни при чем. Только в паре с Калькой Компостер принесет ему Удачу. И надо караулить тот момент, когда их поставят в программке по соседству. А он-то перепутал все, дурачок. Ах, какая он, право, шляпа!

Он почувствовал необычайную легкость в груди, точно ее заполнили воздухом. Она так и поднимала его на цыпочки. И Профессор, чтобы не взлететь к потолку, взялся за дверцу лифта.

Скрипнула дверь подъезда, и с улицы вошла девушка и остановилась перед Профессором. Сумрак подъезда ее ослепил, она таращила большие коричневые глаза,

а за ее спиной сияло солнце. Оно наполнило свободно пошитое платье девушки медовым светом, и Профессор увидел линию ее тела, тонкую, изящную, будто проведенную одним движением пера. Он почувствовал себя лихим кавалером, возникло желание совершить сейчас же что-нибудь невероятно любезное.

— Мы сейчас,— сказал он как можно изысканней.

Стараясь не сгибать поясницу и ноги, он нажал кнопку лифта, а потом, так же с неестественной прямой спиной, молодецки распахнул перед ней двери — и стальную и деревянные.

Девушка неловко, стараясь его не задеть, юркнула в лифт.

— Четвертый,— пискнула девушка.

Профессор долго и торжественно закрывал двери. И так же долго давил на кнопку лифта. Кабина уже добралась до второго этажа, только тогда он медленно отнял палец от кнопки и плавно, словно в каком-нибудь полонезе, отвел руку назад. Он купался. Он нежился. Он был чертовски галантен и все.

А девушка помалкивала в своем углу. Ее лицо было усыпано сережками липового цвета. Вернее, это были веснушки. И может, наоборот, за липовый цвет мы принимаем кем-то просыпанные веснушки, с забытой сентиментальностью подумал Профессор.

Он поднимался в лифте, и вместе с ним торжественно поднималось его замечательное настроение. Так они ползли вверх, как столбик ртути. Но у лифта был предел — девятый этаж.

КОРОЛИ БАБЫ НЮРЫ

Иванов еще не остыл от забот со стекольщиком, еще все в нем мелко дрожало, а соседка-старуха призраком вплыла в распахнутую дверь и, остановившись прямо перед его носом, ни к селу, ни к городу изрекла:

— А карты все знают.

Ну совсем как в модном ныне театре абсурда!

— На то она и картография вместе с геодезией,— ответил Иванов, озирая пол, усеянный, точно брызгами, осколками стекла, гнутыми гвоздями и ошметками замазки.

— Я и говорю,— обрадовалась старуха и, на что-то

намекая, добавила:— Только кто бы погадал на этих... на картах.

— Вот вы о чем?!— поморщился Иванов.— Да кто занимается этим в наше-то время? Атомный век! Человек на Луне! И цыгане, карты? Полная чепуха!

В его ушах еще стоял хруст битого стекла под сапогами уходящего мастера...

...Надо же такому случиться,— в этой комнате не было ни единого целого окна. Стекла будто бы высаживали от души,— яро, со смаком. Окна зияли острыми зубьями, точно ощерившаяся акулья пасть, из их утробы тянуло злым холодом, и оттого-то, видать, хозяин-холостяк был подозрительно радушен, когда Ивановы по рекомендации знакомых пришли на его огонек, тускло светивший в начале Малой Молчановки.

— Да вот снимал один аспирант... Зато свежий воздух с доставкой на дом,— цинично пошутил хозяин и, окончательно теряя совесть, глядя в глаза, солгал:— Не комната — дворец! Наслаждался бы сам, но, увы... превратности жизни!— Он и впрямь ютился в крохотной соседней комнатенке размером с чулан. Как они потом узнали, копил на мотоцикл.

Но разбитые окна и пыльная лампочка, светившая не ярче грязного мандарина,— их визит выпал на вечер,— все это казалось пустяком по сравнению с главным: у «дворца» имелись стены, за их непроницаемой для лишнего взгляда твердью он, Иванов, мог теперь без помех сочинять повести и рассказы и, возможно, замахнуться на толстый роман...

...А до этого они с Машей жили у Машиной мамы в Скатертном переулке, возле Никитских ворот. Первое время Иванов чувствовал себя в тещиной квартире почти как дома, даже при своей стеснительности разгуливал по комнатам в старых спортивных пузырящихся на коленях штанах — расслаблялся, снимал, подчиняясь моде, напряжение. Теща кормила его до отвала. «Ешь, ешь, ты — единственный у нас мужик... Хотя разве мужское дело — учитель?— говорила она, сама крутой автобусный диспетчер.— Сейчас мужчины идут в торговлю и в общепит.— Я-то всегда мечтала выдать Машеньку за мясника. Здоровые они мужчины». Маша его защищала: «Мама, ты ничего не понимаешь, Витя — будущий Песталоцци!» «Да я шучу, шучу. Не обижайся»,— отступала теща. А он и не держал обиды. Какая мать не хочет своему дитяти добра? Да и кто он — ее зять? Никакой

не Песталоцци, скромный школьный преподаватель, сын бухгалтера и учительницы начальных классов из маленького города Ейска. Словом, первые два года жили они втроем, будто бы душа в душу. Но потом Маша открыла у мужа писательский талант. Однажды, когда молодые были в гостях, неладная потянула молчуна Иванова за язык, и он произнес роковое «а у нас...» Его тотчас поймали на слове: «Ну и что у вас?» Отступать было некуда, пришлось рассказать забавный случай из своей студенческой жизни. Таких историй, наверно, у каждого было завались, каждый из сидевших за столом когда-то ходил в студентах. Но его байка вызвала отвальный хохот, катались от смеха все, кроме Маши. И по дороге домой она долго молчала, а затем изрекла:

— Вот что, у тебя явно литературный дар.

— Откуда ты это взяла?— опешил Иванов.

— Только не спорь!— заранее рассердилась Маша.— Уже твои курсовые носили эту печать. Их отмечали не зря. Именно за то. Ты излагал свою мысль стройно и ясно. Как же я не сообразила тогда? Идиотка! Из-за меня мы потеряли два года!.. Поэтому завтра же... сегодня, пожалуй, поздно... Впрочем, писать никогда не поздно. Флобер писал по ночам. Придем, запишешь свой рассказ на бумагу!

Дома она так и поступила,— усадила его за письменный стол и прилегла на тахту, не раздеваясь, по-походному. «Учти, я не сплю...» Иванов, посмеиваясь — нашла писателя, взялся за авторучку и писал-переписывал до утра, с улыбкой поглядывая на сладко спящую жену. К его изумлению суррогат, который Маша наивно считала рассказом, через два месяца поместили в молодежной газете в рубрике «Сатира и юмор».

— Ну, а я что говорила?!— торжествовала жена.— Значит, так! Теперь ты целиком посвятишь себя литературному труду!

— А как же школа?— напомнил Иванов.

— Придется уйти. Из-за тетрадей у тебя совершенно нет времени. А внеклассная работа?— спросила Маша.— За эти два месяца ты ничего не сочинил, ни единой строки. А что говорил Олеша? «Ни дня без строчки!»

— Но я люблю свое учительское дело!— воспротивился он.

— Иванов, нельзя думать только о личных интересах! Нас, педагогов,— она уже отсекла его от школы,—

миллионы! Мы как-нибудь управимся и без тебя. А писателей, знаешь, сколько? Я наводила справки. Всего десять тысяч!

— По-моему, много,— заметил Иванов.

— Капля. В Финляндии один писатель на четыреста человек!.. Иванов, твое место там!— Она указала в сторону улицы Воровского, где в красивой дворянской усадьбе жил Союз писателей СССР.

Сказать откровенно, Иванов и сам был непротив. Он испытывал приятное возбуждение, когда увидел придуманные им самим фразы, и свое имя над ними, когда представил, как в разных концах Москвы сию минуту тысячи людей вот так же держат в руках газету и спрашивают друг друга: «Любопытно, кто он такой, этот В. Иванов?» Теща и та его зауважала, нет, нет, да изумленно поглядывала на зятя, поди же, ставший лебедем гадкий утенок, видно, сказки не врут.

Легкая удача,— сел, написал и тебя опубликовали,— вызывала азарт, хотелось сочинить что-нибудь еще... такое, но уже свое, а потом еще и еще, напечататься в солидном журнале, выпустить увесистый том. Перед ним приоткрыла занавес, манила загадочная и полная чудес жизнь. С детства писатель казался ему человеком необыкновенным, почти полубогом. И, как теперь выясняется, он, возможно, один из них. Ах, если бы еще при этом и остаться в школе!.. Но Маша была права: школа пожирала личное время, как любимый, избалованный зверь.

И он уволился из школы. «Перешел на профессиональную литературную работу»,— оповестила Маша знакомых. Отдавшись с головой новому занятию, Иванов тут же сочинил рассказ про любовь, лукаво замаскировав и себя, и жену под Ваню и Дашу. На узком семейном совете, без тещи, было решено не мелочиться — отдать свежее произведение в популярный журнал. Ответ был ошеломляюще ужасен.

— Ваш рассказ не гудит!— прохрипела низким прокуренным голосом массивная дама, вся в браслетах и кольцах, будто в обручах.— Он на обочине у столбовой... И вообще сделан не вкусно.

Иванов был смят, уничтожен. Но Маше удалось сохранить присутствие духа.

— Снобы! Ханжи,— отозвалась она о журнале.— Так бы и сказали, нас, мол, интересует тематика такая-то и

такая... Не вкусно! Ты кто? Писатель или кулинар?.. А нам это урок! Мы должны изучать конъюнктуру...

— Приближается дата! Все пишут о войне,— сообщила Маша, побывав в Доме литераторов, точно в тылу врага.

Иванов написал новеллу о войне, затем последовали рассказы и повести о космонавтах, о строительстве БАМа, об учащихся ПТУ, и т. д., и т. п. Но ему никак не удавалось попасть в масть — рукописи возвращались, как бумеранг. Иванов, холодея, подумал об ошибке. А вдруг он на самом деле бездарь? Байка, которую он записал, складна сам по себе, и вся его заслуга в одном, он воспроизвел ее на бумаге. Вдобавок ко всему ему было стыдно: вот уже который месяц он сидел на шее у двух женщин.

Иванов затосковал о школе, мысли все чаще и чаще возвращали его в класс, с каким бы наслаждением он сейчас проверил стопку тетрадей, сходил к родителям нерадивого ученика. А Маша, сама не ведая того, сыпала горстями соль на открывшуюся душевную рану, возвращаясь из школы, рассказывала о событиях дня. Слушая жену, Иванов сгорал от вспыхнувшей вновь педагогической страсти.

Однажды Иванов не вытерпел и тайком от жены наведался в свою бывшую школу. Он выбрал час, когда все были на уроках, прокрался обезлюдевшим коридором, останавливаясь возле каждого класса, жадно слушая голоса. Потом, осмелев, открыл дверь учительской.

— А сейчас нас рассудит Виктор Петрович,— произнесла свободная от урока географичка, будто он не увольнялся, а отсутствовал какие-то считанные минуты. «Косачев из восьмого «А»? Что он теперь натворил? Подделал отметку в дневнике?»— догадался Иванов, окунаясь в родную атмосферу. Он вдохнул полной грудью, вошел в комнату. Но тут же следом в учительскую влетела... Маша. Она вела литературу и язык в соседней школе, в двух кварталах отсюда, и все же Иванов никак не ожидал этой встречи, можно столкнуться на улице, но здесь?!

— Нинуля, вот ваши профсоюзные марки,— сказала Маша географичке.— Иванов?! Каким ветром тебя сюда занесло? Соскучился по красивым женщинам? Нечего, Иванов, разгуливать! Идем работать!— и, шутливо играя в ревнивую супругу, взяла его под руку и вывела из школы.

На улице Иванов, глядя на красный светофор, решился, открыл жене терзавшие его мысли. Но Машу мужнины неудачи только закалили, она была готова к затяжной борьбе.

— Все верно,— хладнокровно молвила Маша.— Я думала: все верно! Чем выше талант, тем ему сложней пробиться в литературу. Скажи: у кого из великих путь был устлан коврами? Твои так называемые неудачи только лишний раз подтверждают, что ты талантлив. Не падай, Иванов, духом! Мы пробьемся!.. А что касается нас с мамой, мы тебе не чужие. Пронесем свой жребий достойно!

Но теще этот благородный груз пришелся не по вкусу, она вернулась к прежнему взгляду на сказки, мол, врут в них, и за спиной у Маши повела с дармоедом-зятем партизанскую войну. Теперь в ее свободные от смены дни на всю квартиру гремели радио и телевизор, сама теща, будто бы помешавшись на чистоте, врывалась с тряпкой, а то и пылесосом, в комнату, где творил Иванов, и затевала уборку, подолгу терла стол перед его носом, смахивая на пол исписанные листы, и бормотала, как бы разговаривая сама с собой: «Разве это занятие для мужчины? Ни копейки в дом!»

А последний черный мазок на это левитановской грусти полотно нанес участковый, явился на квартиру, когда Иванов был один, и, обведя рассеянным взглядом стены и потолок, вдруг в упор, точно выстрелил, спросил:

— Значит, вы не заняты общественно-полезным трудом?

— Я? Почему?— растерялся Иванов.

— Правильно: «почему?»— поддержал его участковый.— Весь народ строит, все, кроме вас. Чем объяснить?

— Я тоже строю... по-своему. Я — писатель,— пояснил Иванов, краснея.

— Интересно. Кого, а живых писателей я еще не видал,— признался участковый равнодушно и как бы безразлично, как бы даже отвернувшись, однако на самом деле не сводя с него цепкого, всепроникающего взгляда, внутреннего взгляда, спросил:— А документ, соответствующий, имеется?

— Нет, но...— готовый провалиться от стыда Иванов робко указал на гималаи рукописей, вздымавшихся над письменным столом.

— Тогда я тоже писатель,— сумрачно заметил участ-

ковый.— Лично на моем столе бумаг поболе, чем раза в два. Выходит, по сравнению с вами я дважды писатель! Нарушаете, гражданин, непорядок!.. Ну, так что делать будем? Работать? Или оформим протокол?

— Конечно, работать,— пролепетал Иванов.

— Даю вам на трудоустройство...— милиционер поднес к глазам волосатое запястье с часами,— десять суток, начиная с данной минуты. Иванов машинально взглянул на свой будильник, засек время. Уже уходя, участковый задержался в дверях и сказал:

— И совет вам сугубо личный. Не рекомендую относиться к закону спустя рукава, а, мол, ладно... Переступишь раз, хоть ногтем, и хана — оно поехало само, прямиком в уголовный мир. И вы уже глубоко на дне общества — преступник-рецидивист! ...В общем, профилактику я с вами провел, а дальше кумекайте головой. Писатель!

Милиционер ушел, и впрямь выполнив долг. Иванов тотчас представил тюрьму и нары со стриженными под нолевку фиксатыми парнями. Это и был преступный мир. И среди блатных он, Иванов, тоже с неровно обкорнанной, словно в лишаях, черепной коробкой и тусклым металлическим зубом, сутулится на нарах и, цыкая слюной, играет в карты на чью-то жизнь...

Он представил и лица своих знакомых. Кто-то произносит его имя, и они все, порядочные люди, брезгливо морщатся: фу, какая мерзость...

Нет, только не это! Он поставит на творчестве крест,— знать, не судьба!— и вернется в школу. «А может, это и к лучшему? Определенно к лучшему. Конец мучительному состоянию, когда ты ни то, ни се»,—подумал Иванов, и ему стало легко. И даже захотелось есть, точно после тяжелой болезни. Он открыл холодильник и сделал бутерброд с толстым кругом колбасы и жадно съел.

— Не волнуйся!— сказала Маша, выслушав его фарисейские жалобы на милиционера.— Он и думать о тебе забыл, ему хватает пьяниц и хулиганов. Меня беспокоит мать. Визит милиции — ее проделка. Ах, мама, мама, надо же так закоснеть!.. Ничего, выше голову, Иванов! Я возьму репетиторство, снимем комнату, поживем одни до твоей первой книги. Мы уйдем, чтобы вернуться с победой!

Именно за этот боевой романтический настрой ее в институте прозвали Гитарой. Когда на собраниях брала

слово Маша, ей из зала кричали: «Машуня! А ну вдарь по всем струнам!»

— И все-таки я возвращаюсь в школу! Хоть и не с победой, но зато в школу! — собрав все душевные силы, взбунтовался Иванов, впервые за их трехлетнюю семейную жизнь. Он чувствовал: другого случая не будет!

— Если ты смалодушничаешь, я перестану тебя уважать, — холодно пригрозила Маша. — Думаешь, я рвусь в писательские жены? Ах, ах только и мечтаю как бы попасть в Пицунду и Коктебель!

— А что там? — не выдержал, поинтересовался Иванов.

— Говорят, их роскошные дома творчества... Но лично мне ничего не нужно. Мне достаточно быть твоей женой. Итак, решай: или мы с литературой, или ты один!

...Ивановы переехали в снятую комнату на другой же день после осмотра и допоздна хлопотливо устраивали место для письменного стола, целый час долбили бетон — вешали на стену портрет О'Генри. «Он писал и в тюрьме», — напомнила Маша. В окно тянуло арктикой, да зато они теперь были хозяева сами себе. «Кислород с доставкой на дом», — со смехом вспоминали новоселы, в приступе эйфории. Спать супруги легли далеко за двенадцать и долго не могли заснуть, мечтали: «Когда выйдет первая книга,.. за ней вторая... потом двухтомник...» С улицы сочился неоновый свет, усыпанный изморозью потолок напоминал звездное небо: вот Млечный Путь... вот созвездия Большой и Малой Медведиц... Плеяды... Южный Крест... В эти минуты Иванов верил в свое собрание сочинений.

Проснулся он посреди ночи от странных звуков. Его жена, будто играла в войну, строчила из воображаемого пулемета: ды-ды-ды...

— Что с тобой? — встревожился Иванов.

— Я... я... я за-а-амерзла-аа, — словно морзянкой, отстучала жена. — Но мы-ы-ы не с-с-сдаемся! На-а-а-пиши об этом ра-асска-з-з-з.

— На-а-а-апишу зы-зы-зы, — ответил Иванов длинной очередью из автомата.

Тугие струи морозного воздуха секли их точно из брандспойта. К утру с ними было покончено. После приготовленного наспех завтрака Маша убежала отогреваться в школу, а сам Иванов помчался в жилищную

контору. В крайней комнате разговаривали две женщины, молодая и пожилая, проситель сунулся к ним.

— Стекол в наличии нет и вряд ли будут до конца квартала,— механически отбарабанила молодая, но взглядевшись в посиневшее лицо Иванова, его слезящиеся от холода глаза, сжалилась, посоветовала:— Да пойдите на рынок Палашевский. Там скорее найдете стекольщика.

— Да ты что? Только проснулась?— весело удивилась пожилая.— Стекольщики, как мамонты, перемерзли все!

— А дядя Леня?— напомнила молодая.

— А-а-а... этот,— и пожилая понимающе хмыкнула над чем-то им обеим известным.

Дядя Леня нашелся сразу за воротами рынка, возле мясного павильона. Томясь по клиентам, стекольщик тер озябшие руки, постукивал каблуком о каблук. Рядом был к стене прислонен деревянный ящик со стеклом, этакий исторический экспонат. Да и сам мастер выглядел экзотично: старомодная каракулевая шапка пирожком, синтетическая куртка ярко-алого цвета, солдатские галифе и коричневые сапоги с молнией во все голенище, на высоком почти дамском каблуке.

— Дует, дует,— передразнил он Иванова.— Будто мне тепло. Чего ж ты раньше не шел, если дует? Жди вас тут. Вот возьму и не пойду, тогда как?... Чего стоишь? Мне-то некогда ловить ворон! Кормить надо семейство... Некоторые думают, раз кустарь, так и отдыхай с утра до ночи,— рассуждал он, шагая впереди Иванова, с ящиком на плече.— И слово-то приклеили какое: кустарь! Да разве я лазаю по кустам?

Его новые сапоги скользили по гладкому снегу, который будто бы кто-то облизывал всю ночь. Под тяжестью ящика подламывались тонкие каблуки, казалось, вот-вот, и мастер грохнется на жесткий тротуар, побьет вдребезги стекла. Иванов переживал, готовился подхватить, хотя толком не знал, как это сделать, когда случится беда.

— Как, по-твоему, лазаю или нет?— Желая не только услышать, но и увидеть ответ, дядя Леня развернулся, ящик описал широкую дугу.

Иванов и другие прохожие метнулись в стороны. Инерция занесла, качнула стекольщика.

— Конечно, нет!— поспешно выкрикнул Иванов и зажмурил глаза.

— То-то.— Дядя Леня чудом устоял на ногах, он, видно, и не подозревал, какому только что подвергся риску.

Но особо утонченным истязаниям нервы заказчика подвергались при переходах через улицы. Стекольщик, точно слепой и глухой, лез под машины. Над окрестностями Никитских Ворот стоял истерический скрежет тормозов. Пока они дотопали до Молчановки, с Иванова сошло сто холодных потов.

Втиснувшись с ящиком в комнату, дядя Леня попросил:

— Ты бы окна закрыл. Простужусь ненароком.

— В том-то и дело, окна закрыты. Напрочь! Я же вам говорил: нет стекол.

— Н-у-у... Тогда я пошел, холодно тут.— И стекольщик опять стал протаскивать свой ящик в двери.

— Погодите!— запротестовал Иванов.— Вы же для того и пришли. Вставить в окна стекла.

— И верно,— спохватился мастер.— Что же делать?

Его круглое белесое лицо с пуговками глаз, фасолиной носа выражало неподдельную растерянность. Он ждал: авось, сжалится, передумает заказчик.

— Вставлять!— виновато ответил Иванов.— Мы живем тут.

— Вы живете, а другие должны...— дядя Леня в третий раз потащил в двери ящик, бормоча:— Ка бы знал... сидел дома...

Первым делом он обмотался поплотнее шарфом, поднял капюшон куртки и только потом нехотя полез на подоконник, но тут же, что-то забыв, спустился снова на пол и наступил, разбил лист стекла.

— О, началось!— пожаловался он Иванову с оттенком похвальбы и начал искать молоток и складной метр.

Те каким-то образом оказались на стуле, который в свою очередь задвинули под стол. Закончив войну с инструментом, дядя Леня торжественно предупредил:

— Вот эти самые гвозди,— он продемонстрировал нечто мелкое, злобно-колючее,— я сейчас возьму в зубы. Буду держать в зубах. Какая твоя задача? Ты то и дело говори: «Леонид, а Леонид, смотри, не проглоти гвозди. У тебя гвозди во рту». Чтобы помнил, усек?

Как тут же выяснилось, его трудовая биография уже насчитывала два случая, когда он глотал, и до сих пор рассеянность ему сходила с рук. До поры до времени.

— Бог троицу любит,— многозначительно напомнил стекольщик.— Так что кончился лимит!

«Все у меня не как у людей,— огорчился Иванов.— У всех, наверное, стекольщики, как стекольщики, но это нелепое исключение попалось именно мне».

— Ну-ка, повари в кипяточке замазку. Отвердела проклятая на стуже,— прошамкал мастер, не вынимая гвоздей.

Иванов прихватил кастрюлю и замазку и отправился на кухню. Тут впервые и замельтешила соседка в его поле зрения. Она путалась под ногами, хотела что-то сказать. Коридор был узок, извилист и темен, походил на монастырский переход, и старуха каждый раз возникала из полумрака, точно выходила из стены. Но ему было не до нее, хватало по горло своих событий, только держись — расхлебывай. Тут тебе и замазка в кастрюле, и гвозди стекольщика в зубах. Вот и бегай из кухни в комнату. Сунешь голову в дверь: «Эй, не забыли про гвозди?»— и назад, к плите.

В конце концов старуха потянула его за пиджак и что-то все-таки произнесла свое, но вода с замазкой вскипела, ринулась через край, и Иванов, подхватив кастрюлю за обжигающие ручки, побежал к себе.

Потом старуха куда-то исчезла, и он мог всецело посвятить себя дяде Лене, возился с ним, будто с принцессой на горошине, промыл ему глаза, в который, бог весть как, попал осколок старой замазки, сделал холодный компресс на ушибленный палец, предупредил заражение гриппом, скормив мастеру все запасы этазола. Только и отвлекся однажды — сбегал на дверной звонок.

На лестничной площадке, задрав подбородок, нетерпеливо ждал, пританцовывая, дергался, шмыгал носом непоседливый подросток — сын тещиных соседей.

— Вам телеграмма! Вы уехали, она и пришла,— известил он, протягивая бланк.

Но Иванов смотрел ему за спину, на мальчишек из шестого «В», где он вел классное руководство. «Впрочем, что это я?! Теперь они в седьмом! Только подумать, уже седьмой «В»!— подумал Иванов. У детей были напряженные, застывшие лица. Их сбила с толку его борода. Да они и сами подросли, акселераты!

— Здравствуйте, ребята!— обрадовался Иванов, не глядя, на ощупь принимая телеграмму.— Не узнаете? Я это, я! Говорят, с бородой человек мудрее. Вот решил проверить,— пошутил он, счастливо смеясь.— Ну входи-

те, будьте дорогими гостями!.. Нет, лучше не сегодня, в другой раз... У нас там такое! Но я все равно вам рад! Честное слово!— признался он растроганно.

— Виктор Петрович! Может, вы к нам вернетесь? Ну, Виктор Петрович?— сразу, как бы ни с того, ни с сего, но так привычно заныл Боря Чернов, ученик с третьей парты.

— Понимаете, ребята, ...у меня теперь, как бы сказать... иная задача. Не менее важная. Понимаете?— Иванов старательно гнал из голоса фальшь.

— А что я говорил?!— заторжествовал сын тещиной соседки.— Виктор Петрович, я им по-хорошему, как умным: зря стараетесь, он, то есть вы, вас, леди энд джентельмены, давно вытурил из головы. У него, говорю, своих бочек во! А эти чудики: не может быть!

— Погоди, Вася, какие-то бочки,— поморщился Иванов.— И что ты несешь? Они совершенно правы!.. Ребята, я никого и ничего не забыл. Я вас часто вспоминаю, но... вернуться не могу. Словом, и вы не забывайте меня. Приходите! Я буду ждать! Договорились?

— Виктор Петрович, у нас с классручкой не лады,— серьезно, совсем по-взрослому сказал Саня Коваленко, лучший спортсмен того, шестого «В».

— С классным руководителем,— машинально поправил Иванов.— Кто у вас сейчас?

— Земфира Егоровна! Она придирается все время,— снова выскочил, пронзительно крикнул Чернов.

— Она нас не понимает,— так же по-мужски скупо пояснил Коваленко.

Иванов помнил и Земфиру Егоровну, учительницу физики, экономную на чувства особу.

— А вы-то сами? Ее понять пытались? Что хочет она? Нельзя так безапелляционно: мы правы кругом, она нигде!

«Кажется, я говорю не то, не теми словами»,— подумал Иванов.

— Эй, хозяин!— истошно из комнаты позвал стекольщик, будто его резали на куски.

— Не уходите. Я сейчас.— И, не закрывая дверь, Иванов поспешил в комнату.— Я здесь!

— Ты мне что-нибудь расскажи, развлеки,— потребовал стекольщик.— Уж больно у тебя скучно.

— Я сейчас,— пообещал Иванов дяде Лене и бросился назад, на лестничную площадку.

Но они ушли, все поняли, умные дети. И лишь один

остался, верный Гоша. Сын тещиной соседки, как мог, скрашивал свое одиночество, жонглировал воображаемыми шарами и строил себе рожи.

— Разбежались. Недоросли,— сказал он с презрением.— Но я им малость на прощанье вмазал, каждому по битке. Если надо еще, могу догнать и отвесить добавки.

— Я виноват сам,— пожаловался Иванов. И спохватился:— Гоша, не смей! Никаких «подвесить» и «врезать»! И вообще, кто тебя научил этому жаргону?

— Улица,— сказал Гоша, вздохнув.— Мать на работе, я после школы предоставлен самому себе.

— Ну и приходил бы ко мне,— смутился Иванов.

— А, вам не до нас. Сами же сказали... Ну я потащился. Не забудьте про телеграмму. А то скажут, что я потерял.

Иванов извлек из кармана бланк. Ничего нового, все то же, слово в слово, точно они пишут под копирку. Он снова сунул телеграмму в карман и побрел к дяде Лене.

— Ну так что веселенького?— напомнил стекольщик.

— Да вот, сказывают, в Одессе нашли холеру,— с грустью поведал Иванов.

— Нашли, значит? Вот и хорошо.

— Что же в этом хорошего?— удивился Иванов.— Накосит народа, тьму!

— Зато меньше будет плохих людей.

— Смерть, она не выбирает. Она и добрых и честных не обойдет.

— А эти, наконец, отмучаются,— легко решил дядя Леня.

— Но и вас прихватить может. Не так ли?— не удержался Иванов от яда.

— Не так!

— Почему же?

— Я неприметный. Никто без запаха и цвета. Костлявая и не знает, что я есть на свете.

Часа через три, после шумной возни, охов и ахов, перепачкав все в комнате, стекольщик закончил работу, собрал инструмент.

— Ну, хозяин, вознаграждай за труд!

— Сколько я должен?

Дядя Леня посмотрел на потолок, что-то вычитал там и бухнул:

— Сорок один рубль двадцать семь копеек!

Чувствуя, что его нагревают, кляня себя за неправ-

тичность,— надо было заранее договориться о плате,— Иванов выгреб из тумбочки почти всю семейную кассу и отдал дяде Лене.

— Это все мне?— осторожно спросил стекольщик.

— Вы же сами сказали.

— Ну да,— обрадовался дядя Леня и снова повел себя свободно.— Да ты не расстраивайся! Думаешь, я каждый раз так? Ты первый! Обычно-то все меня... а тут я тебя... Хочешь, я тебе по такому случаю подарю десять рублей?.. Ну, пятнадцать? Бери!

— Спасибо! Я заработаю сам!— с достоинством отказался Иванов.

— Я знал: ты гордый! Сам такой! А холеры не бойся. Ты для нее, как и я. А то и похуже. В общем, живи!— возместил он по-царски Иванову его утрату и спрятал деньги в глубокий карман галифе. Дядя Леня даже перекосился на бок, будто карманное дно доходило до колена, и замер.— Больно! Наверно, радикулит. Пойду-ка к врачу,— сказал он осторожно, по складам распрямляясь.

Иванов проводил стекольщика до лестничной площадки, вернулся к себе, и тут-то она и возникла со своей дремучей просьбой.

— Не верьте, бабушка, гадалкам!— предостерег Иванов, любуясь новыми стеклами и так, и этак. Бог с ними, деньгами. Кто и впрямь знает истинные цены покоя и тепла?

— Не буду верить, не буду,— живо пообещала соседка.— Только бы кто погадал разочек. А потом и не буду!— Она, наверное, казалась себе очень хитрой.

Старуха была ему по плечи, хотя Иванов ростом не блистал. И лет ей было за седьмой десяток, на взгляд. Совсем вневременная бабка в исконном темном ситце.

Раньше таких бабусь в темных платьях и черных платках он видел только на пасху. Они стекались по улицам, переулкам к церквам ручейками со всех сторон, несли куличи. А дотоле весь год таились где-то, по углам. Оказывается, вот где!

— А тогда зачем вам это? Если «не будете верить»?— усмехнулся Иванов.

— Васю видела во сне, сына. Будто он тонул. В Певеке он, Вася. Завербовался. А там океан,— затараторила старуха, обрадовалась тому, что к ее нужде все-таки проявили интерес.

— Бабуся, вы знаете, какой там океан, в вашем Певеке?— Иванов повеселел, с ухмылкой ждал ответа.

— Этот... Ледовитый,— сказала старуха, не чувствуя подвоха.

— Верно. А какое сейчас время года? И у нас, и там, у вашего сына?

— Какое же еще? Зима и есть.

— Вот! И толщина льда в вашем океане метров пять или как бы не больше. А теперь рассудите сами: можно ли утонуть в таком океане?.. Если только поможет ледокол. Атомный, конечно.

— А он утонул,— упрямо повторила старуха.

— Во сне,— терпеливо уточнил Иванов.— А что такое сон? Возбуждение клеток головного мозга. Вы-то спите, а у них бессонница, у клеток. Они и валяют дурака. Бывало, и мне приснится черт знает что, встают волосы дыбом. А проснешься, и все наоборот. В общем, не придавайте значения сну. Ваш сын, безусловно, жив-здоров. И вы живите спокойно.

— Он в океане тонул. Глубоком,— повторила она едва не по складам, вдалбливая в его голову.— Он пьет вино, пьет и пьет. Ка бы что не вышло.

— Пьет — это плохо,— согласился Иванов.— Но все же он там не один. Вокруг коллектив. Товарищи-друзья. Ему не дадут оступиться, поправят.

— Мне бы только погадать. Для покоя.— Она упорно сверлила его не по возрасту пронзительными глазками: что, мол, зря молоть языком, погадал бы лучше!

— Для спокойствия,— как учитель, поправил Иванов,— для спокойствия лучше послать телеграмму: волнуюсь, срочно напиши. Так-то оно будет верней.

— Как же! Посылала! Да только он не любит писать. У него, говорит, на это... ну это...

— Аллергия?— догадался Иванов.

— Она, она... Вот я говорю: мне бы погадать.

Иванов припомнил, как жена минувшим летом раскладывала карты, наверное, пасьянс. Происходило это в полувымершей деревеньке, куда Маша его завезла для слияния с природой, наслушалась о том, как писатели забираются в глухомань и там, дичая, обрастая волосом, ловят рыбу и в паузах между клевом пишут гениальные книги. Она и его заставила опустить бороду, отчего он теперь походил на кинематографического дьячка. Пока он удил рыбу и сочинял деревенскую повесть, Маша изнывала от скуки и, не располагая примером для подра-

жания (чем в это время заняты сами писательские жены, о сем молва молчала), днями терзала колоду карт...

— Так и быть,— сказал Иванов.— Вернется с работы жена, раскинет картишки. Нагадает вам на год вперед!

Соседка вышла, приговаривая:

— Мне бы хоть как. Ну, и слава богу. Мне бы хоть как.

Иванов убрал разгромленную комнату и поехал в журнал «Рассвет» за новым отказом. Там литсотрудник, тучный лысый гигант, вернул Иванову рукопись, будто оторвал от сердца самое дорогое, вышел с ним в редакционный холл и, оглядевшись по сторонам, зашептал сверху, как с колокольни, мол, здесь никто «в литературе ни ухом, ни рылом...» Вот будь редактором он, тогда... Старик, выкуешь очереднягу, тащи, хотя полная безнадега, нищи мы, нищи... Он словно предложил потягаться душевной теплотой. Воспитанный Иванов принял вызов, поблагодарил за чуткость.

Выйдя из подъезда, он спохватился: полный склеротик, забыл рукопись на столе. Иванов вернулся и услышал из-за двери голос литсотрудника, который кому-то говорил по телефону: «Извини, тут один графоман целый час крутил мне мозги». Иванов плюнул на рукопись и ушел, страдая за Машу. Еще удар для бедняжки.

Вступив в коммунальный коридор, он насторожился: на всю квартиру разносился голос старухи, да не прежний тихий, мышиный, а требовательный, командный:

— Но твой-то сам сказал: она вернется и сделает все!

— Или вы его неправильно поняли. Или он выдумал. Иванов — художник!— защищалась жена.

— Он сказал! Он — мужик твой! Твой мужик сказал!— попыталась внушить старуха.

— Ну не умею я, не умею! Говорят вам русским языком: никогда не гадала и не собираюсь!— крикнула Маша.

Она стояла в дверях, держала на отлете надкусанный бутерброд с колбасой, видно, старуха подняла ее из-за стола.

Заметив Иванова, соседка бросила Маше едкий взгляд: ну сейчас он тебе покажет, как не слушаться мужа!

— Милые дамы, о чем спор?— с притворным любопытством воскликнул Иванов.

— Просит ворожить! Я говорю: не умею. Она опять за свое,— пожаловалась Маша.— Видишь, что ты натворил?

— Ты тогда, в деревне, раскладывала карты... Мне показалось: пасьянс,— виновато пояснил Иванов.

— Да что я — феодальная старуха? Графиня? Раскладывать пасьянс?— оскорбилась Маша.— Я и знать-то не знаю, с чем его едят! Я — педагог! Я просто перебирала карты, от мыслей отвлекала себя. Ты!.. Мама!— В глазах ее мелькнуло подозрение.—А может, я, по-твоему, вообще... ведьма?— И легким мимолетным движением взбила прическу, смахнула мизинцем лишнюю помаду под нижней пухлой губой.

— Ты самая прекрасная женщина в мире!— твердо возразил Иванов, перекрывая все лазейки для упреков. А соседке сказал там, оберегая прочность своей маленькой семьи:— Извините, я ошибся! Попросите других. На нас свет клином... Послушайте, а почему бы вам не погадать самой себе? Своя рука — владыка!

— Да ка бы я знала как,— смешалась бабка, будто ее поймали на старании смошенничать.

— Тогда не обессудьте, мы сделали все, что могли.— Иванов взялся за дверную ручку, давая понять: мол, исчерпан разговор...

Старуха одарила его осуждающим взглядом: эх, ты не можешь управиться со своей бабой,— и побрела к себе, бормоча свое: «мне бы хоть как...»

Она исчезла в своей комнате, но после ужина Иванов снова увидел старуху, когда относил на кухню чайник. Соседка сидела на сундуке и кого-то ждала, глядя на входную дверь. Сундук был черен от времени, напоминал занесенный в квартиру еще в эпоху Великого оледенения монолит. Этакий старый добрый остров посреди бурного двадцатого века.

Старуха дрогнула, видно, мысленно устремилась за помощью к нему, Иванову, да, узнав, разочарованно вздохнула.

Иванов с неприязнью подумал о ее сыне. Неужели трудно черкнуть пару строк? Небось этот Василий — типичный искатель личного счастья, лишь бы самому было сладко, а на других плевать с высоких широт!

— Ну довольно сновать по квартире. Мечешься туда-сюда, как наша соседка,— сказала жена.— Давай-ка

садись за письменный стол. Иначе этот день будет прожит зря. Тобой, значит, и мной!

Иванов послушно сел за стол, но работа не шла, он отвлекался по каждому случаю, двигал с места на место настольную лампу, менял в авторучке стержни, подолгу смотрел на черное мерцающее окно. А чаще прислушивался к дверям. В коридоре шуршала, что-то бормотала соседка.

— Покажи, что написал,— с любопытством попросила жена.

Она проверяла школьные тетради, пристроившись с ногами на кровати, черкала толстым красным карандашом. Временами Маша поднимала голову, бросала в его сторону бдительный контролирующий взгляд. Потом и вовсе не выдержала, слезла с постели, подошла к столу.

Иванов молча протянул страницу с единственной фразой: «Из открытых окон доносились звуки рояля».

— Очень образно!— похвалила Маша.— Передает настроение. И откуда у тебя берется такое?— Она бережно потрогала его темя.— Только, по-моему, это больше подходит для финала. Представляешь, было какое-то столпотворение, шум, и после затихшей драмы на... Где происходит действие?

— На стройке,— сказал Иванов, подумав.

— ...и после затихшей драмы на стройке, ты заканчиваешь так: «А из открытых окон нового дома доносились звуки рояля». Впечатляет?

Иванову было все равно, где встанет строчка, в начало или финал, у него самого она вызывала отвращение, поэтому он не стал спорить.

— Если ты так считаешь.

— Не я так считаю. Ты сам должен это увидеть.

— Я постараюсь,— уныло пообещал Иванов.

— Родненький!— спохватилась Маша.— Это все, что ты сделал за целый вечер? Как сие понимать, Иванов? Дома тебе мешала мама, а что препятствует здесь?

— Никак не соберусь с мыслями. Она шебуршится, вздыхает. Будто за спиной,— пожаловался Иванов.

Маша навострила уши, даже выглянула в коридор.

— Выдумываешь! Она у себя. Тебе лень работать? Так и скажи. И не морочь мне голову.

— Ну и что, что у себя?! Я слышу, как у нее молотит сердце!— в отчаянии закричал Иванов.

— Безобразие, она думает только о себе! Сейчас я

с ней поговорю!— пригрозила Маша и решительно направилась к двери.

— А что ты ей скажешь? Не смейте страдать?

Не ведающая сомнений Маша остановилась на половине дороги и с несвойственной ей плаксивой интонацией залопотала:

— А как быть? Надо же ее как-то утихомирить?

— Иначе она тронется умом,— добавил Иванов и поднялся из-за стола.— Где наши карты?

— Ты хочешь?.. Но кроме, как в дурака?..— Дальше у нее не хватило слов.

— Не боги обжигают горшки. Авось что-нибудь соображу.

— Ты прав!— подхватила Маша, снова становясь собой.— Коль это препятствует работе, значит, это следует устранить. Любой ценой!.. Я пойду с тобой!

— Лучше мне одному,— возразил Иванов.— Я буду стесняться тебя.

— Пожалуй, да,— сказала Маша, подумав.— Управишься сам. И не особенно мудрствуй. Старуха темна, всему поверит!

Соседку он нашел на кухне. Она что-то жарила, но, видать, сегодня у нее все валилось из рук — в квартире пронзительно пахло горелым.

— Так и быть, я погадаю,— сказал Иванов и с треском пролистнул большим пальцем колоду потертых, но еще упругих карт.

Старуха молчала,— не верила своим ушам.

— Ну, ну, красивая, и еще, можно сказать, молодая, приглашайте в гости! Карты — не телевизор. Но я, медиум, пробьюсь сквозь бурный эфир к полярному Певеку и расскажу про вашего сына! Эх, дальняя дорога и казенный дом! Чавелы!

«Сейчас бы для куража граммов сто пятьдесят!»— подумал непьющий Иванов.

— Бриллиантовая! Бесценная! Позолоти ручку, положи получку!— выкрикнул Иванов, накручивая себя безалкогольным способом.— Ну что же вы? Могу и передумать! Я капризный!

— Сейчас, сейчас,— очнувшись, засуетилась соседка, выключила газ и повела Иванова к себе.

Из комнаты Ивановых в приоткрытую дверь выглядывала Маша, она беззвучно что-то произнесла, энергично открывая рот. По движению ее губ Иванов расши-

фровал вопрос: «ну что?»— и поднял сжатый кулак, мол, жди с победой.

— Вперед, как танк!— шепотом напутствовала жена.

Соседка распахнула дверь, точно ворота, будто Иванов был величиной и правда с танк и мог застрять ненароком, она вошла в комнату и встала на манер привратника, пока Иванов не переехал через порог.

— Простите, ваше имя-отчество?— осведомился Иванов, оглядывая чистенькую аккуратную комнату с мебелью — сверстницей доледникового сундука.

— Анна Семеновна я. Пузакова. А все меня Нюрой зовут. Как молодой в ветбольницу пришла... санитаркой... так и прозвали: Нюра да Нюра. Все.

— Кошки и собаки тоже?— пошутил Иванов, стараясь создать непринужденную рабочую обстановку.

— Они же не говорят? По-нашему?— насторожилась старуха.

«Черт, так можно, провалиться, выйти из доверия, еще не начав»,— одернул себя Иванов.

— Я имел в виду специально обученных животных,— солгал он, выкручиваясь.— Ну-с, баб Нюра, где мы займемся нашим делом?

— А стол разве не гож?— забеспокоилась баба Нюра и разгладила на столешнице и без того ровную, без единой морщинки белую скатерть.

— Гож! Гож!— поспешил Иванов исправить оплошность. («Мог бы догадаться сам».) И перешел в атаку:

— А вот это убрать!— Иванов требовательно указал на вазу с аляповатой синтетической розой, украшавшей стол.

Баба Нюра передвинула вазу на край стола. Иванов замахал руками:

— Совсем, совсем! Туда, за... подушку!

— Что так?— удивилась старуха.

— Мертвая природа. Отрицательный экран,— зашаманил Иванов.

— А-а...— уважительно протянула баба Нюра, ничего не поняв, и спрятала вазу за горой подушек.

«Итак, приступим к оккультным наукам!»— скомандовал себе Иванов.

Он сел за стол и потасовал карты, налаживая телепатическую связь между Москвой и Певеком. Соседка уселась напротив, подперла голову ладонью и, впившись глазами в карты, окаменела, ожидая. Только вена пуль-

сировала у нее на виске,— вот и все, что было в ней живого.

— Итак...— повторил Иванов и вдруг остановился, не зная с чего начать.

А казалось, чего проще,— мели, что взбредет на ум, да раскидывай, как попадя, карты. Но вот когда настало действие, из головы будто выдуло все до единой идеи,— хоть покати шаром, не мозги — пустые полки.

— Мне необходима информация,— наконец осенило Иванова.— Все о вашем сыне. Год рождения. Кем работает. Характер. Семейное положение.

— Год рождения?.. Ему будет тридцать... Как раз на Покрова... Он припозднился у меня,— пояснила баба Нюра, доверчиво заглядывая в глаза Иванову.

«Не у нас, у меня»,— отметил Иванов. Значит, лучше и не заикаться об отце ее сына, история, должно быть, деликатная для женского стыда.

— Тридцать, а все ходит в парнях, словно некуда привесть жену,— продолжала баба Нюра.— Я, говорю, уеду к сестре, в Яхрому, живите, заводите ребят. Вон сколько девок здоровых. А он смеется: какая мне нужна — еще не родилась на свет.— Старуха не выдержала, сама расплылась в улыбке.

— А как он очутился в этом Певеке? Что его заставило уехать?

— А ничего. Непутевый, вот и завербовался. Хочу, говорит, приятного с полезным. И на мир, говорит, поглядеть и зашибить, говорит, монету на «Жигуль». Как он там нынче? Узнать бы. Сон был плохой.— Она провела ладонью по глазам.

— Это мы сейчас и узнаем,— без недавней уверенности пообещал Иванов и слабо воскликнул:— Итак, поехали!

Он выбросил на стол шесть карт, одну за другой, приговаривая:

— Для вас... Для дома... Для сердца... Для семьи... Ээ-э, Э-э... Ме-ме... Ме-ме... А-а, А-а...

Баба Нюра ловила каждое его слово, положив локти на стол, ни дать ни взять маленькая послушная девочка. За партой.

— Так...— произнес Иванов и заблуждал пальцами над картами.— Что было, что будет... О! Чем сердце успокоится! Кажется, так?

— Так, так. Мне бы хоть немного,— встрепенулась старуха.

— Баба Нюра, ш-ш-ш...— предупредил Иванов и выбрал восьмерку червей.

Мог бы взять и другую карту, любую, один леший, какую, да остановился на этой. А что с ней делать? Что еще говорила цыганка тогда, в его теперь уже отдаленном детстве? Не цыганка — местная женщина... Ее привели в заводской барак с окраины города к одной из жилиц. У той будто бы неизвестно куда утек муж, оставил записку: «Прости. Не ищи...» Летний вечер был душен, и гадалка витийствовала в палисаднике, как раз под их окном. Вокруг сколоченного из досок стола, на который она метала карты, собрались болельщицы,— женская половина барака. Он, Иванов, худосочный подросток с большой, вытянутой тыквой головой, с хохолком на затылке, наблюдал сверху, навалившись грудью на подоконник. Гадалка раскладывала карты (кажется, парами, следует это учесть!) и сопровождала каждый ход заклинаниями, похожими на заученные фразы из книг...

Иванов добавил к червовой восьмерке шестерку бубен и, предъявив карты бабе Нюре, многозначительно известил:

— Нечаянный разговор!.. Ну так и есть. У нас ведь с вами разговор и незапланированный, верно? Значит, нечаянный... Посмотрим, что дальше.— Иванов скинул еще две карты и взял девятку треф, картинок он, и сам не зная почему, пока избегал.— Казенный дом!.. Помнится, вы говорили, Василий — шофер? Значит, это его автобаза. Как видите, мы приближаемся к вашему сыну.

В дверь коротко стукнули и, не дожидаясь разрешения, в комнату вторгся коренастый плешивый мужчина в заношенной кожаной куртке некогда черного цвета,— хозяин, сдавший комнату Ивановым. Его распирало от сдерживаемого смеха, он раздулся, как пузырь.

— Говорят, здесь читают судьбу?— спросил он игриво и подмигнул Иванову.

— Да вот..!— радостно подтвердила баба Нюра.— Ты садись. Места хватит!

— Артур Кузьмич,— подал голс Иванов.— Вы нам, как бы сказать, мешаете. Я потом к вам зайду. И погадаю вам.

— Мне?— испугался хозяин.— Не надо. Понял. Ухожу.— И выставив как щит, широкие темные от въевшегося машинного масла ладони, ретировался, закрыл за собой дверь.

— Так он же сосед.

Старуха попыталась заступиться, но Иванов прикрикнул:

— Баба Нюра! Кто гадает? Вы или я?

— Ты, ты,— поспешно заверила старуха и обескураженно притихла.

«И впрямь я развел церемонии. Скорее к цели»,— подстегнул себя Иванов.

— Он каков, Василий? Брюнет? Блондин?

— В отца весь. Темненький. Такой же.

Иванов сбросил несколько карт. На спину лег и с достоинством уставился в потолок вальяжный трефовый король. Василий? Ну уж нет, этому типу в пору не скипетр и держава, а кружка пива в одну лапу и в другую вяленый лещ... Валет ему в самый раз... Хотя бы этот. Тоже из масти треф... Ну чем не искатель приключений? Лихо заломлен берет, в глазу нахальный огонь, и левый фатоватый ус короче второго. Иванову казалось, что он таким и представлял сына бабы Нюры.

— А вот и он, собственной персоной. Ваш сын! Жив и невредим!

— Неужто Вася?— вспыхнула, засияла баба Нюра, потянулась через стол к валету.

— Можете убедиться сами.— Иванов вручил карту, довольный легким успехом.

— Да разве это Вася?— ахнула баба Нюра.— Тут кто-то другой!— И поспешно вернула валета, будто карта обжигала пальцы.

— Он! Он!— Иванов зачем-то пытался всучить карту старухе, а та прятала руки за спину.

— Да не он! Не он! Сейчас я тебе покажу.— Она, словно только и ждала повода, кинулась к облупленному комоду, любовно принесла, положила перед Ивановым фотоснимок.— Вон он какой, Василий-то!

Иванов был разочарован. Скуластый бабкин сын не соответствовал образу лихого авантюриста. Простоватый Василий таращился куда-то, за плечо Иванова, видать, добросовестно ел глазами точку, которую обозначил в пространстве фотограф: смотрите сюда!

— Смешно думать, будто карта и снимок это одно и то же,— пристыдил Иванов и себя, и соседку.— Баба Нюра, валет — ипостась вашего сына, его карточный символ.

— Э-э-э, у символа-то твоего... у... как ее.. ипостаси этой усы, а Вася без них...— в тон ему хмыкнула ста-

руха, мол, ее не проведешь.— Усы, говорит, ростят те, у кого большой нос. Чтоб скрасить!

— При чем тут усы?— подосадовал Иванов.— Символ может отращивать все, что ему заблагорассудится. Хочет быть толстым, худым, с коротким носом, его право. Смотрите!— Он разбросал по столу остаток колоды, нашел червового короля, но тут же его отложил (нет, он не ставит себя выше старухиного сына, не высокомерен) и взял бубнового валета.— Мы похожи?.. А между тем это я!

— Ой! Скажешь!— Баба Нюра прыснула в иссушенный кулачок.

— Да, да,— жестко подтвердил Иванов.— Так принято считать. И мы с вами будем считать. Нравится нам или нет. Это я, а это...— Он снова вооружился трефовым валетом.— Василий.

— И берет я такой ему купила, а он говорит: «носить, мама, не буду, я,— говорит,— не желудь»,— пробормотала старуха.

— Баба Нюра! Я не навязывался в гадалки! Вы попросили сами. Даже вынудили меня! А коли так, молчите и слушайте!— рассердился Иванов.

— А я и слушаю, слушаю,— заверила старуха.

С таким трудом налаженная система доказательств рухнула, поистине, словно карточный дом! Ради какого лешего он затеял этот балаган? Мало ему своих забот?

— О чем я? Видите, сбили... Так вот, это Василий... Вместе с червовой десяткой...— Иванов положил десятку рядом с валетом.

А что они вместе означают? Знать бы...

— Милый, дак меня не интересует символ. Дай ему бог здоровья. Ты мне скажи: как сын?

— Это одно и тоже! Что символ, что сын! Это он! Он!— зарычал Иванов, срываясь, тыча пальцем в карту.

— Тебе помочь?— раздался голос вошедшей без спроса жены.

На его разум вдруг, точно цунами, накатила, захлестнула волна ярости.

— Я же сказал: справлюсь сам!— закричал он на Машу.— Я же просил не мешать! Пожалуйста, выйди! Захлопни за собой дверь!

— Я... я...— У Маши от потрясения слова застряли в горле.

— Я сказал «пожалуйста»!— зарычал Иванов, поднимаясь.

— Ухожу, ухожу.— Маша, пятясь отступила за порог, закрыла дверь.

— Конечно, я так не должен был...— пробормотал Иванов.

Взрыв отчаяния, накопившегося за все месяцы, после ухода из школы, отрезвил его.

— Ничего, ничего... В семье не без этого,— сказала баба Нюра, утешая, разве что не погладила по голове.

— Я просил... и все-таки не следовало... Думаете, она поймет и простит?

— Поймет, поймет. Все будет ладно,— пообещала старуха.

— Спасибо.— Иванов перевел дух.— Будем дальше?

— Ты гадай,— разрешила старуха.

— Значит, это Василий,— повторил Иванов и выжидающе посмотрел на старуху.

— Он, он,— согласилась баба Нюра.

— Валет и десятка... и особенно червей... означают интерес... Денежный интерес! Тут и «Жигули», и прочее такое... Кажется, сходится?

— Сходится, сходится,— с готовностью подтвердила баба Нюра.

Иванов непроизвольно покосился на снимок и на этот раз нашел в чертах Василия нечто приятное. «В сущности открытое, доброе лицо. А то, что хочет завести «Жигули», даже похвально. Кому, как не шоферу сидеть за рулем собственной машины?»

Гадание робко тронулось с места и снова покатилось под горку, постепенно набирая темп. Иванов поднял семерку пик.

— Что тут у нас?.. Хлопоты!.. О чем же он хлопочет?.. Посмотрим, посмотрим... Ага!.. Ваш сын, надо сказать, не калымщик, не рвач. Его девиз: и себе, и в первую очередь государству!

— Он такой. Все отдаст,— поддержала баба Нюра.— Только бы не пил.

— Об этом после... Значит, что произошло?— Иванов незаметно увлекся.— Он придумал очень ценное усовершенствование для мотора... Я не знаю что именно. Но что-то связанное с экономией бензина... Это мотор вот,— Иванов показал шестерку пик.— Надо сказать, у них там, на Севере, с горючим большой перерасход. Его бы, Василия, за смекалку носить на руках, но...— Иванов разыскал пикового туза,— но директор базы оказался ретроградом!

— Ах ты, господи!

Иванову почудилась некая искусственность в ее вздохе, но он отнес ее на счет бабкиной темноты. Не знает слова, и потому не ведом ей производственный конфликт, в который влетел Василий.

— Ретроград — это человек, боящийся всего нового. Будучи таким, директор сунул предложение под сукно. Ваш сын ткнулся туда, написал сюда, да всюду то ли директоровы дружки, то ли те, кто зависит от его автобазы. Следовательно, хлопоты оказались не просто хлопотами, а хлопотами пустыми. Семерка бубей означает пустоту, тщету!

Бабка Нюра, сокрушаясь, качнула головой.

«Молоток, Иванов! Она верит! И теперь схватит все, что ни дай!»— похвалил он себя, тряхнув студенческой стариной.

— Но производственный конфликт только полдела!— предупредил Иванов.— Роковая любовь! В прошлом веке — графиня. В нашей действительности разведенная продавщица из ОРСа.— Он предъявил даму пик.— Она отвернулась от вашего сына в трудный для него час! Так Василий был отвергнут руководителем и предан любимой женщиной!

«Не слишком ли я?— одернул себя Иванов, но старуха Нюра слушала, глядя ему в рот, будто речь вели о постороннем человеке.— Ну и нервы у бабки! Видно, зря мы за нее боялись».

— Отчаявшись,— продолжил он зазвеневшим голосом,— ваш сын бросился на берег океана. Вот океан! Девятка треф! Да, баба Нюра, сон вас не обманул. Бедняга решил свести счеты с неудачной жизнью. Короче: утопиться!

— Неужто сам?— усомнилась баба Нюра.

— Он был во хмелю... Я забыл сказать, что Василий еще до этого завязал со спиртным, но теперь, потеряв голову, снова обратился к зеленому змию... Спокойно, баба Нюра, спокойно,— на всякий случай призвал Иванов.— Мы-то с вами знаем: зима, океан Ледовитый. Верно, баба Нюра, знаем?

— Чего ж тут не знать!

— Толщина льда... несколько метров. Это он забыл сгоряча... Так вот, пока Василий долбил лед каблуком, новый секретарь горкома, а в город приехал новый секретарь,— Иванов выбрал червового туза,— решил ознакомиться с городом. Когда он завернул на автобазу,

простые водители обступили его кольцом и поведали все как было. И как Василий предложил свое рац, и как директор не дал ему дороги. Выслушав народ, секретарь поддержал вашего сына и велел его разыскать и доставить на автобазу. Кто-то из водителей видел, куда бежал ваш сын, влетел, не мешкая, в кабину самосвала и привез Василия со сломанным каблуком. В итоге предложение было внедрено, директора сняли с работы.— Иванов обратил пикового туза вниз лицом.— А Василий из рядовых шоферов стал старшим механиком гаража.— Иванов убрал трефового валета, а на его место положил короля той же масти.— Теперь он солидный, ваш сын. Что касается бороды, не обращайте внимания. Есть борода, нет бороды. Это как на карнавале.

— А ему нравится борода. Возьму, говорит, и отпущу. Она, говорит, согревает кровь. Ту, что в голову течет. Потому, говорит, все ученые с бородой.

— Тогда,— произнес Иванов, чрезвычайно довольный собой,— чем мы...

— Погоди!— перебила, забеспокоилась старуха.— А ты-то сам? Неужто все валет?

— Видно, еще не дорос до королей,— улыбнулся Иванов.

— Дорос, дорос! Ты своего-то положи, куда надо.

— Если вы настаиваете,— растрогался Иванов и с удовольствием заменил бубнового валета королем.— Нус, чем мы закончим нашу историю? Торжество вашего сына было бы неполным, не вернись к нему с повинной пиковая дама, мол, прости. Но Василий указал ей на дверь!— Иванов увлекся и воспроизвел жест бабкиного сына.

«Хм, по-моему, это готовый рассказ»,— открыл Иванов с приятным удивлением.

— Впрочем, обо всем он расскажет сам. Восьмерка — известие, письмо. Да что письмо?! Здесь дама бубей и сразу две семерки. Свидание! Баба Нюра, вас ждет скорое свидание! С сыном! В отпуск ли, совсем ли, но он, голубчик, заявится домой собственной персоной. И вы утешетесь этой встречей. Все!— Иванов утомленно откинулся на спинку заскрипевшего стула.— Ну, баба Нюра? Как тут?— Он положил ладонь на свою грудь.— Поспокойней?

— А как же. Ты вон сколько наговорил. Лица на тебе нет,— посочувствовала старуха.

— Пустяки. Главное, чтоб вы спали без этих кошмаров. Будете спать? Только честно!

— Буду, буду. Ступай, милый, отдохни.

— Если понадоблюсь, не стесняйтесь. Я карты в руки и к вам,— пообещал Иванов, собирая колоду.

— Не бойся, я позову. Иди.

Когда Иванов вышел в коридор, у него мелькнуло смутное подозрение: не обменялись ли они со старухой ролями? Не она ли утешала его? Но Иванов отбросил эту мысленку прочь. Устал, вот в голову и лезет всякая чушь. Распахнув дверь, он с порога протрубил, возвестил:

— Можешь меня поздравить. Одержана виктория! В душе у бабки штиль и божья благодать!

Маша сидела на постели, к нему спиной, смотрела в окно.

— Представь! В благодарность она произвела меня из валетов в короли! Ты не спишь?— Он подошел к жене, тронул за плечо.

Машу передернуло от головы до пят, она вскочила на ноги, закричала, будто он ее ударил:

— Убери свои руки! Они в моей крови! Пусть не буквально. Пусть это всего лишь метафора, но я все равно тебе не прощу! Ты на меня повысил голос! Впервые за нашу совместную жизнь! А я пришла тебя спасти! Может, я буду вести дневник, как... как Софья Андреевна Толстая! А ты выставил за дверь, словно какую-нибудь... словно какого-нибудь репортера из бульварной газеты!

Маша всплакнула перед его приходом, тушь на ее ресницах растеклась вокруг глаз. Жена походила на сердитого енота.

— Машенька, извини,— покаялся Иванов.— Но и ты представь мое состояние. Я лезу из кожи... она не верит, и вдруг ты...

— Ладно,— вдруг легко отступила Маша.— Я тоже не теряла время даром. Во-первых: позвонила маме. Этот участковый, словно клещ, опять приходил по твою душу. Но мамулька оказалась на высоте, отбрила как надо: мол, ты устроился в универмаг. Вахтером.

— Почему именно вахтером?— невольно уязвился Иванов.

— Наверно, первое, что пришло в голову. Универмаги — мамин пунктик. А что ты там можешь делать? Толь-

ко сторожить... Но успокойся. Думаешь, участковый отстал? Ему, зануде, вынь да положь документ!

— Да какой универмаг выдаст мне справку?— горестно воскликнул Иванов, снова осознавая себя человеком, который уже раз преступил закон.

— Универмаг не даст, но нам он больше не нужен. Я не растерялась и тут же звякнула Светке. Помнишь, такая рыжая? Я еще с ней училась в одном классе?.. Сейчас она секретаршей в ателье. Порадей, говорю, для мировой литературы. В общем, она справит бумагу. Теперь ты мастер по плиссе и гофре!

«Господи, второе правонарушение»,— холодея подсчитал Иванов. К его ногам легла кривая скользкая дорожка, ведущая на дно общества. Оттуда, клубясь, поднимался смрадный пар.

— Да, совсем забыла,— донесся издалека, наверное, с воли, голос жены.— Мама переправила тебе телеграмму, но не успела прочесть. Неужели там поумнели? Интересно, какой журнал?

— От родителей телеграмма,— откликнулся Иванов.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного. Опять то же самое: жив ли, здоров, почему не пишу,— сказал Иванов, а перед глазами стояло другое. Он только что на нарах проиграл чью-то жизнь. Ему в потную ладонь вложили острый финский нож и велели: убей вон того человека. Человек обернулся, а это он сам — Иванов.

СЛАВНЫЙ ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

Они еще недвижимы, стеклянные двери, что турникетом. С улицы висит табличка «Кафе закрыто», и всем грамотеям понятно: соваться неслед. Но один растоптай полез. То ли он близорук и печатные буквы малы ему, что микробы, то ли он просто из тех растерях, которым хоть вешай аршинные слова перед носом, проворонят все равно. Словом, он вошел в стеклянные двери, двинул их от себя, они повернулись, а растоптай начал между ними биться, точно муха в стекло, пока они вертелись. Его там мотало, как в прозрачной банке, а потом выбросило в вестибюль. Он вылетел из турникета запущенным камнем и быстро пошел по кривой.

Но тут его встретил швейцар Геннадьич. Он давно

приметил эту траекторию, по которой вылетают клиенты, и сидит стеной на самом перепутье. Сколько ни юркай, Геннадьич всегда на пути, возвышается столбом на стуле, и нет тебе хода, не юли А белая борода у него салфеткой на груди, будто он готов обедать.

Так вот, Геннадьич встал и заслонил ему дорогу бородой.

— Вам куда?— спросил он для проформы, потому что было ясно, куда тот и зачем, этот растоптаюшка.

— Это самое... обедать,— сказал посетитель, видно, он сам хорошенько не знал, что ему нужно, и догадался только теперь, наткнувшись на Геннадьича.

— Обедать,— повторил он, сам изумляясь, и показал, как будет черпать ложкой суп.

— Рано. Прогуляйтесь,— сказал швейцар категорически и перестал обращать внимание, повернулся к нему спиной, будто и нет растоптая, а только одно пустое место,— он это умел, Геннадьич,— великий пропал артист.

Растоптай покраснел, пролепетал что-то виноватое и бестолково выехал в турникете на улицу.

— Зря ты его,— пожалел Кулибанов, сотрудник мужского туалета.— Ну и пусть проходил бы. Осталось пять минут, и пока туда-сюда, в туалет, и, глядишь,— время подоспело.

— Не могу, Кулибаныч,— развел руками швейцар,— сам знаешь, начальство станут ругаться: куда, мол, так рано пустил. А он от тебя никуда не денется, все равно сюда придет. Одна ему дорога.

Но они оба были неправы. Гардеробный Борисыч так и сообщил им прямо.

— Он, может, к тебе и не пойдет, Кулибаныч. Есть они очень терпеливые. Этот, видно, из таких. И потом он, может, еще пользуется общим полотенцем, тоже нет гарантии,— сказал Борисыч первому.— Но вот то, что он был в плаще, другое дело. Плащ-то снимают всегда. Смекаешь, Геннадьич?— сказал Борисыч швейцару.

И тут прибежал администратор.

— С ума сошли! Пять минут первого, а вы никого. Ничего себе, план горит с первой минуты.

— Это мы сейчас,— сказал Геннадьич, не моргнув, пошел, снял табличку, и администратор убежал на кухню.

Едва швейцар убрал табличку, как с улицы тотчас же кто-то вошел. Это был все тот же растоптай.

— Можно?— спросил растоптаюшка.

Геннадьич даже и слова не молвил, кивнул и все,— мол, так и быть, проникай, пока я в духе. Он, Геннадьич, вылитый дореволюционный адмирал Макаров, и растоптай рядом с ним размером с мошку. Геннадьич кивнул и перестал замечать клиента. Такая у него педагогика. Он приучает к трепету с первых шагов.

— Спасибо,— сказал растоптай и попер прямиком себе в зал. В руке у растоптая пузатый портфель, не то набитый бумагой, не то его надули воздухом, и, того гляди, он зашипит и лопнет. Чистый командировочный этот растоптай. У Борисыча глаз наметанный на разных людей, как на птиц у охотника.

— Куда в плаще? У нас в плаще не положено,— напомнил ласково Борисыч. В гардеробе свой подход к клиенту. Борисычу без нежности нельзя.

— Ах, извините,— испугался растоптай и покраснел, точно девушка.

— Ничего, случается,— успокоил Борисыч по-отечески, и тот взглянул благодарно.

И Борисыч приступил к работе: обтер тряпочкой его портфель, заботливо и медленно, чтобы растоптай запомнил это, и выдал ему номерок. Затем поправил жестяную баночку из-под карамелек. Она предназначена для чаевых и хоронится под стойкой. Лежит под рукой,— не надо тянуться, и не смущает публику. В баночке еще пусто, но лиха беда начало. «Вот он уже гривенничек пришел»,— подумал Борисыч, ласково оглядывая растоптая.

А того перехватил Кулибанов.

— Руки станете мыть?— спросил сотрудник и так строго посмотрел, будто растоптай сроду ходил с грязными руками.

— Разумеется,— быстро сказал растоптай и опять покраснел, побоялся, дескать, сочтут неряхой.

— Правильно. Гигиена — прежде всего. Перед едой умывайте руки,— ответил Кулибанов.— Прошу.

Растоптай начал спускаться вниз по ступенькам, а Кулибанов пошел за ним, приговаривая:

— А я вам чистые салфетки. Белые и совсем как накрахмаленные. Не салфетки, а сахар. Вот увидите сами.

«Будет дождик или нет?»— подумал Борисыч про себя с беспокойством.

— Мы-то свое наверстаем,— говорил между тем Ген-

надьич,— вот вечер придет с дождичком, и народ повалит валом. Никуда он, дождь, не денется. Весь будет у нас. Только бы дождик пошел. У нас им сухо. Музыка.

— Погоди, не сглазь, дождя-то нет. Возьмет и пройдет стороною,— сказал Борисыч.

Когда очень хочешь, чтобы случилось то, что тебе нужно, надо делать вид, будто не веришь в это, и тогда обманешь судьбу. Она подстраивает все наоборот, и тут ей хитрая ловушка. И Борисыч, исходя из такого расчета, махнул рукой, дескать, куда там хлипким тучкам.

— Не пройдет. Здесь осядет до единой капли,— заверил швейцар.

И точно — за окном назревали события. Тучки кое-как собрались воедино, их темная масса постепенно разбухала. Но воды наверху еще не хватало.

— Чу, еще одна птичка,— заметил Геннадьич.

Но это появился скульптор Медведев. Сейчас он окопается за столиком в углу и уйдет самым последним. И так у него каждый день, кроме санитарных. Иногда Борисыч пытался представить, как же обходится Медведев в санитарный день, когда закрыто кафе. Но не мог ничего придумать, даже приблизительное найти. И когда он служит,— Борисыч ума не мог приложить. «Я,— говорит Медведев,— вкалываю по ночам. Такая у меня привычка».

— Наше вам!— приветствовал Медведев.— Нуте-ка, по порядку. Люстра на месте? Горькая в наличии, а?— сегодня он был чем-то возбужден, в глазах его прыгали веселые бесенята.

Ему ответили сообща и по порядку, в каком он спросил. Люстра висит себе и кресла все наперечет, куда им деться. Что касается горькой, никто не помнит случая, когда б ее не было.

— Тогда заступаю на пост,— сказал Медведев в шутку.

Тут Борисыч не выдержал и пожаловался:

— Андрей Васильич, дождик бы.

Втайне Медведев казался ему тем человеком, который может все.

— Понимаю, но помочь не могу,— сказал Медведев,— силы такой еще не набрал,— и сокрушенно развел руками.

Из туалета показался растоптай, за ним шагал чем-то недовольный Кулибанов.

— Дизентерия — болезнь,— говорил ему в спину Кулибанов, продолжая какой-то разговор.

Медведев бросил на стойку плащ и пошел вслед за растоптаем в зал.

Борисыч повесил плащ и с надеждой взглянул на двери. Но они стояли неподвижно, застыв от собственной тяжести и, казалось, ничто не сдвинет эту дубовую мощь.

— В Краснодаре ну и ливень был. Потоп на той неделе. От племяшки письмо получил,— оповестил Кулибанов, разрушая тишину.

— Ничего,— сказал Геннадьич,— будет и у нас. А они хоть и не из сахара, но дождь их загонит сюда прямиком.

Раза три в вестибюль выходил растоптай. Он разомлел от тепла и пищи, его веки покраснели и слипались, отчего растоптай все время таращил глаза. Он звонил в гостиницу «Киев», интересовался броней. Видно, ему обещали устроить ночлег, и звонил он не в третий раз и, может, не в пятый. Поэтому растоптай вначале долго извинялся. Но это ему не помогло,— места как и не было. Он криво улыбался Борисычу, будто ему было неудобно за свое невезение, и уходил обратно в зал. Но потом, оказалось, растоптай не по тому телефону звонил. «Киев» с «Минском» спутал, одну столицу с другой. Борисыч посмеялся до слез, а потом его вдруг беспокойство взяло. Ведь так закрутится растоптай и забудет гривенник дать. А этого Борисыч допустить не имел права. Конечно, не все ему гривенники вручали. Вот хотя бы скульптор Медведев, тот деньги лопатой гребет, но однако не только что от него гривенник получить, он сам еще у тебя трешник прихватит на такси без возврата. Но к ним Борисыч требований не имел — значит, такие люди. А вот растоптай был другой породы. У него не взять— отступить значит, в жизни поражение потерпеть.

У входа по-прежнему царил унылый покой. Лишь изредка лениво шевелились оббитые медью двери, пропуская с улицы случайно залетевших одиночек. У тех был настороженный вид, словно здесь их поджидала ловушка.

И тут начал уходить растоптай.

— Поеду в гостиницу сам,— сообщил он, протянув номерок,— покараулю прямо там. В холле есть кресла, сяду и буду сидеть. Может, кто-то уедет. Люди ведь не

только прибывают, но возвращаются домой. Правда?— спросил он, будто его успех зависел от Борисыча.

— Ну, конечно. Самый верный способ. Вам-то должны в первую очередь. Безобразие! Человек приехал в командировку и без гостиницы,— сказал Борисыч, возвращаясь с его плащом и шляпой.

Борисыч положил шляпу на стойку, расправил плащ так, чтобы оставалось только сунуть в него руки, и вышел с ним к растоптаю.

— Я сам,— застеснялся растоптай, покраснел и взялся за плащ.

— Ничего, ничего,— успокоил Борисыч и стиснул плащ покрепче.

— Я младше вас и здоровый мужчина,— сказал растоптай и потянул плащ к себе.

— Пустяки. Я очень рад. И с удовольствием,— возразил Борисыч.

— Мне все равно неловко,— твердил свое растоптай.

Плащ натянулся, и швы тихонько затрещали, но Борисыч держал его, не уступая. Была близка минута, когда растоптай должен был испугаться за плащ и разжать свои пальцы, к тому Борисыч и вел. Но тот, видно, не представлял, на что идет, на то, что может остаться без плаща, и вдобавок в чужом городе, и Борисычу пришлось отсупить. Лопнет плащ, потом не оберешься хлопот. Возьмет, да настрочит жалобу. Так растоптай завладел своим плащом и стал одеваться, поставив в ноги портфель.

Но для Борисыча еще не все было потеряно. Он взял растоптаеву шляпу и начал обмахивать щеткой.

— Не утруждайтесь, она совершенно чистая,— заужасался растоптай и вырвал шляпу.

Проделал он это скоро, застав Борисыча врасплох. Он оказался более проворным, чем следовало ожидать. Тогда Борисыч подошел к растоптаю и все-таки снял с его плеча пушинку.

— Ой, что вы?— замахал тот рукой.— Даже неловко.

«Вот и воздай. Экий недогада!»— подосадовал Борисыч про себя, а вслух произнес, помогая растоптаю:

— В карманчике-то ключи звенят? Так и выпасть могут.

— Ключи? Не может быть! Я их в чемодан спрятал... А впрочем...— растоптай встревожился, полез в карман

и достал полную горсть меди и серебра.— Нет, это не ключи,— сказал он, вздохнув облегченно.— Это мелочь,— и, смеясь, показал Борисычу.

«И теперь одну протяни»,— мысленно подсказал Борисыч.

Но растоптай не догадался, небрежно сунул деньги в карман и поднял с пола портфель.

«Неужели так и уйдет?!»— испугался Борисыч и в отчаянии поискал, что еще предпринять.

Но все средства уже были исчерпаны.

— Спасибо вам! До свидания! Доброго вам всего!— заговорил растоптай, начиная удаляться задом к дверям.

И тут в вестибюль вошел милицейский старшина, громогласно спросил:

— Ну как, отцы? Нарушений нет?

— Да вот он,— неожиданно даже для самого себя пожаловался Борисыч, указывая на растоптая.

— Гражданин, в чем дело?— строго спросил старшина растоптая.

— Я? Я ничего!— удивился растоптай.

— Напился и ведет себя,— быстро солгал Борисыч, стыдясь, сожалея о содеянном, да отступать уже было некуда.

И к тому же на помощь ему поспешили Геннадьич и Кулибанов. Когда растоптай жалобно вскрикнул:

— Я не пью!

Они в один голос возразили:

— Как же, как же. И выражался при этом.

— Да он не совсем...— начал было заступаться Борисыч, да старшина сказал:

— Пройдемте, гражданин, там разберемся.

И увел с собой ошеломленного растоптая.

— Нехороший человек! Ручки-то вымыл, да вытер общим полотенцем, заразой. На салфетку пожалел,— осудил его вслед Кулибанов.

— А он чего? И вправду того?— спросил Геннадьич и щелкнул себя в бороду.

— Эх, погорячился я!— признался Борисыч.

— Ну ничего. Не пил, так отпустят,— сказал Геннадьич, желая утешить.

И Борисыч то же самое решил подумать. А потом наступили всякие события, и он вовсе забыл о растоптае.

Тучи нависли за окном, как полные мешки с водой, у них брезент набух, стоит легонько надавить — и польется. А затем, будто город накрыло плотным платком,—

стало темно. На улице дунул понизу ветер, погнал под ногами бумажки да пыль. Он дунул вторично, а затем еще и еще. Потом асфальт покрылся черными кляксами. Люди побежали врассыпную, кто куда, словно им показали нечто страшное.

— Па-ашел, милый,— сказал Кулибанов задрожавшим голосом.

— Давай, родимый, ну-ка, припусти,— подзадоривал Геннадьич.

Тут будто на миг включили все лампы дневного освещения, бульдозером прокатился гром, расчищая дорогу к земле. За ним притихло, даже бумаги на асфальте с опаской неестественно застыли, оборвав свой бег. И хлынул дождь. Прохожих разом замело в подъезды, и только мокрые блестящие автомобили гнали во всю мочь, отфыркиваясь брызгами.

— Ну, вот и зарядило,— сказал Кулибанов.— Теперь тебе, Борисыч, таскать не перетаскать плащи.

Едва он умолк, скрипнули двери, и в вестибюль шмыгнула первая парочка. Вода с них катила в три ручья. Они отряхнулись, фыркая по кошачьи, подняв водяную пыль.

И закипела работа — народ повалил с улицы толпами. Кулибанов давно скатился к себе в туалет, а швейцар стоял у дверей и каждый раз, когда они совершали оборот, делал слабое движение кистью руки, словно они подчинялись ее мановению. Он выглядел тут главным, и на него, входя, посматривали, спрашивали глазами «Можно?» А Геннадьич еле шевелил бородой. Смотреть на него было удовольствие, оторопь брала.

У стойки гардероба быстро накопилась очередь. Только успевай принимать плащи и зонты. Но Борисыч исполнял работу молодцевато. Особенно ему нравилось приговаривать, вручая номерок:

— Пожалуйста!.. Пожалуйста!..

— Борисыч, ну как житуха? Мне без номерка,— сказал какой-то нахал, строя из себя знакомого.

Он протягивал без очереди плащ из иностранного материала. Плащ шуршал и радужно переливался, будто пленка нефти. А этот тип подмигивал, на что-то намекая. Но Борисыч терпеть не мог нахалов, отправил его в конец очереди и еще потом продержал в назидание.

— Около шести заиграл оркестр, и кутерьма завертелась. Потом вышел где-то пропадавший администратор и сказал:

— Кворум полный. Геннадьич, ставь плотину.

— Это мы счас,— ответил Геннадьич и повесил табличку: «мест нет», словно отсек тех, кто еще не успел войти.

А в двери лезла новая мокрая публика, и Геннадьич начал стращать ее бородой. И народ,— ну точно малые дети,— торопливо попятился назад.

А дождик лил, войдя во вкус. Его монотонный шум прорывался над головами штурмующих. На улице зажгли фонари, и публика снаружи заблестела от воды, отражая электрический свет. Красотища была неописуемая. Борисыч глядел бы век, не отрываясь.

И в этот прекрасный момент через служебную дверь вошел уже знакомый милицейский старшина. Борисыч вспомнил о растоптае, будто весело шел и ни с того, ни с сего наткнулся на что-то. Но старшина тотчас вернул ему отличное настроение, сказав:

— Ошиблись вы, отцы. Трезв он, этот гражданин. Проверяли. Да, видно, нет худа без добра. С гостиницей ему помогли. Устроили на Тишинском рынке. Лопух он большой, ну и пожалели его.

«Вон как все обернулось!— удивленно обрадовался Борисыч.— Выходит, если б не я, ночевать на улице растоптаю?!»

И душе его стало и вовсе легко и празднично. Изумительный получился день!

Толпа за дверьми вздрогнула, забурлила,— кто-то взрывал ее внутри. Первые ряды разомкнулись, из плотных глубин вынырнула внучка Борисыча. Геннадьич оплошал, и Сашка пролезла под его рукой в вестибюль, но ей было этого мало. Того, что она очутилась в тепле и под крышей.

— Они со мной,— сказала она вызывающе и потянула за собой девчонку и двух длинноногих ребят.

Геннадьич посмотрел растерянно, а Борисыч пока не нашел что сказать. Между тем Сашкина компания, используя панику, начала стаскивать плащи. Наконец, Борисыч собрался с духом.

— Да как ты...— принялся он было за Сашку.

Но она оттащила его в сторону и зашипела.

— Не смей позорить всенародно! Что же нам — мокнуть на улице, да? Ты этого хочешь? А потом будет грипп с осложнением. Я стану глухой. Вот что нужно тебе? Чтобы я пропустила семестр в институте. Ты этого добиваешься? Да?

Борисыч думал медленно, и ей это было на руку. Она сама повесила плащи, а деду, уходя, показала кончик яркого языка.

Публика сразу загалдела, закричала на разные голоса:

— По блату пускаете, ха? За взятки, да?

— Граждане, это персонал,— нашелся, отбрил Геннадьич.

Борисыч почувствовал затылком чей-то напряженный взгляд. С той стороны окна, расплющив нос о стекло, на него уставился незнакомый человек. Встретившись с Борисычем глазами, он предъявил новенький рубль. Борисыч погрозил пальцем. Честно заработать он — пожалуйста, но взятки брать — увольте. Но тот не унимался, всевозможно искушая. Он вертел рублем так-этак. Всячески манил, словно перед ним был котенок.

Тогда Борисыч отвернулся спиной и стал думать о другом, гоня искушение прочь. И некстати подумал о левом колене. Оно заломило сразу, едва вспомнил о нем. Колено бы сразу помазать, но мазь, составленная женой, находилась дома — за тридевять земель. Ее бы иметь с собой, тогда бы нырь в туалет, натер и порядок, но изволь каждый день потаскай двухлитровую банку, а в меньшей таре, бабка говорит, нельзя. Пропадет вся сила и не будет итогов, утверждает благоверная.

«Дождь пошел, вот оно и заныло. От дождя»,— догадался Борисыч и не без сожаления подумал, что так уж получается, что добро и зло ходят под ручку, прав милицейский старшина. Но уж ради дождя Борисыч был согласен терпеть и не это. Да и что колено по сравнению с таким замечательным дождем?

Наконец он нашел подходящие слова для внучки. «В твои-то годы я пас свиней,— скажет он Сашке,— а ты, понимаешь, с кавалерами в кафе».

Слегка прихрамывая на левую ногу, он пошел в зал и остановился у двери. Публика постепенно брала разгон, жужжала себе.

Среди этого разгула так и бросалось в глаза лицо Медведева, красным пятном. За столом скульптора, как всегда, сидели бородатые студенты. Геннадьич их не любил, и презрительно фыркал, когда они приходили. Он считал их выскочками из-за бороды, а те очень странно прозвали Геннадьича «битником». Что это означает — никто не знал в вестибюле, во всяком случае, Геннадьич

пока еще никого не бил, да и не в том он пребывал возрасте, чтобы заниматься таким баловством.

Борисыч поискал взглядом внучку.

Сашка устроилась возле оркестра. Мест, в общем-то, не было, но официантки усадили ее вместе с компанией за служебный стол. Сашка с подругой лизали из ложечек мороженое, а их еще желторотые тонкие кавалеры важно отпивали черный кофе из чашек и, шурясь, курили дешевые сигареты.

Все Сашкины кавалеры вызывали у него чувство настороженности. Он считал, что молодые люди ужасно распустились, и все время ждал неминуемой беды.

«Ишь, целый день, наверное, в футбол гуляют, а теперь черное кофе пьют».

То, что они сосали черный кофе,— было ему совсем не понятно, и оттого вызывало подозрение.

После паузы заиграл оркестр, и Сашка пошла танцевать со своим кавалером. Кавалер взял ее за талию, и Борисыч невольно сказал:

«Но-но». Сашка, видно, почуяв, глянула в его сторону. Борисыч отвел глаза, сделал вид, будто бы очень интересуется одной сердитой парочкой.

Полненькая женщина упрекала худого, плохо бритого мужчину, а тот хмуро молчал, только нервно дергал коленом. И дергал он, наверное, незаметно для себя в такт оркестру. Борисыч исподтишка, стесняясь, посмотрел на колено женщины. Оно виднелось из-под подола юбки в виде белого полумесяца, и тоже отбивало такт. Тогда Борисыч взглянул на свои ноги, они сами притоптывали под оркестр без его на то позволения...

— Папаша, с нами рюмочку,— окликнули люди, которых он видел впервые.

Он почти не пил и в выходные, может, полстакана в праздник, а на работе и вовсе ни-ни.

— Ни-ни,— так он и ответил им.— Я на службе!

Но один в очках не поленился, встал и подошел, покачиваясь. От него густо несло спиртным.

— Мы просим, батя,— сказал он, улыбаясь, а глаза его сквозь очки казались круглыми и выпуклыми.

— Ни в коем случае!— отрезал Борисыч, но ему льстила настойчивость этих людей. Уважают!

Ему кивали и другие, звали: «Борисыч, с нами посиди». Он казался себе всеобщим баловнем-любимцем. Все его ласкают, а он кокетничает, избегает, еще не с каждым сядет за стол.

Но что-то мешало празднику быть полным, что-то маленькое, незаметное, точившее внутри. Он вначале счел это беспокойством за внучку. Однако, слава богу, танцу пришел конец, и Сашка вернулась за стол живая и невредимая, а заноза по-прежнему тихонько сидела в груди.

Часам к десяти публика пошла по домам. И первым, поразив вестибюль, навострил лыжи скульптор Медведев. В зале еще гремел оркестр, еще горели все люстры, и кухня принимала заказы, а скульптор вышел трезвый, как стеклышко, и подал номерок.

— Что так? Андрей Васильевич, неужто это ты?— не поверил глазам Борисыч.

— Все! Хорошего понемножку,— ответил Медведев и, взяв из рук Борисыча плащ, протянул ему как бы взамен десять рублей одной красной купюрой.

Борисыч разом пришел в себя, с достоинством отвел руку с десяткой:

— Ни в коем случае!

— Ну, ну, Борисыч, великий день у меня. Очень важную работу закончил. Бери, бери, пока не передумал,— наступал Медведев на него.

— Все равно ни в коем,— твердо повторил Борисыч.

— Гордость, значит?— догадался Медведев.—Ну тогда внучке на гостинец возьми. Внучка у тебя, говорят?

— Это другое дело,— согласился Борисыч и, взяв червонец, сунул его в карман.

Медведев как бы подал пример, за ним домой потянулись остальные. Борисыч одевал уходящих и складывал гривенники в баночку. Когда появилась Сашка, он предупредил:

— Ну, погоди, стрекоза ты этакая, до дому. А теперь садись, дожидайся. И никаких провожатых. Вместе пойдем, вот что!

Говоря это, он следил искоса за очередным клиентом. Тот подошел навеселе, мурлыча песенку, протянул номерок и подставил руки для одежды, оттянул назад их, будто решил прыгнуть в речку. Борисыч напялил плащ на его негнувшиеся руки и сказал ласково:

— Вот и все. Носите на здоровьичко.

— А?— сказал клиент.— Ах, да, спасибо.

И пошел к зеркалу. Там он вертелся, вытянув шею, и все еще что-то напевал для себя приятное. От него пахло портвейном, а отсюда в зеркале его физиономия каза-

лась кривой, словно одна половина съехала немного набекрень от удали.

— Сашка,— сказал Борисыч вбок, не отрываясь глазами от клиента,— Сашка, смотри: без меня ни шагу. Сядь в сторонке и сиди.

Клиент подозрительно долго вертелся перед зеркалом. «Ничего, этот просто у меня не уйдет»,— уверенно решил Борисыч, и, ускоряя события, заговорил с клиентом сам:

— Погодка-то ничего.

— Погодка?— переспросил клиент.

— Погодка,— многозначительно повторил Борисыч.

Клиент перевел свой взгляд на Борисыча и будто что-то вспомнил.

— Ах, да,— сказал он и полез в карманы.— Погодка, говорите?— пробормотал он, достал монетку и, не глядя, протянул Борисычу.

— Благодарю,— сказал Борисыч, зажав кулак с монетой, из-за деликатности даже не посмотрел на ее стоимость.

— Не за что,— буркнул клиент и ушел.

Борисыч поднял кулак и разжал его: на ладони лежал двугривенный.

— Сашка!— строго позвал Борисыч.

Но пока он тут старался, ее и след простыл. Исчезла с кавалерами.

— Ну, погоди у меня, вертихвостка.

В одиннадцать еще держались там-сям последние завсегдатаи. Официантки ставили креслица на столы, а завсегдатаи еще балаганили, исчезая поштучно и так постепенно исчезли все.

— Ну и мы по домам, до завтра. Теперь бы еще заснуть без лекарств,— сказал Геннадьич, а за окном шелестел зарядивший дождь, по стеклу бежали зигзагами крупные капли.

Борисыч спрятал баночку в пиджачный карман и надел меховую безрукавку и плащ. Ноги он обул в крепенькие калоши. А с головы укрылся кепкой и зонтом. На случай сырости у него всегда припасена полная защита. В жару-то похуже. От нее не денешься никуда. Живешь, как на сковородке, ну что пойманный окунь.

Но сегодня был славный дождливый день. Борисыч постоял в подъезде, втягивая носом холодный воздух,— мелкая водяная пыль щекотала ноздри,— и зашагал по мокрому тротуару.

На бульваре он сел в троллейбус. В машине светло и тепло, мотор так уютно гудит, нагоняет приятную дремоту.

В троллейбусе был он, да одна спокойная семейка. Они сидели лицом к Борисычу, тихо себе болтали. А на коленях у мамы покоился малыш. Его тянуло в постель, он продирал глазенки, но те слипались ни в какую не хотели смотреть. Борисыч подмигнул и состроил рожки. Малыш вылупил глаза и уставился на Борисыча, а тот показал ему козлика. Малыш наклонил головенку набок.

На своей остановке Борисыч вылез. Дождик был тут, как тут, словно старый дружок. Они так и двинулись рядышком.

Из-за угла вывернул полуночный грузовик, резанул колесом большую лужу, едва не обрызгав Борисыча. И Борисыч весело подумал, что дождику можно было бы и угомониться теперь. Сделал свое и будя. А он, такой озорник, этот дождик, все стучит и стучит по крыше зонтика. Борисыч пожурил его, притворяясь сердитым.

До подъезда уже подать рукой. Он войдет, а там, конечно, Сашка с кавалером. И опять с другим. Бабка ей говорила и так и этак:

— Разве можно менять каждый день кавалеров? Это, внучка, срамота.

— А если ни один не нравится, вот и выбираю,— ответила Сашка, и возьми ее в оборот после этого, не ухватить, такая верткая.

А это последний перекресток. Он шагнул далеко с тротуара на полную ногу и спохватился, подумав о колене. И постоял, выжидая, готовый ко всему. Но колено притихло само собой, без бабкиной помощи. Везло сегодня — спору нет. И как тут не замурлыкать песенку при таком настроении. «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться». Он немножко задыхался, легкие не те — не для пения на ходу. В его возрасте выбирай одно из двух: или пой, или двигай руками-ногами. Но у него такое было состояние, и почему бы не попеть тихонько, только слов из этой песни он знает мало, те, что спеты выше, и еще: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Но и этого достаточно для пения. Кому как, а ему хватало вдоволь. А дождик по зонтику тук-тук. И у Борисыча на душе совсем хорошо стало.

И вдруг в ней что-то снова заворочалось, слегка поскребло. «Да что это может быть, такое неспокойное?»—

подумал Борисыч. И понял: унес растоптай гривенник свой. «Ему с гостиницей помогли. А он гривенник унес, чудило»,— укорил его Борисыч.

«ЖИЛИ У БАБУСИ...»

Случилось чудо...

Но перед этим я включил бритву «Харьков» и начал скрести щеки и подбородок, косяя правым глазом на окно.

Электрическая машина монотонно гудела, создавая уют, свойственный веку науки и техники.

«И куда же мы нынче пойдем? И что будем делать?»— промурлыкал я элегически, и вот тут-то чудо случилось: средь белого дня, в центре краевого города, в мое окно влетела лиса, объятая великолепным рыжим пламенем.

Коснувшись лапками пола, она стремглав нырнула под кровать, и... точно ее и не было.

Бритва жужжала в моей ладони, словно пойманное гигантское насекомое, а я смотрел на кровать и думал, что для белой горячки и диковинных зрительных галлюцинаций у меня вроде бы нет никаких оснований. Утвердившись прочно на спасительной точке зрения, я выключил бритву, и чуточку оглохший от ее грома, опустился на четвереньки и заглянул под кровать.

Да, это была она — настоящая живая лиса. Она прилегла на лапы в дальнем углу и оттуда посматривала на меня блестящим лукавым глазом.

Я сел на пол по-турецки и, пытаясь разрешить тайну появления лисы, вспомнил, как на чьих-то именинах, когда зашел модный нынче разговор о кошках и собаках, бросил вызов любителям домашней живности, изрек что-то в этаком роде:

— Да разве это общение с природой?! Они, собаки и кошки, горожане, как и мы! Я вот лично... если уж заводить, взял бы в дом только дикого зверя. И более того! Пусть самого завалящего, но обязательно хищника!..

И точно, с улицы донесся иронический голос одного из моих знакомых:

— Старина, благодарности потом!— за окном прозвучали холодный смех и быстрые удаляющиеся шаги.

Он наказал меня за неосторожное слово, подбросил бомбу замедленного действия. Но я еще не знал этого и

был почти по-детски счастлив. Подумать только: у меня появилась собственная живая лисица! Эта дурочка считала себя надежно укрытой от постороннего глаза. Но мое воображение видело ее, пушистую рыжую, во всей полагающейся лисицам красе.

Для начала я решил высказать своей гостье несколько гостеприимных ободряющих слов. Лиса, конечно, не дельфин, но кто знает, кто знает...

— Мэрилин!— Мне почему-то казалось, что у лисы должно быть заграничное имя, может, потому, что она явилась к нам из иного мира, из-за некой границы.— Мэрилин, а ну-ка вылезай,— приказал я, ложась на живот перед кроватью.

Лиса весело махнула по полу роскошным хвостом, но не сдвинулась с места.

— Ну что же ты, Мэрилин? Иди сюда, будем знакомиться... Ну, ну, будь умницей... Ах, мы гордые!.. Ладно, я не гордый.— И я самоотверженно полез под кровать.

Мэрилин грациозно выбежала на середину комнаты и посмотрела на меня, словно приглашая к игре.

Я вылез из-под кровати грязный, точно половая щетка, и, стряхнув с колен толстый слой пыли, распутав на голове сетку из паутины, двинулся на лису, говоря:

— Уж я сейчас дотронусь до тебя. Уж я сейчас тебя поглажу.

Кожа моих ладоней предвкушала тепло ее густого меха.

Видимо, Мэрилин выросла среди людей, она ни капельки не боялась меня. Лиса делала вид, будто дается в руки, но в самый последний момент плавно ускользала прямо из-под моих пальцев и отбегала ровно настолько, чтобы не лишать ловца надежды на успех. Так мы забавлялись около получаса, и я радовался самозабвенно, как в далеком детстве, когда не было никаких забот.

А затем очаровательная Мэрилин показала мне, чем лесной зверь отличается от домашнего животного. Я легко пожурил и проказницу, и себя за то, что сразу не устроил подходящее место, и, сходив в прихожую за веником и совком, восстановил на полу прежний порядок.

— Так дело не пойдет. Сейчас приготовлю песок и ящичек, и тогда...

Но Мэрилин не стала ждать, и мне пришлось взяться за тряпку, так и не закончив тираду.

Потом, все еще сохраняя отличное настроение, я вышел во двор. В лицо мне ударил желтый солнечный

свет, я на миг зажмурил глаза и, открыв, увидел наш крошечный тихий дворик, Федоровну, стоявшую у своих дверей вместе с дочерью, недавно вышедшей замуж за инженера и жившей теперь в новом районе города.

Сейчас она убеждала в чем-то мать, активно жестикулируя, а та возражала с виноватым выражением на кругленьком морщинистом лице.

Я прошел в свой сарай, разыскал среди хлама старый посылочный ящик, набил его землей и отправился в обратный путь. А Федоровна и ее дочь все так же стояли у дверей и тихо и горячо говорили.

Я сделал им ручкой, и они улыбнулись. Федоровна широко, светясь лаской, а дочка с еле скрытой досадой. Видимо, ее уговоры и на этот раз пропали впустую. Вот уже месяц она упрашивала мать перебраться к ней на квартиру. Но Федоровна не поддавалась, будто скала. А я у них был вроде невольного третейского судьи.

— Это же форменный эгоизм,— говорила мне дочь,— когда считаются только со своими удобствами. А нам как быть? Приходишь с работы... ну муж еще туда-сюда, разве что за газету... а мне то это, то еще что — стирка, обед. А мы еще, слава тебе господи, молодые люди. Нам хочется в театр, нам хочется в кино. Но мама этого не понимает.

Все такое высказывалось тайком от матери, а потом я выслушивал другую сторону.

— Скучает она без меня. «Переезжай, говорит»,— с гордостью докладывала Федоровна и затем на лицо ее опускалась забота.— А как переезжать-то? Тут я свободная, в своем уголку. Живу себе на пенсию. Хочу — посплю. Хочу — покушаю. Маленькая пенсия, а мне много и не надо, хватает. Вот еще глину возьму да печку подмажу и все будет хорошо. А там я не хозяйка. И зять потом... боюсь его. Строгий зять. Очки носит...

С помощью мимики я выразил дочке свое соболезнование и поднялся на крыльцо, неся перед собой ящик.

Я поставил его перед Мэрилин, но она сейчас же им пренебрегла. Взобравшись на стул, лиса с любопытством следила, как ее владелец, подавляя в себе протест, возится с тряпкой. По комнатам забродил резкий запах, совершенно не вяжущийся с красотой моей жилицы.

— Не падай духом,— сказал я себе,— может, поймет что к чему. Словом, для чего этот ящик. Не дура в конце концов.

Устроив мощный сквозняк, я вышел во двор и присел на каменное крыльцо.

— Дочь-то ушла?— спросил я у Федоровны.

— Ушла, ушла. Жалко больно ее, все скучает,— сказала Федоровна.

Она вооружилась малярной кистью и, макая ее в тазик с разведенной известкой, мазала до синевы стены своего приземистого дома.

— М-да, жизнь,— заметил я философски.

— И Пушка с собой не позволяет,— произнесла Федоровна, продолжая не то вчерашний, не то бог знает какой древности разговор.— Куда его дену? Старый уже.

Матерый кот Пушок лежал на крыше сарая, положив тяжелую рыжую башку на широкие лапы, и не мигая смотрел перед собой зелеными глазищами, глубоко безразличный ко всему, что происходило вокруг.

— Все-е понимает. Только не желает сказать. Ишь, думает. Важный,— произнесла Федоровна с почтением.

По-моему, она робела перед своим котом, словно бы тот имел ранг участкового или техника-смотрителя. У Пушка и в самом деле был солидный вид. При встрече с ним ты невольно подбирался, настолько суров и испытующ был его тяжелый взгляд.

Наверное, Пушок презирал нас, остальных жителей двора, за сытый безмятежный образ жизни. Сам он временами исчезал за несколько дней и возвращался со следами героических битв, и тогда Федоровна врачевала его, используя опыт, полученный в давнюю пору, когда она работала уборщицей в аптеке. Она возилась с Пушком, а кот снисходительно помалкивал. Если ему становилось больно, он грозно шипел, и Федоровна оправдывалась на полном серьезе:

— Пушок, так тряпица коротка. Нету другой тряпицы...

— Вот скажу ему: «Пушок, а Пушок, пойдем жить к дочке». А он скажет: «Что ты, Федоровна, не пойду. Не сойдусь с твоим зятем характерами»,— сообщила Федоровна, продолжая водить кистью.

— Не скажет. Кошки лишены дара речи,— возразил я, поднимаясь.— Возьмите за шкирку, и пойдет как миленький.

— Не пойдет, лучше помрет. Они с зятем самолюбивы оба. Ни один ни за что не отступит от своего.

Когда я вошел в квартиру, здесь стоял плотный

запах зоопарка, и мне стало ясно, что идиллии пришел конец.

— Все, Мэрилин! Пойдем во дворец пионеров. Там уж такой присмотр, гадь сколько угодно,— сказал я решительно и, расставив руки, двинулся на лису.

Наши возможности были неравными. Имея на своей стороне разум самых высших млекопитающих, я заманил Мэрилин куском колбасы в тесную прихожую и, закрыв предварительно дверь, схватил лису в охапку.

— Не мне же выселяться на улицу, подумай сама,— заявил я притихшей лисе и вышел с ней во двор.

Сердце Мэрилин учащенно билось в мою ладонь. Из-под моей руки свисал удивительной роскоши хвост.

— Батюшки!— воскликнула плотничиха Ивановна.

Она сидела на табурете возле дверей. Сам плотник Кузьмич привалился спиной к косяку и курил папиросы «Беломорканал», следя за кольцами дыма. Он так и застыл, выпустив очередное кольцо и оставив губы трубочкой.

Когда порыв изумления схлынул, плотничихе стало смешно.

— Михалыч, да у тебя лиса,— сообщила Ивановна, прыская в ладонь.

— Михайлыч, где достал-то?— осведомился плотник деловито, желая показать, что он не чета слабонервным женщинам.

— Подарили друзья.

— Чего это они? День ангела?— понимающе продолжал Кузьмич.

— Просто пошутили.

— Бывает,— серьезно согласился плотник, давая понять, что он исчерпал свои вопросы и вполне удовлетворен итогами нашей беседы.

— А зачем тебе лиса, Михалыч?— спросила плотничиха, еще не насмеявшись.

— Да вот... В общем-то, незачем.

Только теперь я заметил Федоровну. Она подошла откуда-то сбоку и зачарованно глядела на лису.

— Красавица-то какая,— промолвила она, сбросив с себя оцепенение,— пышная-то какая,— повторила она, умиляясь, и голову склонила набок, разглядывая лису, по лицу ее разбежались морщинки.

— Красивая-то она красивая,— сказал я в отчаянии,— Да, понимаете, спасу нет...

И я рассказал о хлопотах, доставленных мне прекра-

сной Мэрилин, приглашая соседей засвидетельствовать перед моей совестью, что у меня нет иного выхода, как отнести лису к юннатам.

— Ну конечно. Она и семейным обуза, а тут нашла кому. Холостому мужчине,— покачала головой плотничиха, уже поглядывая на лису враждебными глазами.

Плотник тоже одобрил мое намерение, сказав:

— А ну ее, Михалыч. Знаешь сам: баба что? Слезла с телеги, кобыле и легко.

— А ты бы ее в сараюшечку. Я бы и глядела за ней. Дети там, во дворе, еще малые небось. За самими нужен присмотр,— предложила Федоровна вдруг.

Я взглянул на теплую притихшую Мэрилин и понял, что предам ее, если не испытаю последний шанс, и направился к сараю, сопровождаемый плотником и Федоровной. Плотничиха воздержалась от участия в церемонии, как бы говоря этим, что ей-то известно, чем это кончится.

Плотник, деловито сосредоточась, распахнул двери, и Мэрилин прыгнула в сарай.

— Ну вот и все хорошо,— сказала Федоровна с облегчением.

Довершив туалет, прерванный появлением лисы, я оделся в выходной костюм и с легким сердцем ушел на свидание с очень симпатичной женщиной. Домой я вернулся поздно и только проходя мимо сарая вспомнил о Мэрилин. Во дворе уже висела устоявшаяся тьма, окна были черны — мои соседи спали крепко и давно, с первых сумерек. Для них день кончался и впрямь с заходом солнца.

Я подошел к сараю, поскреб по шершавым доскам и, не получив ответа, отправился спать.

На другое утро мы встретились около сарая. Федоровна сидела в дверях на перевернутом ящике и напряженно смотрела в сарай. Не оборачиваясь, она ответила на мое приветствие и добавила, кивнув на невидимую мне лису:

— Хитрая больно. Того и гляди, обманет. Я уж ухо-то, ох, как востро держу!

— Да что вы, Федоровна! Знаете, сколько весит мозг лисицы? Во много раз меньше нашего,— заметил я, смеясь.

— А мы и сами поболе,— нашлась Федоровна и добавила:— А уж как она хитра, всем известно. И в книжках об этом пишут.

— В каких это книжках?— и мне не поверилось, будто наша Федоровна читала Брема.

— Да в разных,— сообщила Федоровна, немного смутясь.— Ну, в этих... так и пишут, какая обманщица лиса. Все норовит провести.

Ах, вот оно что! Федоровна простодушно верила народным сказкам, и моя Мэрилин была для нее не просто лисой, а кем-то вроде Братца Лиса или Лисы Патрикеевны, которые, как всем известно с детства, только и занимаются тем, что водят за нос доверчивых людей и зверей. Ну, с такой особой, конечно, нужен глаз да глаз.

— Приходили те. Говорят: «Зачем завели живую лису? Она же потаскает наших кур»,— сказала Федоровна и, посмеиваясь, кивнула на заднюю стенку сарая, за которой проходила граница соседнего двора.

— Вряд ли. Этакий пол не подроешь.

Я имел в виду пол, выложенный кирпичом.

— Она все может,— возразила Федоровна многозначительно.

А Мэрилин, словно испытывая старушку, игриво высунула острую мордочку из-за старого кресла.

— Глядит,— таинственно прошептала Федоровна, стараясь не упустить ни одного движения лисы и при этом обмирая в ожидании подвоха.

На ее лице проступили следы утомления, и я понял, что соседка уже с рассвета находится начеку.

На второй день Федоровна и вовсе изнемогла, стала белей стены своего домика, она с утра до темноты старалась не оплошать с Мэрилин, и эта неусыпная бдительность истощила ее последние силы.

А вечером во дворе появилась делегация тех, кто втайне от закона разводил в наших окрестностях домашнюю птицу. Я показал делегатам дружелюбную мордочку Мэрилин, каменный пол и прочные стены сарая. Но городские птицеводы ушли еще в большей тревоге.

Жалея здоровье старушки и свой собственный покой, я на третье утро отвлек внимание Федоровны, сгреб Мэрилин в охапку и отнес во Дворец пионеров.

Вернувшись после обеда домой и встретив печальный укоризненный взгляд Федоровны, я, почему-то нервничая и чувствуя себя без вины виноватым, объяснил, что Мэрилин отдана в хорошие руки. Старуха выслушала меня с сомнением и, собрав в узелок гостинец, пошла проведать лису. Она долго ходила по коридорам дворца, но

так и не смогла толком объяснить, кому передача и при чем тут лиса, и принесла узелок домой.

Но вскоре привычные заботы вернули ее жизнь в прежнее русло. Я видел в окно, как снова к ней приходила дочь и снова убежала, зло бормоча что-то под нос. Затем вышла Федоровна, посмотрела вслед дочери виновато, а заметив меня в окошке, начала оправдываться, повторяя в какой уже раз:

— Там-то я буду сама не своя. Тут себе хозяйка. Хочу посплю, хочу покушаю. А зять, ух, обидчив! Я-то ему теща. Да и Пушка они не возьмут. Говорят, вредный.

Так и потекли остальные осенние дни, теплые и тихие. Виноград, ползущий по стене моего дома, начал терять листву, оголяя свои узловатые сухие щупальца. Листья застелили двор и, еще не успев засохнуть, смягчали шаги...

Однажды в такой замечательный осенний день и вдобавок воскресный я вышел во двор размять мышцы, задубевшие от долгого сидения за письменным столом, и застал своих соседей в полном сборе. Они, точно воробьи на телеграфном проводе, сидели на бревнах, которые плотник привез к зиме на дрова и еще не успел распилить. Их компанию украшала дочка Федоровны, пристроившаяся рядом с плотничихой.

— Михайлыч, посиди, дополни общество,— позвал плотник.

— Вот и скоро зима. Кухню белить надо. Да руки заняты,— говорила дочка Федоровны с намеком.

Мы невольно взглянули на Федоровну, и та сконфузилась, готовая провалиться сквозь землю.

— А у вас-то, Федоровна? Все готово к зимовке?— спросил я намеренно.

— Текет... Крыша текет,— оживилась Федоровна.

Дыры в крыше снимали с нее обвинение в беспечной, полной равнодушия к другим жизни. И тут уж дочке нечем было крыть, она молча проглотила эту пилюлю.

— Теперь тебе, Федоровна, один путь, в жилищно-эксплуатационную контору,— предрек Кузьмич.

— Ходила, чего там, ходила. Ты, говорят, Федоровна, железо купи, а мы уж тебе и покроем. А на что купить-то его?— спросила Федоровна, будто гордясь своими неудачами.

Мы занялись нуждами Федоровны, все, кроме ее надувшейся дочки, и тут-то плотничиха произнесла роковые слова:

— А ты, Федоровна, купи трех гусей. Откормишь к рождеству, вот тебе и на железо деньги.

Эта идея пришлась по душе Кузьмичу, и он вместе с женой начал прикидывать, какие несомненные выгоды сулит затея с тремя гусями.

Плотник и плотничиха сейчас же подсчитали, что птицу можно кормить отбросами со стола, и, значит, ее содержание не стоит ни копья. Дочка Федоровны и та навострила ухо, а потом вовсе оживилась, вставила свое словечко.

— А почему бы тебе и впрямь не заняться гусями?— обратилась она к матери.— Одного подаришь нам под самый праздник, остальных на базар. К новому году гуси в цене, знаешь небось сама.

— Да вроде бы оно и так, а вроде и не знаю уж как,— пробормотала Федоровна, радуясь и робея перед новым занятием.

Посудачив еще и окончательно постановив, что все-таки кормить Федоровне гусей, как ни крути, соседи разошлись по домам. А через день до меня донесся приглушенный гогот. Я выглянул наружу и увидел, как Федоровна развязала терпеливо трепещущий мешок и выпустила на белый свет троицу тощих обозленных гусей.

— Живые, страсть,— подытожила Федоровна.

Отныне с утра до вечера гуси толклись во дворе, хищно кидаясь на все, что могло быть подозреваемо в съедобности. Но стоило Федоровне скрипнуть дверью, и гуси оголтело неслись к своему деревянному корытцу, ненасытная надежда желудка редко подводила их. Чаще всего вслед за скрипом на порог выходила хозяйка с кастрюлей, где плескались остатки обеда.

Вылив густое месиво в корытце, Федоровна отходила в сторонку и наблюдала заботливо за тем, как гуси молотят оранжевыми клювами по кусочкам картошки, хлеба, а то и от жадности по дну корытца.

— Едят, поправляются. А худенькие-то были какие,— говорила она с гордостью врачевателя, который одержал победу над чужим недугом.

Поправившись, гуси стали жиреть, прямо-таки на глазах набирали товарный вес. Их движения утратили присущую им раньше стремительность торпед, птицы бегали тяжело, переваливались с боку на бок. Но ненасытная утроба, как и прежде, не давала им покоя, они неустанно жрали, жрали...

И наступил момент, когда плотничиха Ивановна, вый-

дя во двор, глянула на гусей пристальней обычного и молвила:

— Резать!

— Кого это, Ивановна?— испугалась Федоровна.

— Да гусей же! Сейчас их резать самая пора. Потом твердым будет мясо. Да и рождество вот,— напомнила плотничиха.

— Да как же это? Я их поправила, а теперь и резать? Вот те на!— удивилась Федоровна.

— Ты что, Федоровна? Угорела? Забыла, зачем покупала гусей?— Развеселилась плотничиха.— Михалыч, ты слышал?

— Так зачем я отхаживала тогда? Если резать?— пролепетала Федоровна.

Она растерялась, заморгала часто-часто, будто ее ослепил неожиданный яркий свет. А плотничиха, поняв, что Федоровна несет такое в здравом уме, рассердилась, перешла в наступление.

— Ты для денег отхаживала. Для чего еще? Правда, говорю, Михалыч?— обратилась Ивановна ко мне за поддержкой, ох и не вовремя меня вынесло на подоконник.

— Я ведь, сами понимаете, в таких делах...

Я заслонился неведением, точно щитом, и ушел в глубь комнат.

— Да вспомни сама. На продажу ты их кормила, на продажу! Крыша у тебя текет,— повторила плотничиха за окном.

— Так оно, Ивановна, так. Текет крыша,— удрученно согласилась Федоровна.

— Вот и режь их топором,— приказала плотничиха твердо. Ее голос удалился в прихожую, сказав что-то еще напоследок, и дверь гулко хлопнула, как бы запретив Федоровне возражать,

— Ишь ты! Глядела, глядела за ними,— пожаловалась Федоровна самой себе.

Под вечер за Федоровну взялся сам плотник. Наслушавшись от жены за обедом, он вышел во двор и, поковыряв в зубах языком, стал строго допрашивать:

— Что же ты, Федоровна? Гусей резать пора, а ты, понимаешь, чего?

Федоровна в этот момент, как бы совсем некстати, кормила своих гусей. Услышав требовательный голос плотника, она так и застыла над корытцем с опорожненной кастрюлей.

— Как же их резать, Кузьмич? Живые они. Сам погляди: вон как едят,— произнесла она, зашевелившись.

— Ну и что, живые? Нельзя, Федоровна. Вот и Михайлыч говорит,— внушал Кузьмич, ссылаясь на меня, хотя я принял меры и еще до его появления надежно укрылся за плотной оконной занавеской.

Несмотря на усиленное давление плотника и плотничихи Федоровна все-таки не решилась резать, не сделала она этого ни на второй, ни на десятый день, и гуси разгуливали по двору в самом что ни на есть живом виде.

— Ай, мясо стареет. Жестчает мясо-то,— приговаривала плотничиха и осуждающе покачивала головой.

На пороге нового года к нам начали подбираться холода. По ночам иногда морозило, и потом в трещинах кирпичной дорожки все утро держалась пленка льда. Так было и в тот день, когда дочка Федоровны пришла за гусем.

Раскалывая ледяную пленку своими острыми каблучками, дочка Федоровны проследовала прямо к гусям и здесь задержалась недолго. Ее палец деловито побродил среди гусей и затем решительно уткнулся в самую толстую птицу. Это скупое действо означало, что выбор совершен. После чего женщина нырнула в квартирку матери, вывела Федоровну за руку на порог и указала перстом на выбранного гуся.

Остывающий прохладный воздух вынудил меня закрыть окна. Из-за стекол голоса почти не были слышны, и о дальнейшем развитии событий я мог судить только по жестам их участников.

Федоровна сморщилась и, заискивающе заглядывая в дочкино лицо, что-то произнесла. Дочь опешила поначалу, всплеснула руками, и по ее резко шевельнувшимся губам я понял, что она сказала:

— Не смеши меня, мама!

Затем она говорила долго и горячо, удивляясь себе попутно, потому что приходилось доказывать истины, очевидные всем. Федоровна повторяла ей виновато одно и то же, одно и то же. Потом у дочери иссяк запас доказательств, она убежала к плотничихе и вернулась оттуда, видимо, со свежим аргументом. Она курсировала между матерью и плотничихой, пока у нее не лопнуло терпение, и в обед она ушла, так и не добившись своего.

Этот день стал прямо-таки испытанием для хозяйки гусей. Ее дочь еще, наверное, ждала на остановке трам-

вая, когда калитка снова распахнулась, и во двор вступила сухощавая дама с пуританским лицом и в официальном почти мужском черном пиджаке. Левой рукой она внесла пухлый портфель, правой, свободной, вздымала над головой что-то мелкое белое. Мне из комнаты не было видно, что именно. Но я сразу понял, что это улика чего-то.

— Чьи гуси?— трубно осведомилась дама, и я с опозданием сообразил, что улика — гусиное перо.— А вот и они сами!— обрадовалась дама,— итак, я спрашиваю: чьи гуси?

— Мои они! Мои!— с тайной гордостью откликнулась Федоровна, подходя к даме.

— Санэпидемстанция!— известила дама весь двор.

— Очень приятно,— сказала Федоровна, лучась доброжелательностью и, отерев ладонь о фартук, неожиданно протянула даме.— А я Клавдия Федоровна.

Санэпидемстанция в некотором замешательстве пожала предложенную руку.

— Не вижу, что тут приятного,— так же трубно пробормотала Санэпидемстанция.— Вы же знаете, содержать домашнюю птицу в черте города нельзя. Запрещено законом.

— Да они хорошие, смирные,— горячо заверила Федоровна.

— Знаете, где я его нашла?— придя в себя, Санэпидемстанция снова вознесла над головой перо.— В квартале от вашего дома!

— Они больше не будут! Я сейчас все уберу! Возьму веник и уберу! А они больше не будут!— Федоровна засуетилась на месте, собираясь тут же сбегать за веником.

— Я обязана вас оштрафовать.— Санэпидемстанция подтянула портфель к животу, взялась за его замок.

— Так я сейчас заплачу. Вчера как раз пенсию взяла. Она у меня в комоде.— Федоровна снова засуетилась, готовясь теперь сбегать за деньгами.

— Подождите,— вновь смутилась Санэпидемстанция,— на сегодня я ограничусь устным предупреждением. Но в другой раз... Так что вы своих гусей уж куда-нибудь... Узнает милиция, ситуация будет куда сложней. Учтите!— Исполнив долг, Санэпидемстанция направилась к калитке.

— Неужто их постреляют?— ужаснулась вслед старуха.

Дама обернулась, на ее тонких аскетичных губах мелькнула улыбка.

— В милиции народ категоричный,— неопределенно ответила Санэпидемстанция и закрыла калитку.

Федоровна постояла в раздумье одна посреди двора и решила:

— Они не узнают!

Так гуси дотянули до конца старого года и благополучно вступили в новый. Старуха ходила за гусями по пятам, подбирая каждую улику — пушинку. А те, пережив отпущенный срок, словно вообразили о себе бог знает что и стали наглеть. Теперь, оказавшись на дороге человека, гусь не уступал ее, как бывало, а вытягивал шею, устрашающе шипел, и венец природы, ее чудо, не желая связываться с глупой птицей, сходил с выложенной кирпичом тропинки в грязь или лужу. Но гусям и этого было мало, они перешли к атакующим действиям и однажды до́ смерти напугали девушку, которая, по общему мнению, считалась моей невестой. Неземная, сотканная из голубого и золотистого, она открыла нашу калитку и целомудренно ступила красной туфелькой на кирпичную дорожку. И тут на нее с омерзительным гоготом налетела тысяча дьяволов. Когда я догнал бедняжку на остановке трамвая, она истерично сказала:

— Или я! Или гуси!

— Ну, разумеется, ты!— ответил я.

— А гуси?

— Ну что я с ними могу поделать?

Она села в трамвай, не попрощавшись, и больше я ее не видел. Так гуси беззастенчиво вмешались в мою судьбу...

Но рано или поздно возмездие настигает злодеев. Оно свершилось в тот час, когда окончательно распоясавшиеся гуси переступили магическую черту, за которой протекала личная жизнь кота Пушка, и на которую не решались посягать даже собаки. Я не был тому свидетелем, но случайные очевидцы утверждают, что гуси напали в тот момент, когда Пушок неторопливо лакал из жестяной банки свое, персональное, молоко.

Над местом происшествия поднялась белая метель из перьев и пуха, посреди которой заметалась Федоровна, она размахивала руками, ловила хлопья, чтобы те не попали на улицу. Двое бандитов, панически гогоча, разбежались в противоположные концы двора, а третий их соучастник остался на поле боя с перекушенной ла-

пой. Пушок, удовлетворившись местью, позволил охающей Федоровне забрать наказанную птицу, залез на крышу сарая и, послюнявив лапу, как ни в чем не бывало стал мыть за ушами.

С несчастного гуся слетело все чванство. Он притих на руках у Федоровны, его круглый обычно бессмысленный глаз был наполнен тем чувством, которое мы называем собачьей тоской.

Федоровна отнесла раненого в сарай и принялась хлопотать над поврежденной лапкой. Но та держалась всего лишь на узкой полоске кожи, и у нас, позванных на совет, родилось единое мнение: этот гусь отходил свое по двору.

— Хошь, не хошь, а уж теперь-то его резать придется,— заявила плотничиха, с плохо скрытым удовлетворением.

— Жаль не тот, не самый большой,— простодушно заметила дочь, чудом оказавшаяся к месту, и, спохватившись, пояснила:— Чтобы не мучился, не страдал зря!

— Да, уж теперь ничего не поделать,— кивнула Федоровна, стараясь показать дочке и плотничихе, что и она все понимает.

На том мы и разошлись. Минут двадцать спустя ко мне заглянула Федоровна с дочкой.

— Она, видите ли, не может! У нее, видите ли, не поднимается на гуся рука,— сказала дочь с усмешкой.— Не слушается, говорит, рука. Не хочет!

— Дышит он, вот рука и не идет,— словно бы даже радуясь, подтвердила Федоровна.

— А почему не вы сами? С вашей-то молодой и здоровой нервной системой?— спросил я у дочки, с тревогой догадываясь о цели этого визита.

— Система — да. А руки?— возразила дочка и выставила передо мной блистающий маникюр, уже будто бы окровавленные пальцы.

— С такими ногтями как-то действительно,— и я почувствовал, что предупредительный маневр мой сорвался и меня загоняют в угол.

— А завтра на работу с утра. Когда уж тут к парикмахеру?— добавила дочь, укрепляя свои позиции.— Возьмитесь-ка, Михайлыч, за это дело. Столько разговору, а нужен-то один полноценный мужик.

— Вы льстите! Пожалуй, такое не по мне. Знаете, еще не приходилось,— сказал я, стараясь уладить все миром.

— Ну-ну, Михайлыч! Надо же когда-нибудь. И ножик острый есть, что еще нужно смелому и решительному мужчине?— усмехнулась дочь, пытаясь разбудить мое самолюбие.

— Ошибаетесь, нынче у мужчин другие интересы... ...Потом я занят!.. И вообще не могу... Нет, нет и нет!— отрезал я решительно.

— Видишь? И он не может,— промолвила Федоровна с торжеством.

— Ладно, пришлю Николая. После работы он и придет. Делов-то!

Зять Николай не заставил себя ждать долго. Жена накрутила его, то ли разожгла в нем инстинкт охотника, то ли сильные гастрономические чувства, только он пришагал еще до сумерек и был при этом заметно возбужден.

— А ну, где этот гусь?— еще от калитки выкрикнул он, с сарказмом произнося слово «гусь», может, эта птица олицетворяла кого-то из его врагов, жалких и ничтожных.

Зять Николай распахнул широко дверь в прихожую, оставил ее открытой, и потом было видно, как он тщательно скребет руки под умывальником, подражая хирургам, морщит нос, поправляя очки в тонкой золоченой оправе, и напевает вибрирующим баском: «Тореадор, тореадор...» А Федоровна суетилась вокруг него, словно зять собирался на войну, с которой мог и не вернуться.

Приготовившись, зять Николай выступил во двор в фартуке тещи и с засученными рукавами. В его белых волосатых руках боевито посверкивал широкий и чистый нож, но чувствовалось, что его уверенность теперь имеет искусственное происхождение. Подбадривая себя, он постоял у порога, поосматривался более чем того требовало предстоявшее дело. Видимо, уверял себя, что это сущий пустяк,— чикнуть разок ножом по тонкой гусиной шее.

— Ну-с, где он?— спросил Николай еще раз, затягивая время.

— Да в сарае он, в сарае,— сказала Федоровна, выглядывая из-за его спины.

— А сарай-то где?— промямлил зять, превосходно зная географию нашего двора.

— Да там он, где и был,— напомнила Федоровна, пугаясь и за гусей, и за Николая.

— Пошли!— произнес Николай рухнувшим голосом.

В сарае зять не продержался и трех секунд, вылетел пробкой.

— Черт знает что!— воскликнул зять.

— Не можешь,— сказала Федоровна, сияя.

— Да заберите свой дурацкий нож! Что я вам? Наемный убийца?— закричал Николай, раздражаясь.

Он торопливо, путаясь в рукавах, надел пальто и протрусил под моим окном. Его лицо корчилось в гримасах,— он отгонял от себя видения, ему, наверное, мерещился, преследовал, вился вокруг его головы обезглавленный гусь.

— Сама видишь, Ивановна. Не может никто. Потому что он живой, гусь,— сказала Федоровна плотничихе, вышедшей на шум, и развела руками, показывая, что спрос с нее не велик.

— Больно умный твой зять,— пояснила плотничиха, как бы осуждая выбор Федоровны.— Ты попроси Кузьмича. Он без затей... А-а сама поспрашаю,— добавила она, входя в азарт, и скрылась за дверью.

Кузьмич вышел на холод в рубахе, выпущенной из брюк, в руке его плетью уныло висел топор.

— Как что, так Кузьмич,— обиженно говорил плотник.— Федоровна! Ты бы сразу сказала, я бы с разгону и... все, и никаких разговоров. А теперь получается, что будто Кузьмич хуже всех?

— Так вы с Ивановной сами...— напомнила Федоровна.

— Правильно, сами. Гусь-то не наш... Ну ладно, Федоровна, только ради тебя.

Кузьмич вздохнул полной грудью и решительно зашагал к сараю, по дороге пробуя лезвие большим пальцем, точно настраивал струны.

Я поспешно захлопнул окно, увидев напоследок, как Федоровна и плотничиха тоже юркнули за свои двери...

На другой день я с головой ушел в суету, которая обычно предшествует длительной командировке, и все же подсознание выбрало время, сумело отметить, что с нашим двором происходит нечто странное. Сегодня ему недоставало того, без чего наш двор был просто немыслим. И лишь вечером, проносясь в двадцатый раз по двору, я увидел, как плотничиха кормит гусей, и сообразил, почему так пустынен наш двор.

— А где Федоровна?— спросил я, задержавшись.

— Где еще, сидит дома,— буркнула плотничиха, она сыпала корм, будто ее заставляли силой.

— Что с ней? Заболела?

— Ну ее! Выдумывает все,— сказала плотничиха с досадой и в сердцах удалилась домой.

Не вытерпев, я взглянул на темные окна Федоровны и заметил, как в их омуте всполошенно мелькнуло неясное лицо хозяйки. Будто она подавала знак, приглашая зайти.

— Михайлыч, ты не в магазин часом?— прошептала она, чуть приоткрыв дверь.

— Вам что-нибудь нужно?

— Купил бы и мне хлебушка заодно,— и она просунула в щель новенький двугривенный.

— Как вы себя чувствуете?

— Да здорова я, здорова,— ответила она по-прежнему шепотом.

— Голос-то у вас... Будто при ангине.

— Ничего голос, ничего.

— Тогда почему вы говорите шепотом?

— А как же? Услышат они.

— Кто именно?

— Да гуси же.

— Гуси?

— А ну как услышат? А мне стыдно.

— Перед кем стыдно? Перед гусями?— и я едва не заорал от изумления.

— Перед ними. Что я им скажу, а, Михайлыч?

— Ну-ка, впустите меня!

Она сняла цепочку и приоткрыла дверь ровно на столько, чтобы я смог ужом проскользнуть к ней в переднюю. Здесь, слава богу, горел свет.

— За что вам стыдно перед гусями?

— Да одного-то мы...— заключительное слово она не решилась произнести вслух.

— Ну, а при чем здесь остальные гуси?

— Так они все знают, Михайлыч! Как мне теперь перед ними?

— Никак, Федоровна, никак! Ничего они не знают, ваши гуси, и переживаете вы зря.

— Не знают?— тихо всплеснула руками Федоровна, — им известно все. И то... и это. Как им не знать, если все они видели сами?

— Ну и что из того? Зато ничего не поняли. Не могут они понимать! Не спо-соб-ны! Такая у них степень развития!

— Так и не способны?

Она взглянула на меня с подозрением, и я понял, что ее не переубедишь. Хоть ты разбейся лбом о стенку, она будет думать свое.

— Ладно, Федоровна, если иначе нельзя, наберитесь немного терпения. И мы пошевелим мозгами, что-нибудь придумаем сообща.

Я было взялся за дверную ручку, но тут некто, подобный ангелу-хранителю, заставил меня обернуться. На лбу Федоровны сидел комар, безобидный, вялый, дурной от осенней бессонницы, комар, привлеченный теплом человеческой кожи, и старуха уже машинально понесла к голове ладонь. Еще мгновенье, и она ненароком прибьет комара. А по углам да по щелям сидят усатые пучеглазые и многоногие свидетели, и вдруг перед ними Федоровне станет стыдно. Кто может теперь поручиться, что будет не так? Я изловчился и взмахнул рукой, опередил старуху, поднял комара.

— Михайлыч, что с тобой?— изумилась Федоровна.

— Рука затекла. Размялся!

После магазина я зашел к плотнику, и наш дворовый совет пришел к грустному выводу: пока гуси расхаживают по двору, Федоровна не сделает и шагу за порог. Так и просидит взаперти.

— Михайлыч, а сколько гуси живут?— забеспокоилась плотничиха.

— Где-то я читал, что у них первый выводок появляется только на третий год. Первый! Значит, они протянут еще лет семь.

Плотничиха ахнула, а я и Кузьмич переглянулись.

— Может, их все-таки?... Как того?— Кузьмич провел ребром ладони по шее и тут же себе возразил.— Но этого мы делать не будем. И у нас имеется сердце. Михайлыч, а может быть?..— и он указал глазами за окно, на калитку.

Я его понял и кивнул, соглашаясь. Плотник достал из чулана два пыльных мешка, и мы вышли во двор.

Гуси топтались перед сидящими низко над землей окнами Федоровны, и недовольно покрикивали — требовали есть. Мы отогнали гусей в дальний угол двора, за сарай, засунули их, отчаянно отбивающихся, в мешки, отнесли на базар и, не торгуясь, продали первому же подвернувшемуся жителю станицы.

— Пойдем выпьем... пивка, пивка,— поправился плотник.— По такому случаю надо, Михайлыч.

— Кузьмич,— сказал я с укором.

— За наш счет, за наш, не иначе,— возразил Кузьмич.

— Не в этом дело. Федоровна сидит взаперти.

— А, конечно, конечно. Я ничего,— поспешно согласился плотник.

Вернувшись, мы постучали Федоровне, и я закричал в замочную скважину:

— Федоровна, выходите на белый свет! Кончилось ваше заточение!

Но за дверью молчали.

— Федоровна, гуси уехали, улетели. Тю-тю! Они простили вас. И даже прислали деньги!

Кузьмич в это время осмотрел квартиру через окна и опасливо сказал:

— Ой, Михайлыч, не видать ее там. Как бы с ней что не стало?

Мы решили взламывать дверь, и Кузьмич уже отправился за топором. Но в это время хлопнула калитка, и во двор влетела непричесанная и одетая наспех дочь Федоровны. В ее руке звенела связка ключей.

— Убежала в Саранск, к сестре!— закричала дочь.— Кто еще встречал такую дуру, а? Гуси, видите ли, глядят к ней в окно. Мол, упрекают! Слава богу, хоть с вокзала соизволила позвонить. С одним чемоданом ушла.

Я не заметил, когда на крыше сарая появился Пушок. Он сидел, обернув передние лапы драным хвостом, бесстрастно взирал на нашу суету.

«Ну вот, а Пушка она и забыла»,— подумал я с невольным разочарованием. Но сейчас же себе возразил: такой бывалый кот не пропадет и один. Да и я покормлю, Кузьмич со своей плотничихой. Ну, а что касается самой Федоровны, она всю жизнь была и будет перед кем-то виноватой. Перед тем, кого не смогла спасти. Или перед тем, на кого по неведению навлекла беду.

Спустя неделю на улице меня остановил директор Дворца пионеров и, смеясь, рассказал, как недавно к нему приходила старуха. «Она появлялась и раньше, представляете, носила передачи вашей лисе,— с удовольствием повествовал директор.— Но на этот раз и вовсе отмочила номер. Куда-то будто бы собралась, то ли в Кинешму, то ли в Саранск, пришла и просит лису. Отдайте, мол, возьму с собой .«Да что вам, спрашиваю, далась эта лиса?» Бабуся долго хлопает глазами и говорит... Ставлю голову на отсечение, не угадаете что! «Она,— говорит,— мне как бы сродственница». Каково?!

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Рассказы

Георгий Михайлович Садовников

СЛАВНЫЙ ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

Редактор Е. Шкловская. Художник В. Фальченков. Художественный редактор Л. Тетенко. Технический редактор Н. Сайфуллина. Корректор Ш. Мукажанова.

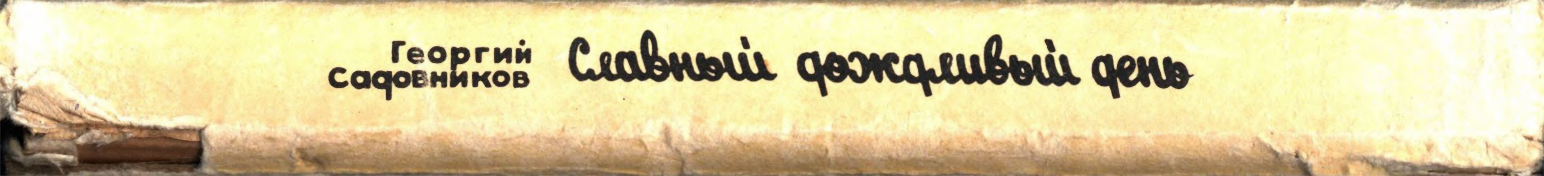
ИБ 3996

Сдано в набор 14.05.87. Подписано в печать 25.11.87. УГ 19387. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,6. Усл. кр.-отт. 17,8. Уч.-изд. л. 19,1. Тираж 50 000 экз. Заказ № 741. Цена 1 р. 30 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 р. 30 к.


Георгий
Садовников
Славный дождливый день